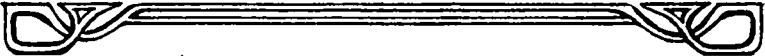


Фрэнсис Скотт
Фицджеральд





Фрэнсис Скотт Фицджеральд

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ
ТРЕТИЙ

Новеллы

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО



МОСКВА
„СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ КНИГОИЗДАНИЯ”
1994

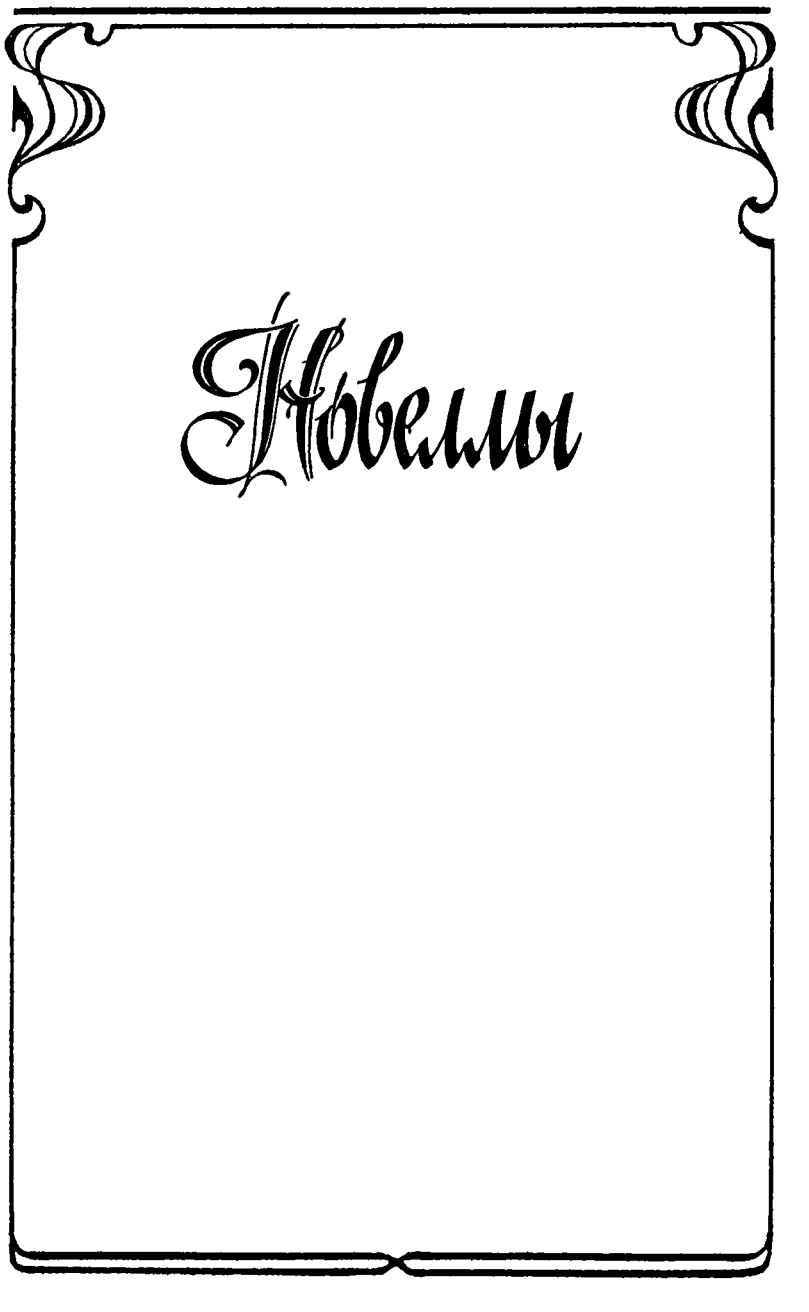
ББК 84 7 США
Ф 66
УДК 820 73—31

F. SCOTT FITZGERALD
1896—1940

Комментарии *А. ЗВЕРЕВА*

ISBN 5-87046-005-8

© Оформление Р. Р. Вейлерт, 1994
© Переводы, комментарии, оформление.
Совет ветеранов книгоиздания. 1994



Известны

ПЕРВОЕ МАЯ

I

Война была позади, она окончилась победой, и великий город-победитель был увенчан триумфальными арками и усыпан живыми цветами — белыми, красными, розовыми. В эти долгие весенние дни возвращавшиеся с фронта части маршем проходили по главным улицам, предводительствуемые сухой дробью барабанов и веселой гулкой медью труб, а торговцы и клерки, оставив свои счетные книги и прервав перебранки, толпились у окон, обратив бледные, хмуро-сосредоточенные лица в сторону проходящих батальонов.

Никогда еще великий город не был столь великолепен, ибо победоносная война принесла с собой изобилие, и торговцы стекались сюда и с запада и с юга, с чадами своими и домочадцами, дабы вкусить роскошь празднеств и изобилие уготованных для всех развлечений, а заодно и купить для своих жен, дочерей и любовниц меха на зиму, и золотые побрякушки, и туфельки — либо из золотой парчи, либо шитые серебром и пестрыми шелками по розовому атласу.

И столь весело и громко прославляли барды и летописцы мир и процветание города-победителя, что все новые толпы расточителей стекались сюда с окраин страны, стремясь упиться хмелем наслаждений, и все быстрее и быстрее освобождались купцы от своих побрякушек и туфелек, пока отчаянный вопль не исторгся из их груди, ибо им потребны были еще и еще безделушки и еще и еще туфельки, дабы удовлетворить спрос. Кое-кто из них даже воздевал в отчаянии руки к небесам, восклицая:

— Увы! У меня нет больше туфелек! И еще увy и увy! У меня нет больше побрякушек! Да поможет мне небо, ибо я не ведаю, что делать!

Но никто не внимал их воплям — всем было не до них. День за днем пехота весело маршировала через город, порождая всеобщее ликование, ибо юноши, возвращавшиеся с фронта, были мужественны и чисты, щеки их были розовы и зубы крепки, а молодые девушки, ожидавшие их дома, были пригожи и невинны.

И потому-то немало любовных встреч произошло в те дни в великом городе, и некоторые из них... нет, пожалуй, всего лишь одна описана здесь.

Первого мая 1919 года в девять часов утра дежурный портье отеля «Билтмор» услышал обращенный к нему вопрос: не остановился ли у них некто мистер Филип Дин, а если остановился, то нельзя ли пригласить его к телефону? Перед портье стоял невысокий, стройный юноша, одетый в поношенный костюм хорошего покроя. Он был красив, темноволос, под глазами с поразительно длинными ресницами лежали голубоватые тени, что придавало лицу болезненный вид, а жаркий, неестественно жаркий румянец, пылавший на щеках, еще усиливал это впечатление.

Да, мистер Дин остановился здесь. Незнакомца проводили к находившемуся неподалеку телефону.

Тотчас его соединили с номером, и откуда-то с верхнего этажа ему ответил сонный голос.

— Мистер Дин? — Вопрос прозвучал взволнованно, настойчиво. — Фил, это я, Гордон. Гордон Стеррет. Я вниз. Услышал, что ты в Нью-Йорке, и, сам не знаю почему, решил попытать счастья в этом отеле.

Сонный голос мало-помалу воодушевлялся. О-о! Как ты живешь здесь, Горди, старина? Черт побери, конечно, он ошарашен. И очень рад, разумеется. Да какого черта Горди не поднимется прямо наверх?

И через несколько минут Филип Дин, одетый в голубую шелковую пижаму, отомкнул дверь своего номера, и молодые люди с преувеличенной восторженностью и не без некоторого замешательства приветствовали друг друга. Обоим было по двадцать четыре года, оба окончили Йельский университет за год до войны. Но на этом сходство кончалось. Дин был румяный, пышущий здоровьем блондин. Под тонкой шелковой пижамой угадывалось крепкое тело. Все на нем было как нельзя более добротно, и от него так и веяло благополучием. Он часто улыбался, обнажая крепкие, торчащие вперед зубы.

— А я ведь собирался разыскать тебя! — бодро кричал он. — Я приехал сюда развлечься, недельки на две. Присядь, я сейчас — только душ приму.

Он исчез за дверью ванной, а темные глаза посетителя пихорадожно обежали комнату, задержавшись секунду на объемистом портпледe в углу и целой коллекции дорогих шелковых рубашек, разбросанных по стульям вперемешку с яркими галстуками и мягкими шерстяными носками.

Гордон встал, поднял одну из рубашек и с минуту ее рассматривал. Рубашка была из очень плотного шелка — желтого в узенькую бледно-голубую полоску, — и таких рубашек валялось здесь около дюжины. Невольно он перевел взгляд на свои манжеты — они были обтрепанные, застиранные и давно утратили первоначальную белизну. Бросив рубашку, Гордон обдернул рукава пиджака и подтянул повыше обшлага рубашки, чтобы их не было видно. Потом подошел к зеркалу и с холодным, невеселым интересом оглядел себя. Галстук, когда-то тоже яркий и красивый, выцвел, скрутился жгутиком и не мог уже скрыть от глаз обтрепанных петель рубашки. Без тени улыбки Гордон подумал о том, что всего лишь три года назад в университете он был единодушно признан самым элегантным студентом выпускного курса.

Дин вышел из ванной комнаты, растираясь на ходу полотенцем.

— Вчера вечером видел твою старую знакомую, — сказал он. — Встретился с ней в вестибюле и, хоть убей, не мог припомнить, как ее зовут. Ну, знаешь, та девица, которую ты привозил на бал в Нью-Хейвен, когда мы были на последнем курсе.

Гордон вздрогнул.

— Эдит Брейдин? Ты о ней говоришь?

— Да, да, она самая. Хороша, черт побери! И все такая же — фарфоровая куколка. Только тронь ее, так, кажется, и рассыплется на кусочки.

Дин самодовольно оглядел свою сияющую физиономию в зеркале и улыбнулся, обнажив торчащие зубы.

— А ей, верно, года двадцать три уже, — заметил он.

— В прошлом месяце исполнилось двадцать два, — машинально уточнил Гордон.

— Ах так, в прошлом месяце? Она, верно, приехала принять участие в йельской встрече? Ты знаешь, что сегодня у «Дельмонико» наши устраивают бал? Тебе надо пойти, Горди. Ручаюсь, что там будет половина Нью-Хейвена. Я могу достать приглашение.

Лениво облачившись в свежее белье, Дин закурил сигарету, уселся у отворенного окна и погрузился в созерцание своих икр и колен, освещенных ярким утренним солнышком, лившимся в окно.

— Садись, Горди,—сказал он,—и расскажи о себе. Что ты подделывал эти годы и чем занимаешься теперь,—все по порядку.

Гордон вдруг бросился навзничь на постель. Он лежал совершенно неподвижно, словно бездыханный. Его рот, по привычке чуть приоткрытый, сейчас придавал лицу беспомощное, жалкое выражение.

— Что с тобой? — поспешно спросил Дин.

— А, черт!..

— Что случилось?

— Все, черт подери, все, что только хочешь...— в отчаянии воскликнул тот.— Я пропадаю, Фил! Конец! Крышка!

— Да что такое?

— Я погиб.— Голос Гордона дрожал.

Голубые глаза Дина оглядели его на этот раз более внимательно, оценивающе.

— А ты и вправду неважно выглядишь.

— Еще бы! У меня вся жизнь исковеркана.— Гордон помолчал.— Лучше уж рассказать все, как есть... Впрочем, может, тебе неинтересно?

— Ничего подобного, валяй рассказывай.— Однако предложение звучало не слишком настойчиво. Поездка в Нью-Йорк была задумана Дином с целью поразвлечься, и вдруг тут этот Гордон Стеррет со своими неурядицами... Это было досадно.

— Валяй! — повторил, однако, Дин. И прибавил вполголоса: — Выкладывай уж, что у тебя там.

— Так вот, — неуверенно начал Гордон. — В феврале я возвратился из Франции, месяц провел дома, в Гаррисберге, а затем приехал сюда, в Нью-Йорк, чтобы поступить на работу. Устроился в одну экспортную фирму. А вчера получил расчет.

— Расчет?

— Сейчас я тебе объясню, Фил. Я хочу рассказать все начистоту. Ты, пожалуй, единственный человек, к которому я могу обратиться в такую минуту. Лучше уж я расскажу тебе все, верно, Фил?

Дин насторожился еще больше и словно в расеянности забарабанил пальцами по колену. У него появилось смутное ощущение, что на него ни за что ни про

что хотят взвалить какую-то ответственность. А что ему за дело до всего этого? В студенческие годы Гордон Стеррет нередко попадал во всякие истории, но в нынешнем бедственном положении приятеля ему чудилось что-то отталкивающее, и хотелось отгородиться от этого, хотя слова Стеррета и возбудили его любопытство.

— Продолжай.

— Тут замешана девушка.

Дин хмыкнул. Он уже решил про себя, что не позволит никому испортить ему эту поездку. Если Гордон будет слишком ему докучать, он от него отделается.

— Ее зовут Джул Хадсон,—продолжал доноситься с постели невеселый голос.— Год назад она, по-видимому, была еще «порядочной». Уроженка Нью-Йорка, из бедной семьи. Родители умерли, она живет со старухой теткой. Я встретился с ней, видишь ли, как раз в то время, когда ребята один за другим начали возвращаться из Франции, и я только и делал, что кого-то встречал и угощал. Вот с этого все и началось, Фил,—я был рад снова увидеть их, и они были рады встрече со мной.

— Надо было иметь голову на плечах.

— Я знаю.—Гордон умолк, потом продолжал упавшим голосом:—Я теперь сам себе хозяин, понимаешь, Фил, и просто не в состоянии мириться с нищетой. А тут еще эта проклятая девчонка. Она, по-видимому, была влюблена в меня на первых порах—куда бы я ни пошел, везде натыкался на нее,—но у меня и в мыслях не было так связать себя по рукам и ногам. Ты представляешь, как замечательно я работал в этой экспортной фирме... Конечно, мне всегда хотелось заняться рисованием. Иллюстрировать какой-нибудь журнал, например. Там можно заработать кучу денег.

— В чем же дело? Если ты хотел чего-то добиться, надо было засучить рукава,—холодно констатировал Дин.

— Я пробовал, но у меня нет выучки. У меня есть талант, Фил, я могу рисовать, а вот умения нет. Надо бы поступить в художественное училище, да где взять средства? В общем, примерно неделю назад все полетело к черту. Как раз когда у меня уже не было ни гроша в кармане, эта девчонка начала осаждать меня. Ей нужны деньги. Грозится сделать мне кучу неприятностей, если я не дам ей денег.

— А она может?

— Боюсь, что может. Отчасти из-за нее я и потерял работу: она целыми днями звонила в контору, и это, как

видно, и было той каплей, которая переполнила чашу. У нее уже заготовлено послание к моим родителям. Словом, я у нее в руках. Нужно достать для нее денег во что бы то ни стало.

Наступило неловкое молчание. Гордон лежал очень тихо, вытянув сжатые в кулаки руки.

— Я пропадаю,— заговорил он снова; голос его дрожал.— Я просто с ума схожу, Фил. Если бы я не услышал, что ты приезжаешь в Нью-Йорк, я бы, верно, покончил с собой. Я прошу тебя—одолжи мне триста долларов.

Дин сразу перестал похлопывать себя по голой щиколотке, и тон их разговора, до сих пор какой-то неуверенный, стал ощутимо напряженным.

Секунду помолчав, Гордон прибавил:

— Я уже столько выкачал из родителей, что мне совестно попросить еще хоть цент.

Но Дин и на этот раз ничего не ответил.

— Джул говорит, что ей нужно двести долларов.

— Пошли ее к черту.

— Легко сказать! У нее есть мои письма, которые я написал спяну. К сожалению, она вовсе не такая овечка, как ты думаешь.

Дин брезгливо фыркнул.

— Не выношу женщин такого сорта. Тебе бы следовало держаться от нее подальше.

— Знаю,— устало произнес Гордон.

— Надо смотреть на вещи здраво. Раз у тебя нет денег, значит, надо работать и держаться подальше от женщин.

— Да, тебе легко говорить,— повторил Гордон, и глаза его сузились.— У тебя-то денег хоть отбавляй.

— Ничего подобного. Мои родители требуют у меня самого строго отчета в деньгах, черт побери. Именно потому, что они дают мне несколько больше, чем принято, я должен быть очень осмотрителен и не злоупотреблять этим.

Дин подтянул штору повыше, и поток солнечных лучей проник глубже в комнату.

— Я не ханжа, черт побери,— неторопливо продолжал он.— Я не прочь поразвлечься... а на каникулах, как сейчас, например, я очень и очень люблю поразвлечься. Но ты... ты в каком-то ужасном состоянии. Я никогда ничего подобного от тебя не слышал. У тебя такой вид, словно ты потерпел крах... не только в денежном, но и в моральном отношении.

— Разве это обычно не вытекает одно из другого?

Дин нетерпеливо тряхнул головой.

— В тебе есть что-то странное, не пойму что. Что-то темное, гнетущее.

— Результат нищеты, тревоги и бессонных ночей,— несколько вызывающе отвечал Гордон.

— Может быть.

— О, я понимаю, что это действует угнетающе. На меня самого тоже. Но, черт побери, Фил, мне ведь нужно только недельку отдохнуть, купить новый костюм да иметь хоть несколько долларов в кармане, и я опять стану... ну такой же, как прежде. Фил, ты же знаешь, я неплохо рисую. Но у меня почти никогда не было денег, чтобы купить хорошей бумаги и карандашей... Да и какое тут рисование, когда ты измучен, пал духом и совершенно выбит из колен. Вот если бы у меня было хоть немного денег, я бы отдохнул и с новыми силами принялся за дело.

— Откуда я знаю, что ты не потратишь их еще на какую-нибудь бабу?

— К чему долбить одно и то же? — тихо спросил Гордон.

— Я не долблю. Мне жаль видеть тебя в таком состоянии.

— Ты одолжишь мне денег, Фил?

— Я не могу решить это сразу. Такая крупная сумма, черт подери, сейчас это мне ужасно некстати.

— А я пропал, если ты меня не выручишь. Я отлично понимаю, что сам во всем виноват, и мне очень тяжело, что я хнычу, но это ведь не меняет дела.

— Когда ты можешь вернуть мне деньги?

Это подавало надежду. Гордон задумался. Пожалуй, лучше было говорить начистоту.

— Конечно, я мог бы посулить тебе, что вышлю их через месяц, но лучше скажем так: через три месяца. Как только я начну продавать свои рисунки.

— Откуда я знаю, что тебе удастся продать хоть один рисунок?

Голос Дина зазвучал жестко, и холодок тревоги пробежал по спине Гордона. Неужели Дин все-таки не даст денег?

— Мне казалось, что ты немножко веришь в меня.

— Я верил в тебя. А теперь ты в таком состоянии, что я начинаю сомневаться.

— Да разве я обратился бы к тебе с такой просьбой, если бы не дошел до крайности? Или ты думаешь, что

мне все это приятно? — Гордон умолк и прикусил губу, чувствуя, что в его голосе звучит гнев: он понимал, что нельзя давать себе воли. В конце концов, он ведь проситель.

— У тебя все получается удивительно просто, — сердито сказал Дин. — Ты ставишь меня в такое положение, что, не дай я тебе денег, я буду просто скряга. Да, да, не спорь. Однако, да будет тебе известно, мне совсем не так легко раздобыть три сотни долларов. Не так уж много мне дают на расходы, чтобы такая сумма не пробила основательной брешки в моем бюджете.

Дин поднялся со стула и начал одеваться, тщательно отбирая каждую деталь своего костюма. Гордон стиснул руками края постели, отчаянно стараясь удержаться от слез. Голова у него кружилась и разламывалась от боли, горло пересохло, во рту был какой-то неприятный, горьковатый вкус. Он чувствовал, как озноб мурашками пробегают по телу, и ему казалось, что он стоит под холодной каплей.

Дин не торопясь повязал галстук, расчесал щеточкой брови и старательно выковырял из зубов застрявшую там табачную крошку. Затем наполнил портсигар сигаретами, задумчиво швырнул пустую коробку в мусорную корзину и спрятал портсигар в карман.

— Ты завтракал? — спросил он.

— Нет. Я теперь вообще не завтракаю.

— Ладно, мы сейчас прежде всего позавтракаем. А насчет этих денег решим потом. Мне надоело об этом думать. Я приехал в Нью-Йорк поразвлечься.

— Пойдем-ка в Йельский клуб, — продолжал он хмуро и добавил с плохо скрытым укором: — Тебе ведь все равно нечего делать — ты же бросил работу.

— Я бы знал, что мне делать, будь у меня хоть немного денег, — выразительно сказал Гордон.

— Да перестань ты, Христа ради, об этом. Ты что, хочешь совсем испортить мне настроение? Вот, возьми.

Дин вытащил из бумажника пятидолларовую бумажку и бросил ее Гордону. Тот аккуратно сложил бумажку и сунул в карман. Румянец еще ярче проступил у него на скулах, но лихорадка была тут ни при чем. Приятели шагнули к двери, на секунду взгляды их встретились, и за эту секунду каждый уловил во взгляде другого что-то такое, что заставило его опустить глаза: в эту секунду они внезапно и решительно возненавидели друг друга.

Был полдень, и на углу Пятой авеню и Сорок четвертой улицы бурлила толпа. Веселое, богатое солнце било в толстые стекла витрин модных магазинов, покрывая недолговечной позолотой дамские сумочки, и нитки жемчуга на сером бархате футляров, и пышные веера из разноцветных страусовых перьев, и кружево и шелк дорогих туалетов, и красивую стильную мебель рядом с плохими картинами в тщательно обставленном салоне декоратора.

Девушки-работницы то парами, то небольшими стайками застревали у этих витрин, выбирая обстановку для своей будущей спальни. Они стояли, ослепленные великолепием этого выставленного напоказ жилья, где ничто не было забыто — вплоть до шелковой мужской пижамы, по-домашнему разложенной поперек кровати. Наскоро позавтракав бутербродами и мороженым, они торчали у ювелирных магазинов, мысленно примеряя обручальные кольца и платиновые часики с браслетом, а затем устремлялись дальше и снова останавливались и разглядывали веера из страусовых перьев и вечерние манто.

И повсюду в толпе мелькали люди в форме — моряки великого флота, ставшего на якорь на Гудзоне, и солдаты из всех штатов, от Массачусетса до Калифорнии. Их обуревало желание быть замеченными, но они видели, что великий город уже по горло сыт солдатами. Вот если их снова аккуратно собрать в стройные соединения и повесить им на спины тяжелые заплечные мешки и винтовки, которые будут мешать им при ходьбе, — тогда другое дело.

Дин и Гордон пробирались сквозь сутолоку. Первый с интересом поглядывал по сторонам, возбужденный зрелищем этой безвкусной пышности и суеты человеческой, второй невольно вспоминал о том, как часто бродил он в толпе усталый, голодный, потерянный. Для Дина все, что он видел вокруг, кричало о молодости, веселье, было исполнено смысла; Гордону это кипенье жизни представлялось унылой, бессмысленной, нескончаемой борьбой.

В Йельском клубе они нашли целую толпу своих бывших однокашников, которые шумно приветствовали Дина. Рассевшись полукругом в глубоких креслах и качалках, они выпили по коктейлю.

Болтовня приятелей казалась Гордону утомительной и бесцельной. Позавтракали всей компанией. Когда перевалило за полдень, они были в приподнятом настроении и слегка под хмельком. Вечером все собирались

на университетский бал и были уверены, что это будет лучший бал с окончания войны.

— Эдит Брейдин тоже там будет,— сказал кто-то Гордону.— Помнится, ты был когда-то по уши влюблен в нее. Вы, кажется, земляки— из Гаррисберга?

— Да...— Гордон постарался переменить разговор.— Я иногда встречаюсь с ее братом. Он какой-то свихнувшийся социалист или что-то в этом роде. Редактирует здесь не то газету, не то журнал.

— Не похож, значит, на свою беззаботную сестричку?— продолжал докучливый собеседник.— Ну, увидишь ее сегодня на балу. Она придет с одним второкурсником, с Питером Химмелем.

Гордон обещал Джул Хадсон раздобыть денег и встретиться с ней в восемь часов вечера. Он уже нервно поглядывал на часы. В четыре часа, к его великому облегчению, Дин поднялся и заявил, что хочет отправиться к «Братьям Риверс» купить себе воротничков и галстуков. Но когда они выходили из клуба, один из их приятелей присоединился к ним, и это снова повергло Гордона в уныние. Дин же был в отличном расположении духа— доволен собой, весел и шумлив в предвкушении бала. У «Братьев Риверс» он выбрал с полдюжины галстуков, неторопливо обсудив достоинства каждого из них с приятелем. Похоже, что узкие галстуки снова входят в моду, а? Стыд и позор, как это Риверсы до сих пор не могут раздобыть валлийских морготсоновских воротничков! Что ни говори, а «ковингтон» лучший воротничок на свете.

Гордона охватывало отчаяние. Деньги нужны ему были позарез. К тому же у него теперь пробудилось смутное желание отправиться на университетский бал. Ему хотелось повидать Эдит. Он не встречался с ней ни разу после одного памятного вечера в гаррисбергском загородном клубе накануне его отъезда во Францию. Воспоминание об этой встрече утонуло в водовороте войны и окончательно изгладилось из памяти за последние три месяца, когда жизнь его пошла вкривь и вкось, но сейчас он снова увидел перед собой Эдит— очаровательную, веселую, упоенно болтающую о каких-то пустяках, и этот образ пробудил к жизни множество воспоминаний. Перед ним снова возникло ее лицо... Все годы, проведенные в университете, он испытывал восторженное и робкое преклонение перед этой девушкой. Он любил рисовать ее— в его комнате висело около дюжины набросков: Эдит играет

и гольф, Эдит плавает... Он мог с закрытыми глазами набросать ее капризный, влекущий профиль.

В половине шестого они вышли от «Братьев Риверс» и остановились на тротуаре.

— Ну, я вполне укомплектован,—довольно сказал Дин.—Теперь назад в отель—постричься, побриться, сделать массаж.

— Правильно,—отозвался его приятель.—Я, пожалуй, последую твоему примеру.

«Неужели ничего не выйдет?»—думал Гордон. Он едва удержался, чтобы не крикнуть приятелю Дина: «Убирайся к черту!» С отчаянием в душе он начинал подозревать, что Дин нарочно таскает за собой этого малого, чтобы избежать разговора о деньгах.

Они вернулись в отель «Билтмор». Там уже было полно очаровательных молоденьких девушек. Большинство из них съехалось на этот первый в их жизни большой бал—бал знаменитой студенческой организации знаменитого университета—из разных городов, со всех концов западных и южных штатов. Но перед Гордоном лица их мелькали, как во сне. Он уже собирался с духом для последней мольбы, уже готов был сказать что-то, сам еще не зная что, когда Дин извинился перед приятелем, взял Гордона за локоть и отвел в сторону.

— Горди,—торопливо пробормотал он,—я все основательно обдумал и вижу, что не могу одолжить тебе этих денег. Рад бы выручить тебя, да не могу—я тогда сяду на мель на целый месяц.

Гордон тупо глядел на него, удивляясь про себя, как это он никогда раньше не замечал этих торчащих зубов...

— Я страшно огорчен, Горди,—говорил Дин.—Но ты видишь, как обстоит дело.

Он достал бумажник и не спеша отсчитал семьдесят пять долларов.

— Вот,—сказал он, протягивая деньги.—Здесь семьдесят пять долларов. Всего, значит, будет восемьдесят. Это все, что у меня есть при себе. И больше я никак не могу себя урезать.

Гордон протянул руку. Пальцы его разжались и сжались снова, словно клещами захватив бумажки.

— Увидимся на балу,—сказал Дин.—А сейчас мне надо к парикмахеру

— До скорого,—сказал Гордон каким-то хриплым, не своим голосом.

— До скорого.

Дип хотел было улыбнуться, но передумал. Небрежно кивнув, он поспешил прочь.

Гордон не двинулся с места; красивое лицо его было искажено отчаянием, деньги судорожно зажаты в кулаке. Затем, ничего не видя от внезапно прихлынувших слез, он, спотыкаясь, начал спускаться по лестнице.

III

В тот же вечер около девяти часов двое вышли из дешевого ресторана на Шестой авеню. Изможденные, неприглядные с виду, они были лишены почти всего, что отличает людей от животных, но в них не было и той первобытной животной силы, в которой есть нечто красочное. Еще недавно они кормили вшей, холодали и голодали в грязном городишке в чужой стране. Они были нищи, одиноки, с колыбели жизнь швыряла их, словно щепки по волнам, и будет швырять так до самой смерти. Они были одеты в форму солдат американской армии, а нашивки на плечах свидетельствовали об их принадлежности к дивизии, сформированной в штате Нью-Джерси и три дня назад высадившейся в Нью-Йорке.

Того, что повыше, звали Кэррол Кэй — звучное имя, наводившее на мысль о том, что, сколько бы ни вырождался род из поколения в поколение, в жилах этого отпрыска еще должна отыскаться капля крови его доблестных предков. Однако тощее лицо с безвольным подбородком, тусклые, водянистые глаза и торчащие скулы отнюдь не свидетельствовали о врожденной решимости или отваге.

Его товарищ был смугл и кривоног. Крысиные глазки и не раз перебитый крючковатый нос. Вызывающая манера держаться была явно напускной — оружием самозащиты, без которого не просуществуешь в том мире, где только рычат и кусают, где царят животная грубость и животный страх, — короче, в том мире, в котором он всегда жил. Звали его Гэс Роуз.

Выйдя из кафе, они побрели по Шестой авеню, с независимым видом ковыряя в зубах.

— Куда теперь? — спросил Роуз таким тоном, словно, скажи Кэй: «А не махнуть ли нам в Полинезию?» — это пичуть бы его не удивило.

— А может, нам удастся пропустить где-нибудь стаканчик? Как ты насчет этого?

Сухой закон еще не был введен. Нерешительность, прозвучавшая в голосе Кэя, объяснялась тем, что запрещено было продавать спиртное солдатам.

Предложение встретило со стороны Роуза самый восторженный отклик.

— Я кое-что придумал,— продолжал Кэй после минутного раздумья.— У меня тут есть брат.

— Где, в Нью-Йорке?

— Ну да. Старшой.— Кэй хотел сказать, что это его старший брат.— Служит официантом в каком-то кабаке.

— Думаешь, он может поднести нам?

— Да уж, верно, может!

— Вот посмотришь — завтра же скину эту проклятую форму. И нипочем больше в нее не влезу — дудки! Раздобуду себе нормальную человеческую одежду.

— Думаешь, я не скину!

Поскольку объединенный капитал обоих приятелей едва достигал четырех долларов, планы эти следовало понимать просто как приятное словоизвержение, безобидное и утешающее. Все же это подняло, как видно, их настроение, так как они продолжали еще некоторое время в том же духе, привлекая в свидетели различных персонажей, нередко упоминаемых в Священном писании. Все это сопровождалось удовлетворенным смешком и восклицаниями вроде «Вот это да! А ты думал! Знай наших!», повторенными не раз и не два.

На протяжении многих лет духовной пищей им служила обида, выражавшаяся преимущественно в презрительных междометиях, произносимых в нос,— обида на тот общественный институт, от которого в каждый данный момент зависело их существование (это была армия, или предприятие, на котором они работали, или благотворительное учреждение), а также на то лицо, под чьим непосредственным началом они сейчас находились. Еще только сегодня утром таким институтом являлось правительство, а непосредственным начальством — капитан. Освободившись от этой двойной опеки, они пока что пребывали в неприятном состоянии неопределенности, так как не успели еще закрепоститься вновь и вследствие этого чувствовали неуверенность и раздражение — словом, были не в своей тарелке. Однако они пытались это скрыть, притворяясь, что испытывают неслыханное облегчение, сбросив ярмо армии, и заверяли друг друга, что никогда впредь не допустят, чтобы военная дисциплина угнетала их непокорные, свобододолюбивые натуры. А по

совести говоря, даже в тюрьме они чувствовали бы себя куда лучше, нежели в этом непривычном состоянии только что обретенной свободы.

Вдруг Кэй прибавил шагу. Роуз поднял голову, поглядел в том направлении, куда устремился его товарищ, и увидел, что ярдах в пятидесяти от них на улице собирается толпа. Кэй хмыкнул и припустился бегом. Роуз хмыкнул тоже, и его короткие кривые ноги замелькали рядом с длинными тощими конечностями его приятеля.

Поравнявшись с толпой, они мгновенно влились в нее и стали ее неотъемлемой частью. Толпа состояла из оборванных субъектов в штатском платье, которые были слегка навеселе, и солдат, принадлежавших к самым различным войсковым соединениям и находившихся на самых различных стадиях опьянения. Все они толпились вокруг маленького человечка, по виду еврея, обросшего щетинистой черной бородой и усами. Человечек, яростно жестикулируя, держал взволнованную, но ясную и выразительную речь. Кэй и Роуз, протискавшись, так сказать, в партер, рассматривали оратора с острым недоверием, в то время как его слова мало-помалу доходили до их сознания.

— Что дала вам война? — неистово кричал оратор. — Поглядите на себя! Разбогатели вы? Получили вы те деньги, что вам обещали? Нет! Если вы живы и ноги-руки у вас целы, считайте, что вам повезло. А если вы еще застали дома жену, если она не сбежала с каким-нибудь молодчиком, у которого хватило средств откупиться от армии, так вам повезло вдвойне. Вот уж где удача так удача! Кому же прок от этой войны, если не считать Моргана и Рокфеллера?

В этом месте речь оратора была прервана. Чей-то кулак саданул его под щетинистый подбородок, и он покатился на мостовую.

— Проклятый большевик! — заорал высоченный солдат, похожий с виду на молотобойца. Это он ударил оратора. Послышался одобрителный гул. толпа придвинулась ближе.

Маленький еврей поднялся на ноги и тут же полетел обратно на мостовую, получив еще с полдюжины тумаков. На этот раз он уже не встал; он лежал, тяжело дыша, кровь струилась у него из разбитого рта.

Толпа неистово ревела, и через минуту Кэй и Роуз почувствовали, что она уносит их куда-то по Шестой авеню под предводительством худого горожанина в шляпе колоколом и силача-солдата, столь решительно поло-

жившего конец разглагольствований оратора. Толпа росла на диво быстро, приобретая устрашающие размеры, и по тротуарам рядом с ней струился поток более осмтрительных граждан, которые оказывали ей моральную поддержку неумолчными одобрителными выкриками.

— Куда это мы? — спросил Кэй первого, кто оказался под боком.

Тот кивнул на предводителя в шляпе колоколом.

— Этот малый знает, где их найти. Мы им покажем!

— Мы им покажем! — восторженно прохрипел Кэй на ухо Роузу, и тот ликующе сообщил это своему соседу по другую руку от него.

Толпа двигалась по Шестой авеню, и к ней присоединялись все новые и новые солдаты и матросы, а порой и просто обыватели. Последние вливались в ряды всегда с одним и тем же возгласом — что они-де сами прямо из армии. Они предъявляли это сообщение, словно пригласительный билет в только что организованный спортивно-увеселительный клуб.

Затем толпа свернула в боковую улицу, ведущую к Пятой авеню, и с разных концов одновременно пополз слух, что целью этого передвижения служит Толливер-Холл, где происходит митинг «красных».

— А где это?

Вопрос уплыл куда-то вперед, и вскоре обратно приплыл ответ. Толливер-Холл помещается на Десятой улице. Там сейчас уже орудует другая группа солдат, которые решили разогнать митинг.

Однако Десятая улица... Кое-кому показалось, что это слишком уж далеко. По толпе прошел дружный ропот, и десятка два недовольных начали отставать. Среди них оказались Роуз и Кэй. Они замедлили шаг, пропуская энтузиастов вперед.

— По мне, так лучше выпить, — сказал Кэй. Они остановились и начали проталкиваться к тротуару, напутствуемые возгласами: «Сопляки! Дезертиры!»

— А твой братец работает где-нибудь тут поблизости? — спросил Роуз тоном, каким от обыденных мелочей обращаются к более высоким проблемам.

— Да вроде как тут, — отвечал Кэй. — Я его давненько не видал. Сам-то я был в Пенсильвании. Может, он и не работает по ночам-то. Это где-то тут, неподалеку. Он нам поставит, будь спокоен, если только он еще здесь.

Побродив немного по улицам, они разыскали то, что им было нужно. Захудалый этот ресторан помещался где-то в переулке между Пятой авеню и Бродвеем. Кэй

направился в ресторан разузнать о братце Джордже, а Роуз остался на тротуаре.

— Он здесь больше не работает,— вернувшись, объявил Кэй.— Он теперь у «Дельмонико».

Роуз глубокомысленно кивнул, как бы давая понять, что он так и думал. Ничего нет удивительного, если смысленный парень время от времени меняет место работы. Он знал одного официанта...

Бредя по улице, они довольно подробно обсудили вопрос о том, из чего в основном складывается заработок официанта,— из заработной платы или чаевых?— и пришли к заключению, что это зависит от социального состава посетителей ресторана, в котором официант работает. Затем оба по очереди развернули друг перед другом яркую картину обедов в ресторане «Дельмонико», где миллионеры после первой кварты шампанского швыряют на чай пятидесятидолларовые бумажки, и тут каждый начал подумывать про себя, что неплохо бы сделаться официантом. За узким лбом Кэя, во всяком случае, уже угнездилась мыслишка попросить брата пристроить его на работу.

— Официант может допивать шампанское, которое там у них остается в бутылках,— с упоением провозгласил Роуз и, как видно, просмаковав эту мысль до конца, добавил: — Ух ты!

До «Дельмонико» они добрались в половине одиннадцатого, и их удивленному взору предстала длинная вереница такси, подъезжавших одно за другим к отелю. Из такси появлялись ослепительные молодые красавицы без головных уборов в сопровождении чопорных молодых джентльменов во фраках.

— Тут у них вечеринка,— испуганно прошептал Роуз.— Может, нам лучше не соваться? Твой, верно, занят

— Ничего не занят. Все будет в порядке.

После некоторого колебания они выбрали тот подъезд, который показался им попроще с виду, вступили в какой-то зал и сразу же оробели. Забившись в угол, они стояли, не двигаясь, держа в руках сдернутые с головы кепи. Уныние охватило их, и оба вздрогнули, как по команде, когда дверь в конце зала с треском отворилась и официант, молнией промчавшись мимо них, исчез за другой дверью в противоположном конце зала.

Трижды, словно метеоры, проносились мимо них официанты, прежде чем они, собравшись наконец с духом, решились окликнуть одного из них. Официант обернулся, окинул их подозрительным взглядом и, неслышно ступая,

стал медленно, будто крадучись, приближаться к ним; казалось, он в любую минуту готов пуститься наутек.

— Послушайте,—сказал Кэй.—Послушайте, вы не знаете ли моего брата? Он здесь официантом.

— Его фамилия Кэй,—пояснил от себя Роуз.

Да, официант знал Кэя. По его предположениям, он должен был сейчас находиться наверху. Там в главном зале бал. Он скажет Кэю.

Минут десять спустя появился Джордж Кэй и с величайшей опаской приветствовал своего брата. Первой и самой естественной мыслью его было, что тот явился к нему просить денег.

Джордж тоже был длинный и тощий и тоже отличался отсутствием подбородка, но больше ничего общего между братьями не было. Глаза у официанта отнюдь не казались тусклыми,—наоборот, они были живые, блестящие, и держался он непринужденно и чуть-чуть высокомерно. Братья, как положено, обменялись новостями. Джордж был женат и имел троих детей. Сообщение о том, что Кэррол побывал со своей частью за океаном, заинтересовало его, но особого впечатления не произвело, и Кэррол был несколько разочарован.

— Джордж,—сказал младший брат, когда с формальностями было покончено,—мы хотим выпить, а нам не продают. Можешь ты удружить?

Джордж что-то прикинул в уме.

— Ладно. Это можно, пожалуй. Только через полчаса.

— Отлично,—согласился Кэрролл.—Мы подождем.

Тут Роуз хотел уже было усесться на один из мягких стульев, но его подняло на ноги негодующее восклицание Джорджа:

— Эй! Куда ты! Здесь нельзя сидеть. В этом зале в двенадцать часов будет банкет. Тут уж все приготовлено.

— А что им сделается?—возмущенно сказал Роуз.—В вошебойке я побывал.

— Мало ли что,—неумолимо отвечал Джордж.—Если старший официант увидит, что я здесь с вами болтаю, он задаст мне жару.

— Ишь ты!

Упоминания о старшем официанте было более чем достаточно. Приятели стояли, смущенно перебирая в руках свои побывавшие в заморских странах кепи, и ждали дальнейших указаний.

— Вот что я вам скажу,—решил наконец Джордж.—Тут есть местечко, где вы можете обождать. Идемте, я сведу вас туда.

Они направились следом за ним к двери в глубине зала, миновали пустую буфетную, поднялись по темной винтовой лестнице и очутились в маленькой комнатке, обставленной главным образом ведрами и швабрами и освещенной одной тусклой электрической лампочкой. Там Джордж покинул их, испросив на расходы два доллара и пообещав вернуться через полчаса с графином виски.

— Джордж тут зашибает денюгу, будь покоен,— мрачно сказал Кэй, опускаясь на перевернутое ведро.— Не меньше пятидесяти долларов в неделю, будь покоен.

Роуз утвердительно кивнул и сплюнул.

— Да уж будь покоен, не меньше.

— Что за бал там у них будет, как он сказал?

— Студенческий бал. Ребята из Йельского университета устраивают.

Оба с важным видом помотали головой.

— Интересно, где они теперь топают, эти солдаты?

— А кто их знает! Только уж тащиться в такую чертову даль—это не по мне.

— Да и не по мне. Пусть идет, кто хочет.

Прошло несколько минут, и ими овладело беспокойство.

— Посмотрю-ка я, что там такое,—сказал Роуз, осторожно приближаясь к противоположной двери.

Это была вращающаяся дверь, обитая зеленым сукном, и он легонько толкнул ее, притворив дюйма на два.

— Видно что-нибудь?

В ответ Роуз шумно втянул в себя воздух.

— Черт подери! Вот где выпивка-то!

— Выпивка?

Кэй подошел к Роузу и жадно заглянул в щелку.

— Да, вот это выпивка, черт побери!—произнес он после нескольких минут сосредоточенного созерцания.

За дверью была комната раза в два больше той, в которой они находились. Изобилие представших их взорам бутылок ослепило их. Различного размера и формы бутылки стояли длинными рядами на двух покрытых белыми скатертями столах: виски, джин, коньяк, французский и итальянский вермут, апельсиновый сок, целая армия сифонов с содовой и, наконец, две огромные пустые вазы для крющона. В комнате не было ни души.

— Это они себе к балу приготовили. Танцы-то только что начались,—прошептал Кэй.—Слышишь, скрипки заливаются? Да, друг, я бы от таких танцев не отказался.

Они притворили дверь и обменялись понимающим взглядом. Им не было нужды прощупывать друг друга.

— А я бы не отказался от пары таких бутылочек,— выразительно произнес Роуз.

— Да и я тоже.

— Думаешь, нас могут увидеть?

Кэй призадумался.

— Лучше, пожалуй, подождать, пока они сами за них примутся. Они небось знают, сколько у них там чего приготовлено.

Минуты две-три они обсуждали этот вопрос. Роуз был так то, чтобы схватить бутылку и сунуть ее под куртку, пока никто не вошел. Однако Кэй призывал к осторожности. Он боялся наделать беды своему брату. Надо дожидаться, когда начнут открывать бутылки. Тогда, если стянуть одну, все подумают, что ее взял кто-нибудь из студентов.

Они еще спорили, когда появился Джордж и, проворчав что-то по их адресу, скрылся за зеленой вращающейся дверью. Тотчас они услышали хлопанье пробок, треск разрушаемого льда, бульканье — Джордж приготавливал крюшон.

Солдаты, ухмыляясь, уставились друг на друга.

— Ух ты! — прошептал Роуз.

Джордж появился снова.

— Сидите тихонько, ребята, — торопливо сказал он. — Через пять минут я притащу вам вашу выпивку.

И он скрылся.

Как только его шаги затихли на лестнице, Роуз приоткрыл дверь, огляделся, шмыгнул в зал соблазнов и тотчас возвратился с бутылкой в руке.

— Вот что я тебе скажу, — заявил он, когда они, сияя от восторга, смаковали первый глоток. — Мыждемся Джорджа и попросим у него разрешения распить здесь то, что он нам принесет, понятно? Скажем, что нам больше негде выпить, понятно? А когда там никого не будет, мы опять туда и возьмем бутылочку и спрячем под куртку. Можно этак сделать запас денька на два, понятно?

— Правильно! — с жаром поддержал его Кэй. — Ух ты! А захотим — можем в любое время продать одну-другую бутылку солдатам.

С минуту они молчали, упиваясь этой великолепной идеей. Затем Кэй расстегнул ворот своей военной куртки.

— А здесь здорово жарко, верно?

Роуз глубокомысленно подтвердил:

— Сущее пекло.

Когда Эдит вышла из дамской комнаты, пересекла небольшой зал и отворила дверь в вестибюль, она все еще была очень раздосадована. Сам по себе этот случай при ее светском образе жизни был, конечно, довольно банален, но надо же, чтоб все случилось именно в этот вечер! Себя ей упрекнуть было не в чем. Она, как всегда, держалась с достоинством и вместе с тем в меру проявила снисхождение. О да, она с большим тактом, но решительно поставила его на место.

Это произошло в такси, едва они успели отъехать от отеля «Билтмор»,— и квартала, верно, еще не проехали. Он неловко высвободил правую руку— Эдит сидела справа от него— и сделал попытку просунуть ее позади малинового, отороченного мехом мантио, которое она накинула поверх своего бального платья. Уже одно это было ошибкой. Если молодой человек хочет обнять светскую девушку и вместе с тем не уверен, как она к этому отнесется, ему следует начинать свои действия свободной рукой— так получается куда непринужденней и избавляет от этих неуклюжих движений.

Вторая *faux pas*¹ он совершил совсем невольно. Сегодня днем она несколько часов провела у парикмахера. Одна мысль о том, что ее прическе может грозить какая-то опасность, была чудовищна. Однако, когда Питер сделал свою злосчастную попытку ее обнять, он слегка коснулся локтем ее волос. Это и был его второй *faux pas*. Но двух промахов более чем достаточно.

Он начал что-то бормотать. После первых же его невнятных слов она решила, что он просто-напросто мальчишка. Эдит уже исполнилось двадцать два года, и предстоящий бал, первый большой бал после войны, навеял на нее воспоминания— они всплывали одно за другим— о другом бале и другом юноше, о юноше, к которому она испытывала всего лишь обычную сентиментальную влюбленность девочки-подростка. Эдит Брейдин готова была влюбиться в Гордона Стеррета— каким он ей вспомнился.

Итак, она вышла из дамской комнаты в «Дельмонико» и на секунду остановилась в дверях, глядя поверх чьих-то обтянутых темным шелком плеч на лестницу, где, подоб-

¹ Промах (фр.).

по большим корректным черным мотылькам, порхали вверх и вниз студенты Йельского университета. Из зала за ее спиной тянуло пряным ароматом — десятки надушенных молодых красавиц, так же как она, пропутешествовали через него туда и обратно. Аромат дорогих духов и едва уловимый, но удушливый запах пудры, проникая в вестибюль, смешивались с острым запахом табачного дыма, и все эти чувственные запахи стлались над лестницей и заползли в зал, где скоро должны были начаться танцы. Он был так знаком Эдит — этот тревожный, волнующий и сладостный аромат — аромат большого бала.

Эдит мысленно увидела себя со стороны. Ее обнаженные руки и плечи были напудрены. Она знала, что они кажутся такими нежными, молочно-белыми, а на фоне черных фраков будут выглядеть еще ослепительней. Прическа удалась. Ее густые рыжеватые волосы были завиты, уложены, потом слегка растрепаны и взбиты так, что получилось настоящее чудо непокорных, дерзких кудрей. Алый рот искусно подкрашен. Глаза светлые, нежно-голубые, как прозрачный, хрупкий голубой фарфор. Она была совершенным, бесконечно изысканным созданием. Все — от хитроумной прически до маленьких ног — было гармонично, закончено и прекрасно.

Она собиралась с мыслями, готовясь принять участие в этом празднестве, приближение которого уже возвещал смех, то звонкий, то приглушенный, движение нарядных пар по лестнице. Она будет изъясняться на том языке, которым овладела уже давно и в совершенстве: ходовые словечки, студенческий жаргон, кое-какие выражения, почерпнутые из журналов и газет. И все это ловко нанизано одно на другое и преподносится непринужденно и легко, порой слегка задорно, порой чуть-чуть сентиментально. Она улыбнулась краем губ, услышав, как девушка, стоявшая неподалеку от нее на лестнице, сказала:

— Ты не смыслишь в этом ни полкапельки, милочка!

И вместе с улыбкой растаяла ее досада. Эдит закрыла глаза и удовлетворенно, глубоко вздохнула. Она уронила руки, и ее ладони ощутили скользящее прикосновение шелка, который облегал ее, как перчатка. Никогда еще не чувствовала она себя такой хрупкой и нежной, никогда еще белизна ее рук не радовала ее так.

«Как хорошо я пахну!» — простодушно подумала она, и тотчас родилась новая мысль: «Я создана для любви».

Ей понравилось, как прозвучали эти слова, и она снова произнесла их про себя, и сейчас же, в неотвратимой

последовательности, в ней всколыхнулись все ее сумасшедшие мечты о Гордоне Стеррете. Неосознанное желание увидеть Гордона, по прихоти воображения пробудившееся в ее душе два часа назад, казалось, только и ждало этой минуты, этого бала.

Несмотря на свою кукольную красоту, Эдит была серьезной, вдумчивой девушкой. Ей была свойственна та же склонность к раздумью, тот же юношеский идеализм, который привел ее брата к пацифизму и социализму. Генри Брейдин покинул Корнелл, где преподавал экономическую науку, и, обосновавшись в Нью-Йорке, стал заполнять столбцы одной радикальной еженедельной газеты призывами к спасению человечества путем искоренения неискоренимых социальных зол.

Эдит, натура не столь честолюбивая, готова была довольствоваться спасением Гордона Стеррета. Она чувствовала в Гордоне какую-то внутреннюю слабость, от которой ей хотелось его уберечь; в нем было что-то беспомощное, и ей хотелось прийти ему на помощь. К тому же ей нужен был кто-то, кого бы она знала давно и кто давно бы ее любил. Она уже устала немного, ей хотелось выйти замуж. Связка писем, пять-шесть фотографий, столько же памятных встреч и эта усталость навели ее на мысль, что при первой же встрече с Гордоном в их отношениях должен произойти перелом. Она скажет ему что-нибудь такое, что произведет этот перелом. И это будет сегодня вечером. Это ее вечер. И все вечера отныне принадлежат ей.

Тут течение ее мыслей было прервано появлением молодого человека, который, представ перед ней с глубоко уязвленным видом, церемонно отвесил ей непомерно низкий поклон. Это был Питер Химмель, тот студент, с которым она приехала на бал. Он был долговязый, забавный, в роговых очках. В его эксцентричности было что-то привлекательное. Но она вдруг почувствовала к нему неприязнь — быть может, потому, что он не сумел ее поцеловать.

— Ну,— сказала она,— вы все еще злитесь?

— Ничуть.

Она шагнула к нему и взяла его за руку.

— Извините меня,— сказала она мягко.— Не понимаю, почему я так разбушевдалась. Сама не знаю, что со мной, но я отчаянно кисну сегодня. Не сердитесь.

— Ерунда,— пробормотал он.— Пустяки.

Он был неприятно смущен. Нарочно она, что ли, напоминает ему о том, как он оскандалился?

— Это была ошибка,— продолжала она тем же мягким, задушевым тоном,— и мы оба постараемся об этом забыть.

После этих слов он уже возненавидел ее.

Минуту спустя они скользили по паркету, в то время как музыканты специально приглашенного джаза, раскачиваясь в такт и вздыхая, сообщали переполненному бальному залу, что «мой саксофон и я — чем это не компа-ани-и-я-а!».

Перед ней вырос молодой человек с усами.

— Вы меня не помните? — начал он с укором.

— Что-то не припомню, как вас зовут,— сказала она небрежно.— Но мы знакомы, конечно.

— Мы встречались у...— Голос его печально замер вдали — ее уже перехватил какой-то белобрысый юноша. Эдит пробормотала учтиво вслед *inconnu*:¹

— Большое спасибо... еще потанцуем потом...

Белобрысый восторженно тряс ее руку и никак не мог остановиться. Она припомнила, что его зовут Джим. Однако мало ли у нее знакомых Джимов, а фамилия его оставалась для нее загадкой. Зато она вспомнила, что у него своеобразная манера синкопировать танец, и тут же убедилась, что была права.

— Долго думаете пробыть в Нью-Йорке? — многозначительно осведомился он.

Она слегка откинулась назад и поглядела на него.

— Недели две.

— Где вы остановились?

— В «Билтморе». Позвоните как-нибудь.

— Непременно,— заверил он ее.— Позвоню. Сходим в кафе.

— Непременно. Позвоните.

Появился изысканно учтивый брюнет.

— Вы меня не помните? — спросил он мрачно.

— Нет, как будто припоминаю. Вас зовут Харлен?

— О нет, Барло.

— Ну да, конечно, я помню, что из двух слогов что-то... Вы еще так чудесно играли на гавайской гитаре на вечеринке у Хауорда Маршалла...

— Я играю, но только не на...

Его оттеснил молодой человек с торчащими вперед зубами. От него пахло виски. Эдит нравилось, когда мужчины слегка навеселе. Они были куда забавнее,

¹ Нсизвестному (*фр.*).

откровенно восхищались ею, расточали ей комплименты с ними было значительно легче вести беседу.

— Меня зовут Дин, Филип Дин,—весело объявил он.— Вы меня, конечно, не помните. Вы бывали в Нью-Хейвене с одним студентом-выпускником, а я жил тогда с ним в одной комнате. Его зовут Гордон Стеррет.

Эдит быстро вскинула на него глаза.

— Да, я два раза была с ним на балу—у третьекурсников и в клубе.

— Вы уже видели его, разумеется?—продолжал болтать Дин.— Он здесь. Я с ним только что разговаривал.

Эдит вздрогнула. Впрочем, она ведь была уверена, что встретит Гордона здесь.

— Нет, я...

Ее уже перехватил толстый рыжеволосый юноша.

— А-а, Эдит,—начал он.

— О, я... здравствуйте...

Она поскользнулась, споткнулась, пробормотала машинально:

— Простите, бога ради...

Она увидела Гордона. Он был очень бледен и стоял прислонившись к косяку. Стоял совершенно неподвижно, курил и смотрел на танцующих. Она успела заметить, что он похудел и осунулся и рука у него дрожит, когда он подносит сигарету ко рту. Она танцевала теперь совсем близко от него.

— Они пригласили такую уйму чужих ребят, что тут...—говорил толстый юноша.

— Гордон!—крикнула Эдит через плечо своего кавалера. Сердце ее бешено колотилось.

Его большие темные глаза были прикованы к ее лицу. Он шагнул к ней. Партнер повернул ее в другую сторону. Она слышала, как он гудит у нее над ухом:

— Но большинство этих остолопов напились и смылись заблаговременно, так что...

Где-то сбоку прозвучал негромкий голос:

— Разрешите мне...

Она не успела вспомнить, как уже танцевала с Гордоном. Он обнимал ее одной рукой, и Эдит чувствовала, как напрягается минутами его рука, чувствовала его ладонь с чуть расставленными пальцами на своей спине. Ее рука вместе с крошечным кружевным платочком была зажата в другой руке Гордона.

— О Гордон...—взволнованно начала она.

— Здравствуйте, Эдит.

Снова она поскользнулась, он подхватил ее, и, качнувшись вперед, она ткнулась щекой в жесткий черный лацкан его фрака. Она любила его. О да, она поняла, что любит его... Затем на минуту воцарилось молчание, и ее охватило странное чувство неловкости. Что-то было не так.

Внезапно сердце ее упало — она поняла, в чем дело. Гордон производил жалкое впечатление — у него был какой-то потрепанный, смертельно усталый вид, и к тому же он был пьян.

— О! — невольно вырвалось у нее.

Он смотрел на нее сверху вниз, и она увидела вдруг, что у него налитые кровью глаза и бегающий взгляд.

— Гордон, — взмолилась она, — сядем. Я хочу посидеть.

Они были почти в центре зала, но Эдит заметила двух юношей, которые направлялись к ней с разных сторон, остановилась, схватила холодную, безжизненную руку Гордона и увлекла его за собой сквозь толпу. Губы ее были плотно сжаты, лицо бледно под легким слоем румян, в глазах стояли слезы.

Они поднялись по устланной ковром лестнице, и Эдит присела на ступеньку. Гордон опустился рядом с ней.

— Ну вот, — начал он, остановив на ней мутный взгляд, — я очень, очень рад, что встретил вас, Эдит.

Она ничего не ответила и только смотрела на него во все глаза. Она была потрясена. Не раз в течение многих лет приходилось ей наблюдать мужчин на разных стадиях опьянения, разных мужчин — от старших ее родственников до шоферов, — и порой это было забавно, порой вызывало отвращение, но такого невыразимого страха она еще не испытывала никогда.

— Гордон, — сказала она наконец с упреком, чуть не плача. — У вас ужасный вид!

Он кивнул.

— Я попал в беду, Эдит.

— В беду?

— Тысячи бед свалились на меня. Не говорите ничего своим, но я пропадаю. Я запутался, Эдит.

Его нижняя губа дрожала. Казалось, он уже почти не замечает присутствия Эдит.

— А вы не можете... — Она заколебалась. — Вы не можете рассказать мне, в чем дело, Гордон? Вы же знаете, меня всегда интересовала ваша жизнь.

Она прикусила губу. Она хотела сказать больше, но в последнюю минуту почувствовала, что это как-то не получается.

Гордон мрачно покачал головой.

— Нет, не могу. Вы порядочная девушка. Я не могу рассказывать порядочной девушке такие вещи.

— Чушь! — сказала она с вызовом. — Я нахожу, что так говорить — это просто оскорбительно. Это как пощечина. Вы пьяны, Гордон.

— Спасибо. — Он отвесил ей угрюмый поклон. — Спасибо за сообщение.

— Почему вы пьете?

— Потому что мне нестерпимо плохо.

— Вы думаете, что-нибудь исправится, если вы будете пить?

— А вы что, хотите обратить меня на путь истинный?

— Нет. Я хочу помочь вам, Гордон. Можете вы рассказать мне, что с вами?

— Я в ужасном положении. Вам лучше сделать вид, что вы со мной не знакомы.

— Почему, Гордон?

— Я жалею, что подошел к вам, — это было нечестно. Вы — чистая девушка и всякое такое. Обождите здесь, я сейчас приведу вам другого кавалера.

Он приподнялся, покачиваясь, но она потянула его к себе и заставила снова опуститься на ступеньку.

— Послушайте, Гордон, это просто смешно. Вы обижаете меня. Вы ведете себя, как... как помешанный.

— Согласен. Я немного помешался. Что-то сломалось во мне, Эдит. Пропало что-то. Впрочем, это не имеет значения.

— Нет, имеет. Расскажите.

— Ну, вот что. Я всегда был со странностями, не совсем такой, как другие. В университете еще было ничего, а теперь стало совсем худо. Вот уже четыре месяца, как что-то обрывается во мне, точно плохо пришитые крючки на платье, и когда еще несколько крючков оборвется, все полетит к черту. Я понемногу схожу с ума.

Он взглянул ей прямо в лицо и вдруг рассмеялся. Она отшатнулась.

— Так что же случилось? В чем дело?

— Ни в чем, во мне, — повторил он. — Я схожу с ума. Все вокруг как во сне. Бал... «Дельмонико»...

Пока Гордон говорил, Эдит поняла, что он изменился неузнаваемо. От прежнего веселого, беспечного, легкомысленного юноши не осталось и следа — глубокое уныние, апатия владели им. Ее интерес к нему внезапно иссяк, уступил место чувству легкой скуки. Его голос

долетал до нее словно издалека, из какого-то огромного пустого пространства.

— Эдит,— говорил Гордон,— я думал раньше, что у меня есть способности, талант, что я могу стать художником. Теперь вижу, что я ни на что не годен. Я не могу рисовать, Эдит. Впрочем, не знаю, зачем я говорю все это вам.

Она рассеянно покачала головой.

— Не могу рисовать. Ничего не могу делать. Я беден, как церковная мышь.— Он горько рассмеялся. Смех его прозвучал чуточку слишком громко.— Я нищ, живу, как паразит, за счет приятелей. Я неудачник! Я нищий, черт побери!

Ее отвращение к нему росло. На этот раз она едва-едва кивнула в ответ на его признание. Теперь она только ждала удобного случая, чтобы оставить его.

Внезапно глаза Гордона наполнились слезами.

— Эдит,— сказал он, повернувшись к ней и огромным усилием воли беря себя в руки.— Я не могу вам сказать, как много это значит для меня—сознавать, что есть еще на свете человек, которому я не безразличен.

Он потянулся к ней и тихонько коснулся ее руки, но она инстинктивно отдернула руку.

— Я страшно благодарен вам,— продолжал он.

— Конечно,— медленно проговорила она, глядя ему прямо в глаза,— всегда приятно встретить старого друга. но я огорчена, что нашла вас в таком состоянии, Гордон.

Наступило молчание, их взгляды встретились, и огонь, вспыхнувший было в глазах Гордона, потух. Эдит поднялась и стояла, глядя на него сверху вниз, лицо ее было бесстрастно.

— Пойдем танцевать?— холодно предложила она.

«Любовь—хрупкая вещь»,— думала Эдит. Но, быть может, что-то сохраняется? Слова, которые дрожали на губах и остались произнесенными. Новые любовные слова, впервые зародившаяся нежность... Они сохраняются, эти сокровища,— для нового возлюбленного.

V

Питер Химмель, доставивший на бал прелестную Эдит, не привык получать отпор, и, когда Эдит осадила его, он был оскорблен, пристыжен и сбит с толку. Месяца два кряду Питер обменивался с этой девушкой срочными письмами, а так как единственный смысл такой переписки заключался, по его мнению, в том, чтобы

поддерживать некие сентиментально-романтические отношения, то он уже не сомневался в успехе. И вот теперь он ломал себе голову, пытаясь разгадать, почему Эдит ни с того ни с сего придала значение такому пустяку, как поцелуй.

Когда молодой человек с усиками оттеснил его от Эдит, Питер вышел в вестибюль и начал складывать в уме ядовито-уничтожающую фразу. Претерпев многочисленные сокращения, она звучала примерно так:

«Ну, знаете ли, когда девушка сначала подзадоривает мужчину, а затем щелкает его по носу, тогда она... ну, словом, пусть пеняет на себя, потому что я сейчас пойду и напьюсь».

После этого он прошел через зал, где был накрыт ужин, в соседнюю комнату, которую заметил еще раньше. Там на столе, в приятном окружении бутылок, стояло несколько ваз с крошечными цветами, и он подсел к столу.

После двух больших стаканов виски с содовой скука, раздражение, однообразие уныло бегущих часов и минут и непонятная запутанность событий — все отступило куда-то на задний план и окуталось мерцающей, золотистой паутиной. Все явления упорядочились и умиротворенно стали на свое место. Все дневные тревоги выстроились в шеренгу, сделали по его команде «налево кругом марш» и исчезли. И когда растаяли тревоги, все приобрело какой-то отвлеченный, символический смысл. Эдит была уже не Эдит, а некая пустая, ветреная девчонка, над которой можно посмеяться, но никак не жалеть о ней. Она стала персонажем, созданным его воображением, который точно, как в раму, входил в этот новый, возникавший вокруг него, упростившийся мир. Да и сам он до некоторой степени стал символической фигурой — таким воплощением столичного кутилы, бездумного мечтателя, блистательно прожигающего жизнь.

Затем это отрешенное настроение сменилось другим, и, когда он покончил с третьим стаканом, образы, созданные его воображением, растаяли в теплом, сияющем тумане, и ему стало казаться, что он плывет куда-то, лежа на спине. Он пребывал в этом приятном состоянии, когда заметил, что кто-то приотворил обитую зеленым сукном вращающуюся дверь и чьи-то глаза внимательно наблюдают за ним в щелку.

Питер безмятежно хмыкнул.

Зеленая дверь затворилась... Затем приотворилась снова — совсем чуть-чуть на этот раз.

— Ой, боюсь,—сказал Питер.

Дверь не изменила своего положения, и вскоре до него донесся напряженный прерывистый шепот:

— Какой-то парень...

— Что он делает?

— Сидит, смотрит.

— Хоть бы он убрался поскорей. Нам надо раздобыть еще бутылочку.

Питер прислушивался, пока эти слова не проникли мало-помалу в его сознание.

«А это, между прочим, интересно»,— подумал он.

Он был заинтригован. Он ликовал. Он чувствовал, что наткнулся на какую-то тайну. С нарочито небрежным видом он поднялся со стула, обошел вокруг стола, затем сделал неожиданный поворот и дернул на себя зеленую дверь, из-за которой в комнату ввалился рядовой Роуз.

— Мое почтение,—сказал Питер.

Рядовой Роуз выставил одну ногу немного вперед, приготовившись не то к схватке, не то к бегству, а может быть, и к переговорам.

— Мое почтение,—вежливо повторил Питер.

— Здорово.

— Могу я предложить вам стакан вина?

Рядовой Роуз испытующе поглядел на Питера — не хочет ли тот поднять его на смех?

— Не откажусь,—сказал он после некоторого размышления.

Питер пододвинул стул.

— Присаживайтесь.

— Я тут с приятелем,—сказал Роуз.— Он там.— Роуз указал на зеленую дверь.

— В чем же дело, давайте его сюда.

Питер шагнул к двери, распахнул ее и пригласил к столу рядового Кзя, который имел весьма недоверчивый, неуверенный и виноватый вид. Подтащили к столу стулья, и все трое уселись поближе к вазе с крошками. Питер поставил перед каждым высокий бокал, открыл портсигар, предложил гостям папиросы. Все это было принято, хотя и с опаской.

— Ну, а теперь,—сказал Питер небрежно,—не могу ли я любопытствовать, почему вы, джентльмены, решили избрать местом своего отдыха это помещение, обставленное, насколько я мог заметить, главным образом швабрами? И почему в то время, как человечество уже достигло той стадии прогресса, когда

стулья фабрикуются в количестве семнадцати тысяч штук ежедневно, исключая воскресенье, вы...— Он сделал паузу Роуз и Кэй смотрели на него, разинув рты.— Могу я предложить вам вопрос?— продолжал Питер.— Почему для своего отдохновения вы предпочли использовать предметы, предназначенные для переноса воды с одного места на другое?

Тут Роуз поддержал беседу, издав какое-то мычание.

— И, наконец,— закончил Питер,— не будете ли вы так добры объяснить мне, почему в этом здании, столь красиво увешанном колоссальными люстрами, вы решили скоротать вечерок под одной немощной электрической лампочкой?

Роуз поглядел на Кэя. Кэй поглядел на Роуза. Они рассмеялись. Они загоготали во всю глотку. Стоило им поглядеть друг на друга—и они хватались за бока. Но они смеялись не тому, что сказал этот парень, они смеялись над ним. По их мнению, человек, изъясняющийся таким языком, либо совсем спятил, либо пьян в стельку.

— Вы из Йельского, ребята, как я понимаю?— спросил Питер, допивая свой бокал и наливая новый.

— Не-е.

— Вот как? А я было подумал, что вы с того подготовительного отделения университета, которое именуется Шеффилдской общеобразовательной школой.

— Не-е

— Н-да. Жаль-жаль. Значит, вы из Гарварда и решили сохранить свое инкогнито в этом сине-фиолетовом раю, выражаясь языком газет?

— Да нет,— презрительно протянул Кэй.— Просто мы тут поджидали одного человека.

— А!— воскликнул Питер, поднимаясь и наполняя их бокалы— Очень интересно. Свидание с коридорной, так что ли?

Это предположение было единодушно и с негодованием отвергнуто

— Все в порядке,— заверил их Питер.— Не смущайтесь. Коридорная ничуть не хуже всякой другой дамы. Вы помните, как говорил Киплинг насчет Джуди О'Грэди, которая без платья не хуже любой леди?

— Ясно!— сказал Кэй, ослабившись, и подмигнул Роузу

— Возьмите меня, к примеру,— продолжал Питер, осушая свой бокал.— Я прибыл сюда с девушкой, которая оказалась кривлякой. Такой чертовой кривляки я еще отродясь не видывал. Не захотела поцеловать меня, а по-

чему — абсолютно непонятно. Я был совершенно уверен, что она сама хочет со мной целоваться, — она все время так себя вела, — и вдруг на тебе! Точно холодной водой окатила. Куда идет наше молодое поколение, спрашиваю я вас?

— Да, черт возьми, не повезло тебе, — сказал Кэй. — Здорово не повезло.

— Еще как! — сказал Роуз.

— Выпьем? — предложил Питер.

— А мы тут в драку попали, — сказал Кэй, помолчав. — Только не дошли, далеко была.

— В драку? Вот это дело! — воскликнул Питер, покачавшись и плюхаясь на стул. — Бей их! Я был в армии.

— Большевика какого-то поколотили.

— Вот это дело! — восторженно повторил Питер. — А что я говорю? Бей большевиков! В порошок их!

— Мы американцы! — заявил Роуз, желая выразить этим свой стойкий, воинствующий патриотизм.

— Правильно! — сказал Питер. — Величайшая нация на земле! Мы все — американцы! Выпьем!

Они выпили.

VI

В час ночи в «Дельмонико» прибыл сверхмодный джаз — поистине сверхмодный, даже в эти дни сверхмодных джазов, — и музыканты, с дерзким видом рассевшись вокруг рояля, приняли на себя утомительную задачу — поставлять музыку для веселящегося студенческого братства. Управлял джазом знаменитый флейтист, прославившийся на весь Нью-Йорк тем, что играл на флейте популярные джазовые мелодии, стоя на голове и дергая плечами в ритме танца. Когда он проделывал этот фокус, в зале гасились все люстры, и только два луча прожектора прорезывали тьму: один был направлен на флейтиста, другой, переливаясь всеми цветами радуги и отбрасывая на потолок дрожащие, причудливые тени, бродил над толпой танцующих.

Эдит, как большинство девушек, которые недавно начали выезжать, танцевала до полного изнеможения и была словно в каком-то ослепительном сне — состояние, весьма близкое тому подъему, который испытывают возвышенные души после нескольких бокалов спиртного. Мысли ее парили где-то далеко, на крыльях звучащей в ушах музыки; в мерцающем, многоцветном полумраке, нереальные, как призраки, появлялись и исчезали партнеры.

Все было на грани между бредом и явью, и Эдит мнилось, что с тех пор, как она ступила на паркет, протекли не часы, а дни. С кем только и о чем только она не болтала! Кто-то поцеловал ее, и человек шесть объяснились ей в любви. В начале бала она танцевала то с тем, то с другим из студентов, но потом у нее, как у всех девушек, которые пользовались особенно большим успехом на балу, образовалась постоянная свита: с полдюжины кавалеров сделали ее своей избранницей и поочередно и безостановочно приглашали танцевать, распределяя свое внимание между ней и еще двумя-тремя признанными красавицами.

Раза два она видела Гордона. Он еще долго сидел на лестнице, подперев голову рукой, уставив тусклый взгляд в какую-то точку на полу. Он был грустный и очень пьяный, и Эдит всякий раз поспешно отводила глаза. Но все это, казалось, было когда-то давно. Теперь мозг ее дремал, все чувства были притуплены, как в сомнамбулическом сне, и только ноги продолжали скользить по паркету, а с языками собой слетали сентиментальные банальности.

Все же Эдит была не настолько утомлена, чтобы не почувствовать благородного негодования, когда перед ней предстал величественно и блаженно пьяный Питер Химмель. Эдит ахнула и уставилась на него.

— Боже мой, Питер!

— Я немножко выпил, Эдит.

— Прелестно! Не кажется ли вам, что это свинство, если вы пришли на бал со мной?

Но тут она не сдержала улыбки — Питер смотрел на нее растроганно-влюбленным взглядом, то и дело глупо ухмыляясь во весь рот.

— Милая Эдит, — начал он с чувством. — Вы знаете, что я люблю вас, знаете, верно?

— О да, я это вижу.

— Я люблю вас, и я... я просто хотел вас поцеловать, — сказал он печально.

От его смущения, от его замешательства не осталось и следа. Эдит — самая красивая девушка на всем свете. Самые красивые глаза — как звезды в небе. Он хочет попросить у нее прощенья; во-первых, за то, что осмелился лезть к ней с поцелуями, во-вторых, за то, что напился... Но он был так обескуражен, ему показалось, что она очень рассердилась на него...

Его оттеснил толстый молодой человек с красным лицом, которое расплылось в улыбке, когда он увидел Эдит.

— Вы приехали сюда с кем-нибудь? — спросила его Эдит.

Нет, краснолицый молодой человек явился на бал в полном одиночестве.

— В таком случае не могли бы вы... если это не слишком вас затруднит... не могли бы вы отвезти меня домой? — Эта робкая неуверенность была лишь очаровательным притворством со стороны Эдит — она отлично знала, что краснолицый молодой человек будет вне себя от восторга.

— Затруднит? Помилуй бог, я буду безумно рад! Вы даже не представляете себе, как рад!

— Я вам очень признательна. Вы страшно милы.

Она глянула на браслетку с часами. Половина второго ночи. И когда она произнесла это про себя — «половина второго», — ей смутно припомнилось вдруг, как ее брат, когда они завтракали вместе, сказал, что он всегда работает в редакции до половины второго ночи.

Эдит решительно повернулась к своему случайному партнеру:

— На какой мы улице, кстати, — где этот «Дельмонико»?

— То есть как? На Пятой авеню, разумеется.

— Да нет, какой квартал?

— А... позвольте... угол Сорок четвертой улицы.

Значит, она не ошиблась. Редакция, в которой работает Генри, на той стороне, сразу за углом. И тут же ее осенило, что она может забежать к нему на минутку. То-то он удивится, когда откуда ни возьмись к нему впорхнет такое ослепительное чудо в новом малиновом мантио! Это развлечет бедняжку.

Эдит обожала такие эскапады — такие отчаянно-смелые, как ей казалось, выходки. Идея крепла, завладевала ее воображением. Поколебавшись с минуту, Эдит решилась.

— Боже, что с моими волосами! — проворковала она своему партнеру. — Вы не рассердитесь, если я пойду поправлю прическу?

— Ничуть, разумеется.

— Вы прелесть!

Через несколько минут, закутавшись в малиновое мантио, она с пылающими от волнения щеками сбегала по одной из боковых лестниц, спеша осуществить свою затею. На площадке жарко спорила какая-то парочка: официант с безвольным подбородком и весьма ярко украшенная молодая особа. Эдит шагнула мимо них, отворила дверь и окунулась в теплую майскую ночь.

Накрашенная молодая особа проводила Эдит быстрым недружелюбным взглядом, затем снова повернулась к официанту и возобновила пререкания.

— Ступайте-ка лучше наверх и скажите ему, что я здесь,— решительно заявила она.— А не то я пройду сама.

— Никуда вы не пройдете,— сурово сказал Джордж. Девушка иронически усмехнулась.

— Ах, не пройду, вот как? Да у меня тут куча знакомых среди этих студентов, если хотите знать, и каждый из них рад будет пригласить меня на бал.

— Может, и так, да...

— Может, и так! — перебила она его.— Конечно, вот такие, как эта,— еще неизвестно, куда это она побежала,— могут тут приходить и уходить, сколько им вздумается, а когда я хочу повидать приятеля, ко мне высылают какого-то задрипанного официанта!

— Послушайте,— возмущенно сказал Кэй-старший.— Я не хочу потерять из-за вас место. Может, этот парень, о котором вы толкуете, совсем не желает вас видеть.

— О, не беспокойтесь, желает!

— Ну ладно, все равно — разве найдешь его в этой толкучке?

— А вы только спросите Гордона Стеррета, и вам его сразу покажут,— сказала она уверенно.— Они все там друг друга знают.

Она достала из сумочки долларовую бумажку и протянула ее Джорджу.

— Вот,— сказала она.— Вот вам на чай. Разыщите его и передайте то, что я велела. Если через пять минут он не появится здесь, я сама подымусь наверх — так и передайте.

Джордж с сомнением покачал головой, подумал, явно испытывая мучительные колебания, и наконец удалился.

Гордон Стеррет спустился по лестнице раньше отведенного ему срока. Он был еще сильнее пьян, чем в начале бала, но уже по-другому. Пары алкоголя словно затвердели на нем, как каркас. Он шатался и с трудом передвигал ноги, речь его была почти бессвязна.

— Привет, Джул,— сказал он хрипло.— Видишь, как я быстро пришел. А денег не достал, как ни старался.

— Дело не в деньгах,— оборвала она его.— Ты уже десять дней глаз не кажешь. В чем дело?

Он медленно покачал головой.

— Мне было очень плохо, Джул. Болен был.

— Почему же ты не дал мне знать, если был болен? Мне не так уж нужны твои деньги. Я бы вообще не заговорила о них, если бы ты не начал бегать от меня.

Он снова покачал головой.

— Я не бегал от тебя. Вовсе нет.

— Нет? Ты глаз не казал три недели. Если и приходил, так пьяный в доску.

— Я хворал, Джул,—повторил он, с трудом поднимая на нее глаза.

— Развлекаться здесь со своими светскими приятелями—на это ты не болен? Ты сказал, что мы пообедаем сегодня вместе, и обещал достать денег, а сам не потрудился даже позвонить.

— Я не мог достать денег.

— Я, кажется, сказала уже, что не в деньгах дело. Я хотела повидать тебя, Гордон, понимаешь? Но у тебя, должно быть, кто-то другой на уме.

Это он отверг самым решительным образом.

— Тогда бери шляпу, и пошли отсюда,—предложила она.

Гордон стоял в нерешительности, и она вдруг подошла к нему и обвила руками его шею.

— Пойдем со мной, Гордон,—понизив голос почти до шепота, сказала она.—Поедем в «Девинриз», выпьем, а потом ко мне.

— Я не могу, Джул.

— Можешь,—сказала она настойчиво.

— Я болен, вдребезги болен.

— Тем более тебе нечего делать на этом балу.

Гордон все еще колебался; он поглядел вокруг, словно ища спасения, но уже чувствуя, что сдается. Тогда она порывисто притянула его к себе, и ее мягкие влажные губы прильнули к его губам.

— Ладно,—глухо проговорил он.—Сейчас возьму шляпу.

VIII

Когда Эдит ступила на тротуар, улица, утопавшая в прозрачной синеве майской ночи, была пустынна. Витрины огромных магазинов померкли, и казалось, что все дневное великолепие погребено, словно в склепе, за тяжелой железной броней спущенных на двери жалюзи.

Поглядев в сторону Сорок второй улицы, Эдит увидела мерцающее марево огней ночных ресторанов. Над Шестой авеню с грохотом промчался поезд надземной железной дороги. Он пересек улицу между двумя тусклыми цепочками электрических фонарей и исчез, огненной полосой прочертив мрак.

На Сорок четвертой улице было совсем тихо.

Плотнее запахнувшись в мантию, Эдит перебежала через улицу и в испуге шарахнулась в сторону, услышав над ухом хриплый шепот какого-то одинокого прохожего:

— Куда спешишь, малютка?

Ей вспомнилось, как в детстве она убежала ночью в одной пижаме на улицу, и откуда-то из глубины таинственно-большого темного двора на нее залаяла собака.

Через минуту она уже была у цели — возле двухэтажного ветхого здания на Сорок четвертой улице, в одном из верхних окон которого с облегчением увидела огонек. На улице было достаточно светло, чтобы разобрать надпись на вывеске рядом с окном: «Нью-йоркский призыв». Эдит вошла в темный вестибюль и почти сразу разыскала в глубине лестницу.

Затем она очутилась в длинной комнате с низким потолком, заставленной столами и заваленной подшивками газет. В комнате было всего двое. Они сидели в противоположных концах комнаты и писали что-то при свете настольных ламп. У каждого был надвинут на лоб зеленый защитный козырек.

На секунду Эдит в нерешительности остановилась в дверях, и тут оба мужчины одновременно обернулись к ней, и в одном из них она узнала своего брата.

— Смотрите-ка, Эдит! — Он быстро встал и с удивленным видом направился к ней, снимая на ходу козырек. Это был высокий, худой брюнет в очках с очень толстыми стеклами. Взгляд у него был испытующий, но какой-то отрешенный, казалось, он всегда устремлен вдаль, поверх головы собеседника.

Взяв Эдит за локти, брат притянул ее к себе и поцеловал в щеку.

— Что случилось? — спросил он с некоторой тревогой.

— Я была на балу, Генри, тут через дорогу, у «Дельмонико», — взволнованно начала Эдит, — и не могла удержаться, чтобы не нагрянуть к тебе.

— Очень рад. — Его встревоженный тон мгновенно сменился обычным для него — небрежным. — Все же тебе не следовало бегать ночью по улицам одной.

Человек, сидевший в другом конце комнаты, с любопытством поглядывал на них. Генри поманил его, и он подошел. Это был полный мужчина с маленькими, остро поблескивавшими глазками. Он был без воротничка и галстука, и это делало его похожим на фермера из среднезападных штатов, вкушающего свой воскресный послеобеденный отдых.

— Моя сестра,— сказал Генри.— Зашла меня проведать.

— Здравствуйте,— сказал толстяк, улыбаясь.— Меня зовут Бартоломью, мисс Брейдин. Я знаю, что ваш брат давно уже успел об этом позабыть.

Эдит вежливо рассмеялась.

— Ну, как,— продолжал тот,— у нас тут не слишком роскошные апартаменты, верно?

Эдит обвела глазами комнату.

— Нет, очень мило,— отвечала она.— А где вы держите бомбы?

— Бомбы?— повторил Бартоломью и расхохотался.— Это здорово—бомбы! Ты слышишь, Генри? Твоя сестра хочет знать, где мы прячем бомбы. Это здорово, а?

Эдит примостилась на краешке стола и сидела, болтая ногами. Брат присел рядом с ней.

— Ну,— спросил он с рассеянным видом,— как ты проводишь время в Нью-Йорке на этот раз?

— Ничего, неплохо. Я пробуду вместе с Хойтами в «Билтморе» до субботы. Приходи завтра, позавтракаем вместе.

Генри на минуту задумался.

— Завтра я, пожалуй, занят,— сказал он.— Да и не гожусь я для дамского общества.

— Ну что ж,— безмятежно согласилась она,— давай позавтракаем вдвоем.

— Идет.

— Я заеду за тобой в двенадцать.

Бартоломью явно не терпелось вернуться к своему столу, но он, должно быть, считал, что было бы не слишком учтиво уйти, не пошутив на прощание.

— Знаете...— неуклюже начал он.

Брат и сестра обернулись к нему.

— Знаете, у нас тут... нам тут не давали скучать сегодня вечером.

Мужчины переглянулись.

— Вам бы прийти пораньше,— продолжал, ободрившись, Бартоломью.— У нас тут был настоящий спектакль.

— В самом деле?

— Нам спели серенаду,— сказал Генри.— Какие-то солдаты собрались на улице и начали орать, глаза на нашу вывеску.

— Почему?— спросила Эдит.

— Толпа,— сказал Генри задумчиво.— Толпа всегда должна что-то кричать. У них не было предприимчивого вожака, а то бы они, пожалуй, ворвались сюда и кое-что здесь поломали.

— Да,— сказал Бартоломью, снова обращаясь к Эдит,— жаль, что вас не было.

По-видимому, эта реплика показалась ему достаточной, чтобы прикрыть отступление, и он сразу повернулся и отошел к своему столу.

— А что, все солдаты настроены против социалистов?— спросила Эдит.— Они все время нападают на вас, да?

Генри надел козырек и зевнул.

— Человечество далеко шагнуло вперед,— сказал он беспечно,— но в большинстве своем мы еще дикари. Солдаты не знают, чего они хотят, что любят, что ненавидят. Они привыкли действовать большими группами, и им, по-видимому, необходимо как-то проявлять себя. Случайно это оказалось направленным против нас. Сегодня вечером по всему городу происходят беспорядки. Первое мая, видишь ли.

— А то, что здесь произошло, было серьезно?

— Нисколько,— сказал он пренебрежительно.— Часов около девяти вечера человек двадцать — тридцать остановились у нас под окнами и подняли бессмысленный вой.

— О...— Она решила переменить тему.— Ты рад меня видеть, Генри?

— Ну конечно.

— Что-то не похоже.

— Нет, правда.

— Ты, верно, считаешь, что я... что я никчемное создание. Этакий порхающий по жизни мотылек.

— Вовсе нет. Веселись, пока молода. В чем дело? Разве я кажусь тебе таким уж нудным ханжой?

— Нет...— Она замаялась.— Но я вдруг подумала о том, как этот бал, на котором я сейчас была... насколько это несовместимо с тем, к чему ты стремишься. Это выглядит как-то странно, нелепо, не правда ли,— я там, на этом балу, а ты здесь, трудишься во имя того, что должно на веки вечные покончить со всякими такими

вещами, как этот бал... если только твои идеи осуществятся.

— Я смотрю на это иначе. Ты молода и живешь так, как тебя научили жить, как тебя воспитали. Расскажи лучше, хорошо ли ты повеселилась?

Она перестала болтать ногами и слегка понизила голос:

— Я бы хотела, чтобы ты... чтобы ты возвратился в Гаррисберг и развлекся немного. Ты уверен в том, что ты на правильном пути?..

— У тебя очень красивые чулки,— перебил он ее.— Что это за чулки такие удивительные?

— Они вышитые,— отвечала Эдит, поглядев на свои ноги.— Прелесть, правда?— Она приподняла юбку, обнажив стройные, обтянутые шелком икры.— Может, ты не одобряешь шелковых чулок?

Он пристально поглядел на нее, и в его темных глазах промелькнуло раздражение.

— Ты, кажется, стараешься изобразить дело так, будто я осуждаю тебя, Эдит?

— Вовсе нет.

Она умолкла. Бартоломью что-то проворчал. Эдит оглянулась и увидала, что он вышел из-за стола и стоит у окна.

— Что там такое?— спросил Генри.

— Какие-то люди,— сказал Бартоломью и прибавил, помолчав:— Да сколько их! Приближаются сюда со стороны Шестой авеню.

— Люди?

Толстяк уткнулся носом в стекло.

— Солдаты, черт побери!— воскликнул он.— Я так и думал, что они вернутся.

Эдит соскочила со стола и, подбежав к окну, стала рядом с Бартоломью.

— Да их там уйма!— вскричала она.— Подойди сюда, Генри.

Генри снял козырек, но не двинулся с места.

— Может, лучше потушить свет?— предложил Бартоломью.

— Нет, они сейчас уйдут.

— Они не уходят,— сказала Эдит, глядя в окно.— И не думают уходить. Их все больше и больше. Смотрите, сколько их там—на углу Шестой авеню!

В желтых лучах уличных фонарей, отбрасывавших синие тени, было видно, как противоположный тротуар

заполняется людьми. Большинство из них были в форме,—одни трезвые, другие сильно на взводе,—и над всей этой толпой стоял глухой гомон, а порой раздавались нечленораздельные выкрики.

Генри встал, подошел к окну, и, когда его высокий силуэт отчетливо вырисовался на светлом фоне, голоса, доносившиеся с улицы, мгновенно слились в неумолчный вой и оконное стекло задребезжало под ударами запущенных в него папиросных коробок, окурков и даже мелких монет. В парадном повернулась вращающаяся дверь, и шум ворвался на лестницу.

— Они поднимаются сюда! — вскричал Бартоломью.

Эдит взволнованно повернулась к брату.

— Они идут сюда, Генри!

Снизу из вестибюля теперь уже отчетливо доносились крики.

— ...к черту социалистов!

— Большевистские прихвостни!.. Немцам продались!

— Они на втором этаже! Пошли!

— Мы им покажем, этим...

Дальше все промелькнуло, как в страшном сне. Эдит показалось, что крики обрушились на них, словно град из тучи: по лестнице загрохотали десятки сапог. Генри схватил ее за руку и увлек в глубь комнаты. Дверь распахнулась, и в комнату ворвались какие-то люди — не вожаки, а те, что случайно оказались впереди.

— Здорово, большевичок!

— Заработался небось?

— Ишь ты, с девчонкой! Будь ты проклят!

Эдит заметила двух солдат, которых кто-то выпихнул вперед; они были очень пьяны и стояли, покачиваясь. Один был коренастый, смуглый, другой — высокий, с безвольным подбородком.

Генри шагнул вперед и поднял руку.

— Друзья! — сказал он.

Гул сменился тишиной, перемежавшейся неясным бормотаньем.

— Друзья! — повторил Генри, устремив свой отрешенный взгляд поверх моря голов. — Вы ведь только сами себе приносите вред, врываясь сюда в ночное время. Разве мы похожи на богачей? Разве мы похожи на немцев? Я спрашиваю вас: скажите по чести...

— Заткнись!

— А то, скажешь, не похожи!

— А что это за дамочка у тебя тут?

Какой-то малый в штатском, шаривший по столу, вдруг поднял над головой газету.

— Вот! — заорал он. — Они хотели, чтобы немцы выиграли войну!

С лестницы хлынула новая волна людей и мгновенно заполнила всю комнату. Толпа сомкнулась вокруг крошечной группки в углу. Эдит заметила, что высокий солдат с безвольным подбородком по-прежнему впереди. Коренастый, смуглый исчез.

Она осторожно отступила еще на шаг и стала у распахнутого окна, из которого тянуло ночной прохладой.

Внезапно все смешалось. Солдаты кинулись вперед, и Эдит увидела, как толстяк-редактор схватил стул и занес его над головой. И в ту же секунду погас свет, и Эдит почувствовала прикосновение разгоряченных тел и грубой одежды, слышала яростные крики, топот и чье-то тяжелое дыхание над самым ухом.

Какая-то фигура возникла перед ней из мрака, покачнулась, беспомощно отлетела в сторону и вдруг исчезла, провалившись в окно с коротким отчаянным воплем сразу же затонувшим в общем гаме. При слабом свете, струившемся из окон дома напротив, Эдит показалось, что в этой исчезнувшей за окном фигуре она узнала высокого солдата с безвольным подбородком.

Небывалый гнев вспыхнул в ней. Не помня себя, она стала протискиваться в самую гущу свалки, неистово работая локтями. Она слышала хрип, проклятья, глухие удары кулаков.

— Генри! — отчаянно крикнула она. — Генри!

А через несколько минут она внезапно ощутила, что в комнате появились какие-то новые люди. Она услышала чей-то густой, властный, грозно рокочущий бас, увидела желтые лучи ручных фонариков, шарившие по лицам. Крики стали замирать. Свалка усилилась — и вдруг все стихло.

Вспыхнул свет. Комната была полна полицейских, колотивших дубинками направо и налево. Густой бас монотонно рокотал:

— А ну давай! А ну давай! А ну давай!

И затем:

— Тихо! Тихо! Пошли отсюда! А ну давай!

Комната пустела, словно из нее вычерпывали людей, как воду из лохани. Полицейский, притиснувшийся в углу какого-то солдата, отпустил своего противника и подтолкнул его

к двери. Бас продолжал рокотать. Эдит поняла, что бас принадлежит полицейскому с короткой, бычьей шеей, стоявшему возле двери и одетому в капитанскую форму.

— А ну давай! Куда это годится! Своего же солдата вышвырнули в окно. Расшибся насмерть.

— Генри! — закричала Эдит. — Генри!

Она бешено заколотила кулаками по спине какого-то человека, преграждавшего ей дорогу, протиснулась между двумя другими и с криком бросилась к бледному как полотно человеку, сидевшему на полу, прислонившись к ножке стола.

— Генри! — в ужасе вскричала она. — Что с тобой? Что с тобой? Они ранили тебя?

Глаза его были закрыты. Он застонал, взглянул на нее и сказал тоскливо:

— Они сломали мне ногу. Господи, какие идиоты!

— А ну давай! — кричал капитан полиции. — А ну давай! А ну давай!

IX

В восемь часов утра ресторан Чайлда на Пятьдесят девятой улице отличается от других ресторанов Чайлда разве что размером мраморных столиков да блеском сковородок. Вы найдете там толпу бедно одетых людей. В уголках глаз у них еще притаился сон, они смотрят прямо перед собой в тарелку, стараясь не видеть других, таких же бедно одетых, как они. Однако если вы заглянете в ресторан Чайлда на Пятьдесят девятой четверть часами ранее, то убедитесь, что он совершенно не похож на другие рестораны Чайлда, начиная от того, который в Портленде, штат Орегон, и кончая тем, который в Портленде, штат Мэн. Вы увидите, что его светлые, блестящие чистотой стены скрывают шумную и довольно разношерстную компанию студентов, хористок, *filles de joie*¹, молоденьких светских девушек и светских повес — словом, сборищ в достаточной мере характерное для веселящегося Бродвея и даже для Пятой авеню.

Второго мая на рассвете ресторан этот был переполнен до отказа. За мраморными столиками виднелись раскрасневшиеся лица юных бездельниц, чьи отцы явля-

¹ Веселых девиц (фр.).

ются обладателями собственных поместий. С завидным аппетитом они пожирали гречневые лепешки и омлеты — неслыханный подвиг, осуществить который еще раз в этом же месте четырьмя часами позже они не смогли бы ни за какие сокровища мира.

Почти все посетители ресторана прибыли сюда прямо со студенческого бала у «Дельмонико», если не считать двух-трех хористочек из ночного ревю, которые сидели за столиком у стены и сокрушались в душе, что не сняли немножко больше грима с лица. Кое-где торчало еще несколько мрачных фигур. Серые, похожие на мышей, они казались крайне неуместными в этом окружении. Устало, с недоумением и любопытством взирали они на беспечно порхавших здесь бабочек. Однако мрачные фигуры эти являлись исключением. Ведь близилась к рассвету ночь с первого на второе мая, и атмосфера все еще была праздничной.

Гэс Роуз, протрезвевший, но немного ошарашенный, мог быть причислен к разряду мрачных фигур. Как попал он после потасовки на Сорок четвертой улице сюда, на Пятьдесят девятую, припоминалось ему смутно, словно во сне. Он видел, как тело Кэррола Кэя забрал и увез санитарный автомобиль, а потом побрел вместе с другими солдатами в северном направлении. Где-то между Сорок четвертой и Пятьдесят девятой солдаты подцепили каких-то девчонок и исчезли. Роуз добрал до Колумбус-Серкл и, увидев мерцающие огни ресторана Чайлда, решил утолить здесь свою тоску по кофе с пончиком. Он вошел в ресторан и сел за столик.

Вокруг стояла трескучая, бессвязная болтовня, звонкий смех. Роуз не сразу понял, что здесь происходит, и озадаченно поглядывал по сторонам, пока наконец не сообразил, что какая-то веселящаяся компания убивает тут остаток ночи. Какие-то шумные, беспокойные молодые люди расхаживали между столиками, точно у себя дома, жали всем подряд руки, останавливались, чтобы посмеяться и поболтать, а взмыленные официанты, с омлетами и булочками на поднятых над головой подносах, безмолвно чертыхаясь, старались оттеснить их с прохода. Роузу, забившемуся в самый укромный уголок, все это казалось чем-то вроде яркого циркового представления, исполненного блеска, красоты и безудержного веселья.

Потом его заинтересовала пара, сидевшая наискосок от него, спиной к залу. Мужчина был пьян. Он был во фраке, но галстук болтался развязанный, манишка,

забрызганная водой и вином, вздулась пузырем. Тусклые, палитые кровью глаза блуждали по сторонам. Он дышал тяжело, прерывисто.

«Вот это кутнул!» — подумал Роуз.

Женщина была совсем или почти совсем трезва. Смазливое личико, темные глаза, слишком яркий румянец. Настороженный, ястребиный взгляд был прикован к лицу ее спутника. Время от времени она наклонялась и что-то настойчиво шептала ему, в ответ на что он либо с трудом кивал головой, либо как-то странно и жутко подмигивал.

Роуз молча наблюдал за ними, пока женщина не метнула на него быстрый негодующий взгляд. Тогда он перенес свое внимание на двух особенно шумных гуляк, которые давно уже путешествовали между столиками. К своему удивлению, в одном из них он узнал того самого молодого человека, который так радушно угощал его у «Дельмонико». Это привело его на память Кэя. Роуз подумал о нем растроганно и с некоторым страхом. Кэй был мертв. Он свалился со второго этажа, и голова у него треснула, как кокосовый орех.

«Хороший был малый, черт подери! — слезливо думал Роуз. — Да, что ни говори, хороший был малый, а вот не повезло ему, бедняге».

Двое гуляк протискивались в это время как раз мимо столика Роуза, одинаково весело и развязно приветствуя знакомых и незнакомых. Вдруг Роуз увидел, что один из гуляк — белобрысый, с торчащими зубами, остановился, пошатываясь, поглядел на мужчину и девушку, сидевших наискосок от Роуза, и принялся неодобрительно покачивать головой.

Мужчина поднял налитые кровью глаза.

— Горди! — произнес гуляка с торчащими зубами. — Горди!

— Здорово! — хрипло отозвался тот.

Зубастый осуждающе погрозил ему пальцем и окинул женщину высокомерно-презрительным взглядом.

— Что я тебе говорил, Горди?

Гордон заерзал на стуле.

— Поди к черту!

Но Дин не трогался с места и продолжал грозить пальцем. Женщина вскипела.

— Убирайся отсюда! — яростно крикнула она. — Ты пьян, вот что!

— Он тоже пьян, — заявил Дин, перестав грозить пальцем и направив его на Гордона.

Питер Химмель с осоловелым видом подтащился поближе. Он был настроен теперь на риторический лад.

— Ну, ну,— начал он таким тоном, словно его призывали уладить ссору между детьми, повздорившими из-за пустяков.— Что у вас тут такое?

— Уведите вашего приятеля,— сказала Джул резко.— Чего он привязывается?

— А в чем дело?

— Вы слышите, что я говорю?— взвизгнула она.— Уберите отсюда вашего приятеля, он пьян.

Ее взвинченный голос прозвучал громко, покрывая ресторанный гам, и официант бросился к их столику.

— Пожалуйста, прошу вас, тише!

— Этот парень пьян,— громко повторила Джул.— Он оскорбил нас.

— Ага, Горди!— не унимался обвиняемый.— Что я тебе говорил.— Он повернулся к официанту.— Мы с Горди при... приятели. Хотел... хотел помочь ему, верно, Горди?

Гордон поднял на него глаза.

— Помочь мне? Ну нет, черт побери!

Джул вскочила, схватила Гордона за руку, потянула его со стула.

— Пойдем, Горди,— громко прошептала она, наклоняясь к нему.— Пойдем отсюда. Этот парень пьян и лезет на рожон.

Гордон дал поднять себя и направился к выходу. Джул на секунду обернулась и сказала, обращаясь к виновнику их бегства:

— Мне все про тебя известно!— В голосе ее звучало бешенство.— Хорош друг, нечего сказать! Он мне все про тебя рассказал.

Она подхватила Гордона под руку, они протискались сквозь толпу любопытных, заплатили по счету и скрылись.

— А вы, пожалуйста, сядьте на место,— сказал официант Питеру, когда они ушли.

— Что это значит— сядьте на место?

— Да, сядьте на место или уходите.

Питер повернулся к Дину.

— А ну,— предложил он,— давай поколотим этого официанта.

— Давай.

Они шагнули к официанту, скорчив зверские рожи. Официант отступил.

Питер неожиданно потянулся к столу, захватил с тарелки полную пригоршню холодной закуски и с размаху швырнул вверх. Кусочки мяса, описав в воздухе параболу, медленно, словно большие хлопья снега, опустились на головы сидевших за соседними столиками.

— Эй, ты! Полегче!

— Уберите его отсюда.

— Питер, сядь ты!

— Прекрати это!

Питер рассмеялся и начал раскланиваться.

— Благодарю почтеннейшую публику за теплый прием. Если кто-нибудь ссудит мне еще немного закуски и цилиндр, представление можно будет повторить.

К Питеру уже спешил вышибала.

— Вам придется оставить зал,— сказал он Питеру

— Черта с два!

— Это мой друг,— возмущенно заявил Дин.

Вокруг них собралось уже несколько официантов.

— Вышвырните его вон!

— Тебе лучше уйти, Питер.

Произошла короткая схватка, и обоих приятелей отеснили к дверям.

— У меня тут шляпа и пальто! — крикнул Питер.

— Ну, ступайте, заберите их, да поживее.

Вышибала отпустил Питера. Тот с очень хитрым, как ему, должно быть, казалось, видом мгновенно уселся за какой-то столик и, вызываясь расхохотавшись, показал нос раздосадованным официантам.

— Пожалуй, я посижу еще немного,— заявил он.

Началась погоня. Четверо официантов стали приближаться к столику с одной стороны, и еще четверо — с другой. Дин схватил двоих из них сзади за пиджак, и опять поднялась возня, приостановившая на некоторое время охоту за Питером. В конце концов Питера изловили снова, но он успел все же перевернуть сахарницу и несколько чашек с кофе. Еще одна задержка произошла у кассы, где Питер пытался уплатить за порцию закуски, которую он решил прихватить с собой, чтобы швырять в полицейских.

Однако, невзирая на поднятую вокруг него суматоху, самый факт удаления его из ресторана прошел почти незамеченным, ибо взоры всех были в эту минуту обращены на нечто совсем иное, исторгшее невольный единогодушный возглас восхищения.

Огромное окно ресторана стало вдруг молочно-голубым, как на лунных пейзажах Максфилда Пэрриша. Этот

голубоватый свет приник, казалось, извне вплотную к стеклу, сияясь пробиться в зал. Рассвет пришел на Колумбус-Серкл, волшебный тихий рассвет, вырвав из мрака высокую статую бессмертного Христофора и растворив в своем странно призрачном сиянии тусклый желтый свет электрических ламп.

Х

Мистер Вход и Мистер Выход не попали ни в одну перепись. Напрасно стали бы вы искать упоминание о них среди записей рождений, браков или смертей или в списках должников какого-нибудь торговца бакалеей. Забвение поглотило их, и все свидетельства того, что они когда-либо существовали, стали теперь уже столь смутны и туманны, что их не принял бы во внимание ни один суд. И тем не менее мне доподлинно известно, что в течение какого-то короткого промежутка времени мистер Вход и мистер Выход жили, дышали, откликались на эти наименования и проявляли себя каждый на свой лад.

За недолгий период их существования они разгуливали в обычных для того времени костюмах по большому проспекту огромного города одной великой страны. Над ними смеялись, их кляли, за ними гнались и от них убегали. Затем они исчезли, и никто о них больше не слышал.

Они уже начинали обретать зримую форму в ту минуту, когда такси с открытым верхом промчалось по Бродвею в тусклом свете майской зари. В такси восседали души мистера Входа и мистера Выхода, с изумлением обсуждая голубоватое сияние, внезапно разлившееся по небу позади статуи Христофора Колумба, обсуждая и старые серые лица уже восставших от сна, пронесившиеся мимо, как клочки бумаги, гонимые ветром по поверхности серого озера. Они были единодушны во всем, начиная от абсурдности изгнания их из ресторана Чайлда, кончая абсурдностью жизни вообще. Пробуждение дня ошеломило их и повергло их восторженные души в состояние слезливо-пьяного экстаза. С такой силой и непосредственностью ощутили они вдруг радость бытия, что не могли не выразить своих чувств громкими криками.

— Ого-го-го! — возопил Питер, приставив ладони рупором ко рту, и Дин тотчас последовал его примеру, испустив крик, исполненный, несмотря на свою абсолют-

ную нечленораздельность, не менее глубокого внутреннего смысла:

— Э-гей! Ба-ба-ба-ба! Э-гей! О-го!

Пятьдесят третья улица явилась им в образе пикантной, стриженной брюнетки, восседавшей наверху автобуса. Пятьдесят вторая обернулась дворником, который едва уцелел и, отскочив в сторону, послал им вдогонку испуганный и негодующий возглас:

— Глядеть надо!

На Пятидесятой улице группа людей, толпившаяся на ослепительно белом тротуаре перед ослепительно белым зданием, обернулась, чтобы проводить их взглядом и громким напутствием:

— Хорошо погуляли, а?

На Сорок девятой улице Питер повернулся к Дину.

— Чудесное утро,— сказал он с чувством, щуря ослепительные глаза.

— Да, как будто.

— Неплохо бы закусить?

Дин согласился с некоторым дополнением:

— Закусить и выпить.

— Закусить и выпить,— повторил Питер, и они поглядели друг на друга и понимающе покивали головой.— Здравая мысль.

Тут оба громко расхохотались.

— Закусить и выпить! Ох, черт побери!

— Не выйдет,— объявил Питер.

— Что, не подадут? Не беспокойся. Мы заставим их подать. Пустим в ход силу.

— Пустим в ход убеждение.

Такси неожиданно свернуло с Бродвея, промчалось по поперечной улице и остановилось перед внушительным, похожим на саркофаг зданием на Пятой авеню.

— Это что ж такое?

Шофер объяснил, что это «Дельмонико».

Сообщение озадачило их. Пришлось посвятить несколько минут сосредоточенному размышлению: ведь если такое распоряжение было дано, к тому, вероятно, имелись причины?

— Насчет пальто какого-то говорили,— напомнил им шофер.

Вот оно в чем дело! Пальто и шляпа Питера! Он оставил их у «Дельмонико». Сделав это открытие, они вылезли из такси и под руку направились к подъезду.

— Эй! — окликнул их шофер.

— Ну?

— А платить кто будет?

Они возмущенно замотали головой.

— Потом. Сказано — жди.

Но шофер запротестовал; он желал получить деньги немедленно. С надменно-снисходительным видом, изумляясь собственной железной выдержке, они уплатили ему.

В полутемной пустой гардеробной Питер тщетно пытался разыскать свое пальто и шляпу.

— Пропало, как видно. Стянул кто-то.

— Кто-нибудь из шеффилдских студентов.

— Скорей всего.

— Наплевать. Я оставлю здесь свое, — великодушно предложил Дин, — тогда у нас с тобой опять всего будет поровну.

Он снял пальто и шляпу и подошел к вешалке, но тут его блуждающий взгляд наткнулся на дверь гардеробной, и два квадратных куска картона, приколотые к дверным створкам, привлекли к себе его внимание. На картонке слева крупными черными буквами было обозначено: «Вход». На правой он прочел не менее лаконичную надпись: «Выход».

— Погляди!.. — радостно воскликнул он.

Питер поглядел, куда он тычет пальцем.

— Ну?

— Посмотри-ка на эти штуки. Давай возьмем их.

— Отличная мысль.

— Очень ценная находка — пара таких редкостных объявлений. Может пригодиться.

Питер снял картонку с левой двери и начал примерять, куда бы ее сунуть, чтобы унести с собой. Задача эта представляла известные трудности вследствие довольно значительных размеров картонки. Тут Питера осенила какая-то мысль, и он с важным и таинственным видом повернулся к Дину спиной. Затем театрально раскинул руки в стороны и повернулся обратно, приглашая Дина полюбоваться на него. Картонка была засунута за жилет. Она совершенно закрывала манишку, и от этого казалось, что крупные черные буквы выведены на самой манишке: «Вход».

— Ого! — воскликнул Дин. — Мистер Вход.

Он засунул таким же способом вторую картонку себе за жилет.

— Мистер Выход! — торжествующе провозгласил он. — Мистер Вход, разрешите вам представить мистера Выхода.

Они шагнули друг к другу и обменялись рукопожатием. Тут их снова одолел смех, и они расхохотались так, что едва устояли на ногах.

— Уф!

— Что ж. Надо бы, пожалуй, перекусить слегка.

— Мы сейчас отправимся... Ну да, отправимся в «Коммодор».

Поддерживая друг друга, они выбрались из подъезда и, взяв курс на восток, зашагали по Сорок четвертой улице к ресторану «Коммодор».

В момент их появления на улице проходивший мимо коренастый, темноволосый, очень бледный и усталый с виду солдат обернулся и поглядел на них. Приветствие уже готово было сорваться с его губ, но, встретив холодный изумленный взгляд, он понял, что его не узнали. Подождав, пока приятели нетвердым шагом прошествовали мимо, он хмыкнул и последовал за ними на некотором расстоянии, время от времени восклицая негромко, как бы в радостном предвкушении чего-то забавного:

— Ну и ну!

А мистер Вход и мистер Выход между тем воодушевленно излагали друг другу свои планы на ближайшее будущее.

— Мы хотим выпить. И закусить. Одно без другого не пойдет. Только всё вместе.

— Подавайте нам всё вместе.

— Всё вместе.

Уже совсем рассвело, и прохожие начали с любопытством поглядывать на них. По-видимому, эти два молодчика обсуждали нечто в высшей степени забавное, так как на них то и дело нападал такой неукротимый приступ смеха, что они, держась под руку, едва не складывались пополам.

Достигнув ресторана «Коммодор», они перебрались несколькими крепкими словечками с заспанным швейцаром, соединенными усилиями одолели вращающуюся дверь и через сравнительно пустынный, но потрясенный их появлением вестибюль проследовали в ресторан, где ошеломленный официант проводил их к столику в самом дальнем углу. Некоторое время они безрезультатно изучали меню, читая друг другу вслух названия всех блюд подряд.

— Не вижу здесь ничего спиртного,— с укором сказал наконец Питер.

Официант произнес нечто не вполне членораздельное.

— Повторяю,— тоном неслыханного долготерпения изрек Питер,— в этом меню бросается в глаза совершенно необъяснимое и возмутительное отсутствие спиртных напитков.

— Обожди! — самодовольно сказал Дин. — Я сейчас все ему объясню. — Он обратился к официанту: — Поддай-ка нам... Поддай-ка нам... — Он снова уткнулся в меню. — Поддай нам бутылку шампанского и... ну... ну, скажем, бутерброд с ветчиной, что ли.

На лице официанта отразилось колебание.

— Подавай! — рявкнули разом мистер Вход и мистер Выход.

Официант кашлянул и исчез. Наступила небольшая пауза, во время которой вновь прибывшие были незаметно для себя подвергнуты пристальному изучению со стороны старшего официанта. Затем прибыло шампанское, и при виде его мистер Вход и мистер Выход сразу воспряли духом.

— Подумать только, что они не хотели подать нам шампанского к завтраку! Подумать только!

Некоторое время они пытались разобраться в этом чудовищном безобразии, но оказалось, что это им не под силу. Невозможно было представить, что кто-то может возражать против того, чтобы кому-то подали шампанское к завтраку!

Официант откупорил бутылку, пробка громко хлопнула, и в бокалах запенился бледно-золотистый напиток.

— Ваше здоровье, мистер Вход!

— Ваше здоровье, мистер Выход!

Официант удалился. Время текло. Шампанское в бутылке убывало.

— И все-таки это... это сногшибательно,— неожиданно изрек Дин.

— Что сногшибательно?

— А то, что они не хотели подать нам шампанское к завтраку.

— Сногшибательно? — Питер задумался. — Да, именно так — сногшибательно.

Снова ими овладел неудержимый приступ смеха, и они раскачивались на стульях взад и вперед, охая и повторяя: «Сногшибательно! Сногшибательно!» — и при каждом новом повторении слово это вызывало у них все больший восторг.

Нахохотавшись всласть, решили потребовать еще бутылку шампанского. Недоверчивый официант отправился держать совет со своим непосредственным начальством, и этот чрезмерно осторожный субъект заявил коротко и ясно, что шампанского им больше не подадут. Зато им был подан счет.

Через пять минут они под руку покинули ресторан «Коммодор» и, провожаемые удивленными и любопытными взглядами прохожих, зашагали по Сорок второй улице и дальше — по Вандербильд-авеню, к отелю «Билтмор». Там они проявили неожиданную хитрость и не ударили в грязь лицом: держась неестественно прямо, они скорым шагом прошли через вестибюль.

В ресторане все повторилось снова. Между спазматическими взрывами хохота приятели толковали о политике, о студенческих делах и о том, какие они оба славные парни. Случайный взгляд, брошенный на часы, открыл им, что время близится к девяти, и тут в их мозгу смутно оформилась новая идея: а ведь это была незабываемая ночь, важнейшая веха в жизни каждого! Они не спеша распили вторую бутылку. Стоило одному произнести слово «сногшибательно», как обоих начинало корчить от хохота. Зал вертелся и плыл у них перед глазами, и, вдыхая тяжелый, спертый воздух, они ощущали в нем какую-то странную легкость.

Они уплатили по счету и покинули ресторан.

В эту минуту дверь в подъезде повернулась (быть может, в сотый раз за это утро), и в вестибюль вступила красивая молодая девушка, очень бледная, с темными кругами под глазами. На ней было сильно помятое бальное платье, и ее сопровождал тучный полицейский, что выглядело несколько неожиданно.

У подножия лестницы эта пара столкнулась лицом к лицу с мистером Входом и мистером Выходом.

— Эдит!..— начал мистер Вход восторженно, бросаясь к девушке и пытаясь отвесить ей низкий поклон.— Дорогая моя, доброе утро...

Тучный полицейский вопросительно поглядел на девушку, как бы спрашивая ее разрешения убрать этого молодого человека с дороги.

— Прошу прощения,— немного подумав, прибавил Питер.— Доброе утро, Эдит.

Схватив Дина за локоть, он подтолкнул его вперед.

— Познакомьтесь с мистером Выходом, Эдит. Это мой лучший друг. Мистер Вход и мистер Выход. Неразлучны.

Мистер Выход шагнул вперед и поклонился. Правду сказать, он шагнул так стремительно и поклонился так низко, что покачнулся и едва не упал, но кое-как удержался на ногах, слегка опершись о плечо Эдит.

— Я — мистер Выход, Эдит, — сообщил он радостно, но невнятно. — Мы — Мистервход и Мистервыход.

— Миссвходмиссвыход... — горделиво подтвердил Ингер.

Но Эдит смотрела мимо них, куда-то вверх, на галерею, опоясывающую вестибюль. Она чуть кивнула тучному полицейскому, и тот быстрым, решительным движением раздвинул в стороны мистера Входа и мистера Выхода. В образовавшийся проход шагнула Эдит — за ней ее провожатый.

Однако, сделав еще несколько шагов, Эдит снова остановилась. Остановилась и показала на коренастого, темноволосого солдата, который с недоумением и ужасом глазел на всех находившихся в вестибюле и особенно на мистера Входа и мистера Выхода.

— Вон он! — вскричала Эдит. — Смотрите.

Голос ее прозвучал очень громко, даже пронзительно. Вытянутый вперед указательный палец слегка дрожал.

— Этот солдат сломал ногу моему брату!

Раздалось сразу несколько возгласов. Какой-то человек в визитке вскочил и стремительно вышел из-за конторки. Тучный полицейский как тигр прыгнул к маленькому темноволосому солдату. И тут все, кто был в вестибюле, окружили эту небольшую группу и заслонили ее от мистера Входа и мистера Выхода.

Но для мистера Входа и мистера Выхода все происшедшее было лишь одной из пестрых, мгновенно сменяющих друг друга картин крутящегося перед глазами радужного калейдоскопа.

Они слышали громкие возгласы, видели, как ринулся вперед полицейский, а затем все смешалось.

Они оказались в лифте, который возносил их на небо.

— Простите, какой вам нужен этаж? — спросил их лифтер.

— Любой, — сказал мистер Вход.

— Самый верхний, — сказал мистер Выход.

— Это верхний этаж, — сказал лифтер.

— Пусть прибавят еще один, — сказал мистер Выход.

— Нам надо выше, — сказал мистер Вход.

— На небо, — сказал мистер Выход.

В номере небольшой гостиницы где-то возле Шестой авеню Гордон Стеррет проснулся, чувствуя резкую боль в затылке и болезненную дрожь во всем теле. Он поглядел на серые, сумрачные тени, лежавшие в углах комнаты, и на треснувшее от времени кожаное сиденье стула, стоявшего у стены. Он увидел одежду — смятую, разброшенную по полу одежду — и почувствовал тяжелый запах винного перегара и табака. Окна были плотно закрыты. За окнами сиял день, и солнечный луч с плавающими в нем пылинками бил в стекло. Луч падал прямо на спинку широкой деревянной кровати, на которой лежал Стеррет. Он лежал совершенно неподвижно, как в столбняке, в дурмане, глядя прямо перед собой широко раскрытыми глазами, и в голове у него что-то скрежетало и постукивало, как части несмазанной машины.

Прошло секунд тридцать после того, как он заметил этот пыльный луч и рваную обивку стула, и лишь тут до его сознания дошло, что рядом с ним кто-то дышит. Прошло еще полминуты, прежде чем он вспомнил, что сочетался браком с Джул Хадсон и с этим уже ничего нельзя поделать.

Через полчаса он вышел из гостиницы и в магазине спортивных товаров купил револьвер. Потом взял такси и поехал на Восточную Двадцать седьмую улицу, где снимал комнату. Там он присел к столу, на котором были разложены его рисовальные принадлежности, и пустил себе пулю в висок.

ЛЕДЯНОЙ ДВОРЕЦ

I

Дом был облит золотистой охрою, словно декоративная ваза, и редкие пятачки тени давали особенно почувствовать напор затопляющего света. Дома ближайших соседей, Баттеруортов и Ларкинов, прятались за высокими раскидистыми деревьями, а дом Хэпперов стоял на самом солнцепеке и целый день с добродушным терпением караулил пыльную дорогу. Место действия — Тарлтон, в самом южном углу штата Джорджия, время — сентябрь, полдень.

Сверху, из спальни, опустив на подоконник подбородок, девятнадцатилетняя Салли Кэррол Хэппер наблюдала за стареньким «фордом» Кларка Дарроу, свернувшим к их дому. Автомобиль дышал жаром, солнце и мотор нещадно накалили его металлические части, и сам Кларк Дарроу, со страдальчески-напряженным выражением оцепеневший за рулем, ощущал себя частью механизма, и притом весьма ненадежной. Под протестующий скрежет колес он осторожно переехал присыпанную пылью наезженную колею, потом, ожесточившись лицом, до отказа вывернул баранку и в целости доставил себя и автомобиль почти к порогу дома. Мотор издал жалобное агонизирующее бормотание, наступила тишина, и воздух разрезал резкий свист.

Сонными глазами смотрела вниз Салли Кэррол. Ей захотелось зевнуть, но для этого требовалось поднять голову, и, подавив зевок, она продолжала молча созерцать автомобиль, между тем как его владелец, застыв в картинно скучающей позе, ждал ответа. В следующую минуту новый свист пронзил пыльное безмолвие.

— Доброе утро.

Кларк ужом потянулся из кабины и скосил глаза на окно.

— Утро ты уже проспала, Салли Кэррол.

— Правда?

— Что делаешь?

— Яблоко ем.

— Поехали купаться?

— Можно.

— Тогда, может быть, поторопишься?

— Может быть.

Салли Кэррол глубоко вздохнула и с великой неохотой поднялась с пола, где остались следы ее занятий — обкусанное яблоко и раскрашенные для сестренки бумажные куклы. Она подошла к зеркалу, не спеша и с удовольствием полюбовалась на свое приветливое отражение, мазнула помадой губы, припудрила нос и накрыла коротко стриженную русую голову соломенной шляпкой с розочками. Под ноги ей попало блюдце с водой от красок, она чертыхнулась, но прибирать не стала и вышла из комнаты.

— Как дела, Кларк? — спросила она минуту спустя, ловко перепорхнув через бортик кабины.

— Превосходно, Салли Кэррол.

— Куда мы едем?

— На пруд к Уолли. Я обещал Мэрилин заехать за ней и Джо Юингом.

Кларк был смуглый, поджарый, немного сутулился при ходьбе. У него был колючий взгляд и довольно неприветливое лицо, пока он не улыбнется, а улыбался он светло и часто. Кларк имел «доход», которого ему едва хватало на себя и на бензин, и, окончив технический колледж своего штата, он третий год сонно слонялся по мирным улочкам родного городка, делясь планами, как выгоднее поместить свой капитал.

Убивать время оказалось совсем не трудным делом; прекрасно поднималась молодая девичья поросль, и всех ярче цвела необыкновенная Салли Кэррол; подруг не приходилось упрашивать съездить купаться, сходить на танцы, поамурничать душистыми летними вечерами, и Кларка они все буквально обожали. От пресыщенности женским обществом спасали приятели, которые собирались в самом скором времени заняться делом, а пока были всегда не прочь составить компанию в гольф или бильярд, посидеть за квартой пшеничной. Время от времени кто-нибудь из них перед отъездом в Нью-Йорк, Филадельфию или Питтсбург делал прощальный обход друзей, но основную массу навсегда засасывал этот рай, где небо навевало грезы, сумерки высыпали светляков, на

ярмарках шумели негры и, главное, где водились такие нежные, с мелодичными голосами девушки, прошедшие бесплатную школу семейных преданий.

«Форд» завелся, закипая от раздражения, и Кларк и Салли Кэррол, поднимая пыль, с треском пронеслись по Вэли-авеню и выкатились на мостовую Джефферсон-стрит; миновав редкую россыпь особняков на поверженной в сон Миллисент-плейс, дорога устремилась в центр города. Здесь уже ехать было небезопасно — самое людное время; прохожие беспечно толклись на мостовой, с черепашей скоростью тянувшийся трамвай гнал перед собой протяжно мычавшее стадо; казалось, и магазины вот-вот сморит глубокий сон — так откровенно зевали их двери и шурились от света витрины.

— Салли Кэррол,— подал голос Кларк,— это правда, что ты помолвлена?

Она быстро взглянула на него.

— Кто тебе сказал?

— Значит, правда?

— Ничего себе вопрос!

— Одна знакомая сказала, что ты помолвлена с янки, с которым познакомилась прошлым летом в Ашвилле.

Салли Кэррол вздохнула.

— Не город, а старая сплетница.

— Не выходи за янки, Салли Кэррол. Что мы без тебя будем делать?

Салли Кэррол минуту помолчала.

— За кого же прикажешь выходить? — спросила она.

— Предлагаю свои услуги.

— Милый,— развеселилась она,— где тебе содержать еще и жену? И потом, я слишком хорошо тебя знаю, я не смогу влюбиться в тебя.

— Это не причина, чтобы выходить за янки,— настаивал Кларк.

— А если я его люблю?

Он покачал головой.

— Это невозможно. Он не нашей породы.

Автомобиль стал перед широко раскинувшимся ветхим домом, и разговор прервался. На пороге появились Мэрилин Уэйд и Джо Юинг.

— Здравствуй, Салли Кэррол!

— Привет!

— Как жизнь?

— Салли Кэррол,— спросила Мэрилин, когда машина тронулась,— ты помолвлена?

— Господи, откуда это все пошло? Хоть не смотри на мужчину — сразу весь город объявит женихом и невестой.

Зацепив взглядом гайку над дребезжавшим ветровым стеклом, Кларк неотрывно глядел вперед.

— Салли Кэррол,—с неожиданным чувством спросил он,—ты что, не любишь нас?

— Кого?

— Ну, всех нас?

— Ты сам знаешь, Кларк, что я вас люблю. Я всех здесь обожаю.

— Тогда зачем выходить замуж за янки?

— Не знаю, Кларк. Я еще ничего не решила... только мне хочется поездить, посмотреть людей. Я хочу развиваться, увидеть настоящую жизнь.

— Что-то не я пойму.

— Я вас всех люблю, Кларк,—и тебя, и Джо, и Бена Эррота, но у вас впереди...

— Одни неудачи, что ли?

— Да. Я даже не про деньги говорю, в вас вообще есть что-то незадачливое, грустное... не могу я тебе объяснить.

— И все потому, что мы остаемся в Тарлтоне?

— Конечно, Кларк, и еще потому, что вам здесь нравится, что вы ничего не хотите менять, не хотите думать, стремиться.

Он кивнул, и она сжала его руку.

— Я бы и не хотела видеть тебя другим, Кларк,—мягко выговорила она.—Ты очень славный. Я никогда не перестану любить все, из-за чего ты пропадешь,—что ты живешь вчерашним днем и вообще коптишь небо, что ты такой безалаберный и добрый.

— И все равно уезжаешь?

— Да, потому что я никогда не смогла бы выйти за тебя замуж. Никто не займет твоего места в моем сердце, но если я здесь останусь, я не буду знать покоя. У меня будет такое чувство, словно я заживо себя схоронила. Понимаешь, во мне две души. Ты любишь ту, которая все время спит; а на другую нет уюта, из-за нее я бываю как сумасшедшая. И в других краях она может мне пригодиться, она будет при мне и тогда, когда я утрачу свою красоту.

Порыв прошел, она оборвала себя, и, сразу загрустив, вздохнула:

— Да что говорить...

Медленно опустив голову на спинку сиденья, она подставила пахучему ветерку полуприкрытые ресницами гла-

за и растрепавшиеся стриженные волосы. Они уже выехали из города, с обеих сторон их обступало изумрудное буйство кустарников и травы, высокие деревья осеняли дорогу милосердной крапчатой тенью. По пути попадались убогие негритянские хижины с обязательным седым стариком, кутившим кукурузную трубку на порошке, и стойкой полуголых негритят. прогуливавших по некошеной траве перед домом своих растерзанных кукол. Вдалеке, изнемогая, лежали хлопковые поля, и даже работники казались бесплотными тенями, которые сошлись не поработать, а кое-как исполнить некий обряд, издревле принятый здесь в эту пору. И все это сонное царство, эти деревья, лачуги и мутные реки затоплял зной, который был не наказанием, а милостью неба, одарявшего землю материнским теплом.

— Приехали, Салли Кэррол!

— Ребенок спит без задних ног

— Отмучилась, бедняжка, лень ее сгубила.

— Вода, Салли Кэррол! Холодненькая!

Она открыла сонные глаза.

— Надо же,— улыбнувшись, пробормотала она.

II

В ноябре из своего северного города приехал на четыре дня Гарри Беллами — высокий, широкоплечий, энергичный. В его планах было решить вопрос, остававшийся открытым с лета, со времени их встречи в Ашвилле. И вопрос решился быстро — хватило нескольких безмятежных полуденных часов и вечера у жаркого камина. Гарри Беллами подходил ей по всем статьям, не говоря уже о том, что она его любила, то есть предназначенной для этого стороной ее души он завладел всецело. А в душе Салли Кэррол всему было свое место.

Перед его отъездом они под вечер пошли гулять, и она почувствовала, как ноги сами ведут ее любимым маршрутом — на кладбище. Ласковое закатное солнце серебрило камни, золотило зелень, и у железных ворот она в нерешительности остановилась.

— Ты не меланхолик, Гарри? — со слабой улыбкой спросила она.

— Упаси бог!

— Тогда пойдем. Некоторые кладбища не любят, а мне нравится.

Они прошли ворота и по дорожке углубились в волнистую долину могил; пятидесятые годы лежали пепельно-серые, неприбранные; семидесятые щеголяли причудливой лепкой цветов и урн; девяностые поражали воображение страховидной красотой — на каменных подушках тяжелым сном спали упитанные мраморные херувимы, свисали гирлянды безымянных гранитных цветов. Кое-где у холмиков стояли на коленях женщины с живыми цветами в руках, большинство же могил оставались непотревоженными, и прелые листья на них источали аромат забвения.

Они поднялись на вершину холма и подошли к высокому круглому могильному столбику, испещренному пятнами сырости и наполовину скрытому вьющимся кустарником.

— Марджори Ли, — прочитала она. — Тысяча восемьсот сорок четыре — тысяча восемьсот семьдесят три. Подумать только! Умерла в двадцать девять лет. Милая Марджори Ли. Ты ее представляешь себе, Гарри?

— Да, Салли Кэррол.

Ее рука скользнула в его ладонь.

— Мне кажется, она была брюнетка, вплетала в волосы ленту и носила пышные юбки небесно-голубого или темно-розового цвета.

— Да.

— Какая она была душенька, Гарри! Так и видишь, как она стоит на террасе с колоннами, встречая гостей. Наверное, многие мужчины надеялись после войны найти с ней свое счастье. Только был ли такой счастливец?

Он склонился ближе, всматриваясь в надпись на камне.

— Про мужа ничего нет.

— Разумеется, так гораздо лучше. Просто «Марджори Ли» и эти красноречивые цифры.

Она приникла к нему, и у него перехватило в горле, когда ее золотые волосы коснулись его щеки.

— Правда, ты видишь ее как живую, Гарри?

— Вижу, — мягко согласился он. — Я вижу ее твоими чудесными глазами. Ты прекрасна сейчас, и, значит, она тоже была такая.

Притихшие, они стояли совсем рядом, и он чувствовал, как слегка вздрагивают ее плечи. Набегал порывистый ветерок, трепал мягкие поля ее шляпы.

— Пойдем туда.

Она указала на противоположный склон холма с широкой луговиной, где на зеленом ковре побатальонно, в ряды выстроились ряды серовато-белых крестов.

— Это конфедераты,— пояснила Салли Кэррол.

Они шли и читали надписи — там были только имена и годы жизни, а иногда вообще ничего нельзя было разобрать.

— Последний ряд — вон тот — самый грустный, там на каждом кресте только год смерти и надпись: «Неизвестный».

Она взглянула на него полными слез глазами.

— Не могу тебе объяснить, какое это все настоящее для меня.

— Мне очень нравится, что ты так относишься к этому.

— При чем здесь я? Это все они, вся эта старина, которую я пыталась сохранить в себе живой. Они были люди как люди, самые обыкновенные, если о них написали «неизвестный»; но они отдали свои жизни за самое прекрасное на свете — за обреченный Юг. Понимаешь, — голос ее дрожал и в глазах стояли слезы, — люди не могут жить без мечты, вот и я росла с нашей здешней мечтой. Это было очень легко — ведь то, что умерло, уже никогда не разочарует нас. Я просто тянулась быть похожей на них; все это уходит, гложет, как розы в запущенном саду, только и осталось что проблески рыцарства у некоторых наших мальчиков, истории, которые мне рассказывал сосед-конфедерат, и десяток стариков негров. Ах, Гарри, в этом что-то было, было! Я никогда не сумею объяснить тебе этого, но это так.

— Я все понимаю,— снова заверил он ее.

Салли Кэррол улыбнулась и вытерла слезы кончиком платка, торчавшего из его нагрудного кармашка.

— Милый, ты не расстроился? Мне здесь хорошо, даже если я плачу,— у меня словно прибавляется сил.

Держась за руки, они медленно побрели прочь. Выбрав траву помягче, она потянула его вниз, и они уселись рядышком, прислонясь к развалинам низкой ограды.

— Скорее бы эти три старушки исчезли,— посетовал он.— Я хочу тебя поцеловать, Салли Кэррол.

— И я.

Они едва дождались, когда три согбенные фигуры скроются из виду, и она поцеловала его, и поцелуй длился вечность, поглотившую горе ее и радость и небо над головой.

Потом они медленно возвращались, по углам сумерки уже затевали с последним светом ленивую партию в шашки.

— Ты приедешь в середине января,— говорил он,— и пробудешь у нас хотя бы месяц. Не пожалеешь. В это время у нас зимний карнавал, и если ты никогда не видела настоящего снега, то буквально попадешь в сказку. Коньки, лыжи, сани, салазки и всякие факельные шествия на снегоступах. Карнавала не было уже несколько лет, так что в этот раз будет что-нибудь потрясающее.

— А я не буду мерзнуть, Гарри? — спросила она.

— Конечно, нет. Нос у тебя, может, и замерзнет, но чтобы зуб на зуб не попадал — это нет. Мороз у нас крепкий, сухой.

— Я, наверное, тепличное растение. Мне никогда не нравился холод.

С минуту оба шли молча.

— Салли Кэррол,— спросил он, медленно выговаривая слова,— что ты скажешь насчет... марта?

— Скажу, что я тебя люблю.

— Значит, в марте?

— В марте, Гарри.

III

Ночью в вагоне было очень холодно. Она вызывала проводника, просила еще одно одеяло, но лишних не было, и, сжавшись калачиком, она дрожала под сложенным вдвое одеялом, пытаясь поспать хотя бы несколько часов. Ей хотелось выглядеть утром лучше.

Она поднялась в шесть, неловко натянула остывшую одежду и, покачиваясь на нетвердом полу, направилась в ресторан выпить чашку кофе. В тамбуры надуло снега, пол покрылся скользкой наледью. Мороз удивительная вещь, он проникал всюду. При выдохе с губ отлетало облачко пара, и она немного подышала просто так, из интереса. В ресторане она через окно разглядывала белые холмы и долины, одинокие сосны, держащие в зеленых лапах холодное снежное яство. Порою мимо пролетала одинокая ферма, невзрачная, промерзшая, затерянная в белесой пустыне; и каждый раз у нее по телу пробегали мурашки от сострадания к людям, до весны замурованным в своих углах.

Пробираясь из ресторана в свой вагон, она ощутила внезапный прилив сил и решила, что это, верно, и есть тот бодрящий воздух, о котором говорил Гарри. Вот он такой, Север, и теперь это тоже ее родина.

Дуй ветер, крепчай,
Мои паруса надувай,—

распираемая восторгом, пропела она.

— Что вы сказали? — вежливо осведомился проводник.

— Попросила почистить пальто.

Телеграфные провода теперь побежали парами, сбоку легли две колеи, потом их стало четыре; потянулись дома с побеленными крышами, мелькнул трамвай с наглухо замёрзшими стеклами, улицы, перекрестки. Город.

Растерянно ступила она под своды выстуженного вокзала и увидела торопившиеся навстречу три фигуры в мехах.

— Вот она!

— Салли Кэррол!

Салли Кэррол опустила чемодан.

— Привет!

Смутно знакомое, холодное, как ледышка, лицо наклоняется к ней, целует; встречающие окружают ее, словно курильщики выдыхая клубы пара, трясут руку. С Гарри пришли его брат Гордон, коренастый тридцатилетний бодрячок, неискусная и уже потускневшая копия Гарри, и его жена Майра, анемичная блондинка в меховом шлеме. Салли Кэррол сразу почудилось в ней что-то скандинавское. Радужный шофер завладел ее чемоданом, Майра вяло и невнимательно радовалась встрече, и, бестолково шумя, компания вывалилась на улицу.

Машина колесила по лабиринту занесенных снегом улиц, где хозяйничали мальчишки, цепляя салазки к фургонам и автомобилям.

— Плядите! — закричала Салли Кэррол. — Я тоже хочу. Это можно устроить, Гарри?

— Детская забава. Можно, конечно...

— А как было бы здорово, — огорчилась она.

На белоснежном ковре просторно расположился деревянный дом, и здесь, в родных пенатах Гарри, ее представили крупному седовласому господину, который ей сразу понравился, и даме, похожей на яйцо и удостоившей ее поцелуем. Целый час стоял невообразимый переполох,

смешавший в одну неразбериху обрывки фраз, горячую ванну, яичницу с беконом и чувство общей смущенности. Наконец они с Гарри уединились в библиотеке, и она призналась, что ей хочется курить.

В просторной комнате с изображением мадонны над камином вдоль стен протянулись ряды книг, мерцавших и горевших золотым тиснением на рубиновых корешках. На спинки кресел были наброшены кружевные салфеточки под голову, стояла вполне удобная софа, книги, пусть не все, явно побывали в руках, и Салли Кэррол вдруг мысленно увидела их бестолковую старенькую библиотеку — отцовы медицинские фолианты, портреты трех ее двоюродных дедушек в простенках и старый диван, который уже полсотни лет не перетягивали, но как сладко мечталось на нем. В этой комнате поражало то, что в ней не было ни хорошо, ни плохо. Просто выставка дорогих вещей не старше пятидесяти лет.

— Ну как тебе у нас? — нетерпеливо спросил Гарри. — Непривычно? Не разочаровалась еще?

— В тебе — нет, Гарри, — тихо обронила она и протянула ему руки.

Мельком поцеловав ее, он снова воззвал к проявлению восторгов.

— А сам город, город тебе нравится? Воздух какой здоровый!

— Гарри, — рассмеялась она, — дай мне оглядеться. Не требуй от меня всего сразу.

Затянувшись сигаретой, она облегченно передохнула.

— Я хочу кое о чем попросить тебя, — смущаясь, заговорил он. — Для вас, южан, вся жизнь упирается в семью, в традиции, и я не говорю, что это плохо, только у нас все немного иначе. Понимаешь, многое из того, что ты увидишь, поначалу покажется тебе даже вульгарным, но ты не должна забывать, что у нашего города на веку всего три поколения. У нас у каждого есть отец, а половина города может похвастаться дедушками, но дальше наша родословная обрывается.

— Понятно, — проронила она.

— Город основали наши деды, и чем только не приходилось им тогда заниматься. Есть, например, одна дама, сейчас она своего рода законодательница общества, — так ее отец был мусорщиком... Всякое бывало.

— Погоди, — озадаченно сказала Салли Кэррол, — ты боишься, что я стану судить людей, что ли?

— Да нет же,—поспешил сказать он,—я и сам несколько не стыжусь их. Понимаешь... тут прошлым летом гостила одна девушка, тоже с Юга, и что-то она лишилась некстати... и я решил тебя предупредить.

Салли Кэррол вся вспыхнула от возмущения, словно ее ни за что ни про что отшлепали, но Гарри, видимо, счел предмет исчерпанным, с воодушевлением переменив тему.

— У нас сейчас затевают карнавал. Впервые за десять лет. Строят настоящий ледяной дворец, такого с восемьдесят пятого года не было. Из блоков отборного прозрачайшего льда. Грандиозно!

Встав, она подошла к окну и раздвинула тяжелые ворсистые портьеры.

— Гляди!—воскликнула она.—Два малыша лепят снежную бабу. Может, я выйду им помочь?

— Выдумщица! Лучше поцелуй меня.

С видимой неохотой она отошла от окна.

— Вообще-то климат у вас не очень располагает к поцелуям... Спокойно не посидишь.

— А мы и не будем рассиживаться. Эту неделю я для тебя освободил, взял отпуск, и сегодня, кстати, мы приглашены на ужин и танцы.

— Только вот что, Гарри,—призналась она, удобнее устраиваясь у него на коленях,—я наверняка растеряюсь. Я совершенно не представляю, понравится мне там или нет, как вести себя с людьми, я ничего не знаю. Ты мне должен все-все подсказывать, милый.

— Подскажу,—мягко пообещал он,—а ты за это скажи, что тебе у нас хорошо.

— Мне ужасно хорошо,—шепнула она, незаметно оказавшись в его объятиях, как она умела это делать.—С тобою мне везде хорошо, Гарри.

И тогда же, пожалуй, впервые за всю жизнь, она почувствовала, что сказала чужие слова.

Ужин проходил при свечах, и, хотя Гарри сидел рядом, ей было неуютно среди мужчин, не закрывавших рта, и разодетых надменных дам.

— Симпатичные люди, правда?—спросил он.—Как на подбор. Вон Спад Хаббард, в прошлом году был нападающим в Принстоне, а тот — Джунни Мортон, он и его рыжий сосед были в Йеле капитанами хоккейной команды; с Джунни мы однокашники. Что и говорить, здешние штаты дают миру лучших спортсменов. Словом, мужской заповедник. Один Джон Дж. Фишберн чего стоит!

— А он кто? — в душевной простоте спросила Салли Кэррол.

— Не знаешь?

— Имя знакомое.

— Король пшеницы всего Северо-Запада, крупнейший финансист.

Внезапно обрел голос сосед справа.

— Мне кажется, нас забыли познакомить. Роджер Пэттон.

— Салли Кэррол Хэппер, — любезно отозвалась она.

— Это я уже понял. Гарри говорил, что вы приезжаете.

— Вы родственник?

— Нет, я профессор.

— Ой, — рассмеялась она.

— Да, из университета. А вы, значит, с Юга?

— Из Тарлтона, штат Джорджия.

Он ей сразу понравился, у него были ржавого цвета усы и блекло-голубые глаза, которые смотрели на нее с таким неподходящим для этого сборища лестным вниманием. За ужином они поболтали, и она настроилась видаться с ним и впредь.

После кофе ей представили множество симпатичных молодых людей, которые церемонно танцевали с нею и полагали естественным, что ни о чем, кроме Гарри, ей говорить не интересно.

«Господи боже, — думала она, — они ведут себя так, словно после помолвки я стала старше их и, чего доброго, могу наябедничать их мамочкам».

На Юге не только помолвленная девушка, но даже молодая замужняя женщина могла рассчитывать на такое же обращение, как семнадцатилетняя девочка на своем первом бале, — те же комплименты, те же галантные шуточки, а здесь о такой вольности и думать не смей. Один юноша начал очень неплохо, отметив глаза Салли Кэррол, якобы с первой минуты поразившие его воображение, но как же он перепугался, узнав, что она гостья Беллами и невеста Гарри! Он повел себя так, словно допустил чудовищную бестактность, стал совершенный сухарь и стушевался при первой возможности.

Тут очень кстати подвернулся Роджер Пэттон и предложил немного передохнуть.

— Итак? — весело сощурившись, поинтересовался он. — Как себя чувствует южная Кармен?

— Превосходно. А что скажет... Грозный Дэн Макгрю? К сожалению, это единственный северянин, которого я с грехом пополам знаю.

Ответ пришлось ему по вкусу.

— Я — преподаватель литературы, — покаялся он, — и «Грозный Дэн Макгрю» не входит в мое обязательное чтение.

— Вы здешний?

— Нет, я из Филадельфии. Меня выписали сюда из Гарварда преподавать французский. Впрочем, я здесь уже десять лет.

— На девять лет и триста шестьдесят четыре дня больше, чем я.

— Нравится вам здесь?

— Да-а... Конечно!

— В самом деле?

— А что в этом странного? Разве похоже, что я скучаю?

— Я видел, как минуту назад вы выглянули в окно и передернули плечами.

— Я фантазерка, — рассмеялась Салли Кэррол. — Дома на улице так тихо, а здесь за окном метель, и в голову лезут всякие выходцы с того света.

Он понимающе кивнул.

— Раньше бывали на Севере?

— Два лета ездила в Северную Каролину, в Ашвилл.

— Симпатичное общество, правда? — Он переключил все внимание на ходуном ходившую комнату

Салли Кэррол вздрогнула. То же самое говорил Гарри!

— Очень приятное! Они собаки.

— Что?!

Она густо покраснела.

— Извините. Я не имела в виду ничего плохого. У меня такая привычка, у меня все люди собаки или кошки, все равно — мужчины, женщины.

— Кто же вы?

— Я кошка. И вы. На Юге почти все мужчины кошки, и ваши девушки на этом вечере — тоже.

— А Гарри кто?

— Гарри, конечно, собака. Все мужчины, которых я встретила сегодня, более или менее собаки.

— А какой смысл за этим стоит? Собака — это что, своего рода истовая мужественность в отличие от мягкости?

— Вроде того. Я никогда не задумывалась над этим, мне достаточно увидеть человека, чтобы понять, собака он или кошка. Наверное, это все чепуха.

— Не скажите. Это интересно. У меня ведь относительно этих людей тоже была своя теория. Я полагаю, они обречены на замерзание.

— Это как?

— В них все яснее проступает что-то скандинавское, ибсеповское. Они потихоньку погружаются в мрак, в уныние. Ведь у нас такие долгие зимы. Вы читали Ибсена?

Она отрицательно покачала головой.

— Так вот, в его героях вы всегда обнаружите какую-то гнетущую скованность. Это ограниченные и унылые праведники, для которых наглухо заперт мир безмерной печали и радости.

— Они не плачут, не смеются?

— Никогда. Вот такая у меня теория. В этих краях живет не одна тысяча шведов. Я полагаю, их привлекает сюда климат, для них он почти свой, и постепенно они смешиваются с местным населением. Сегодня их здесь всего несколько человек, но худо-бедно четыре наших губернатора были шведы. Я надоел вам?

— Нет, страшно интересно.

— Ваша будущая невестка наполовину шведка. Лично к ней я отношусь неплохо, но я убежден, что в целом скандинавы влияют на нас не лучшим образом. Не случайно они держат первое место в мире по числу самоубийств.

— Зачем же вы живете в таком кошмаре?

— А он мне не опасен. Я живу затворником, и вообще книги занимают меня больше, чем люди.

— Интересно, что все писатели именно Юг видят в трагическом ореоле. Испанки, жгучие брюнеты, кинжалы, тревожная музыка и прочее.

— Нет,— покачал он головой,— трагедия — удел северных рас, потому что им не ведомо счастье всласть выплакаться.

Салли Кэррол вспомнила свое кладбище. Наверное, смутно к ней приходили те же мысли, когда она объясняла, что ей хорошо на кладбище.

— Итальянцы вроде бы самые веселые люди на свете... Впрочем, все это скучная материя,— оборвал он себя.— Вы выходите замуж за прекрасного человека, и это главное.

Он вызвал ее на ответную откровенность.

— Я знаю. Таким, как я, рано или поздно надо на кого-то опереться, и, мне кажется, в Гарри я могу быть уверена.

— Хотите еще потанцевать? — Поднявшись, он продолжал: — Приятно встретить девушку, которая знает, зачем она выходит замуж. Для очень многих замужество только прогулка в романтический финал кинокартины.

Она рассмеялась, он ей необыкновенно понравился.

Двумя часами позже, уже по пути домой, устраиваясь удобно в машине, она прильнула к Гарри.

— Гарри, — шепнула она, — как хо-лод-но.

— Что ты, моя хорошая, здесь тепло.

— На улице холодно. Ветер как воет!

Она зарылась лицом в его шубу и непроизвольно вздрогнула, когда холодные губы коснулись краешка ее уха.

IV

В вихре событий пронеслась первая неделя. Январским студеным вечером ее, как обещали, прокатили на санях, прицепленных к автомобилю. Другой раз, утром, закутанная в шубу, она каталась на санках с ледяной горы у загородного клуба; она даже отважилась скатываться на лыжах, расплачиваясь за секунды сладостного парения радостным позором зарыться в сугроб. Зимние забавы ей определенно нравились, исключая прогулку на снегоступах по слепящей равнине, на которую бледным желточным оком взирало солнце. Но она скоро поняла, что ей подсовывают детские развлечения, ей подыгрывают, что весело ей одной, а остальные смеются за компанию.

Чувство неудобства она начала испытывать уже в семейном кругу Беллами. С мужчинами еще можно было ладить, они ей нравились, особенно среброголовый, выдержанный мистер Беллами — в него она просто влюбилась, узнав, что он родом из Кентукки, потому что для нее это была ниточка из прошлой жизни. Зато к женщинам она чувствовала решительную неприязнь. Будущая невестка Майра являла собой унылое воплощение хорошего тона. Ее речь была до такой степени невыразительна, что Салли Кэррол, избалованная дома обществом обаятельных и уверенных в себе собеседниц, только что не презирала ее.

«Хорошо, если они красивы, — думала она. — А то и смотреть не на что, пустое место. Клуши в павлиньих перьях. Одни мужчины и делают везде погоду».

Наконец, сама миссис Беллами — ее Салли Кэррол определенно не переносила. Первоначальное сходство с яйцом довершили надтреснутый голос и разболтанная осанка — Салли Кэррол всерьез думала, что миссис Беллами разведет на полу яичницу, если, не дай бог, упадет. Вдобавок миссис Беллами была как бы символом кровной неприязни города к чужакам. Салли Кэррол она звала «Салли», и ничто не могло разубедить ее в том, что двойное имя — это вовсе не какое-то мало интересное прозвище: для Салли Кэррол это усечение ее имени казалось такой же непристойностью, как выйти на люди полуодетой. Она любила свое имя, и от «Салли» ей делалось тошно. Старуха не одобряла ее короткую стрижку, и после того первого дня, когда она вошла в библиотеку, свирепо приняхиваясь, Салли Кэррол уже ни разу не осмелилась покурить вниз.

Среди знакомых мужчин она выделяла только Роджера Пэттона, он часто заглядывал к ним. К Ибсену и печальной судьбе здешних жителей он более не возвращался, а когда застал ее на диване за чтением «Пер Пюнта», то рассмеялся и попросил выбросить из головы его рассуждения — все это вздор.

Она гостила уже вторую неделю, когда однажды едва не рассорилась с Гарри. Всею виной, конечно, была его невыдержанность, хотя непосредственным поводом к конфликту послужил совершенно посторонний человек, точнее говоря — его невыглаженные брюки.

Глубокими снежными коридорами они возвращались домой, светило солнце, за которым Салли Кэррол признавала здесь чисто символическую роль. По пути им попалась девчушка ни дать ни взять медвежонок — столько на нее было напялено шерстяных одежек, и Салли Кэррол задохнулась от наплыва материнских чувств.

— Какая прелесть, Гарри!

— Где?

— Да эта кроха. Ты видел ее рожицу?

— А что в ней особенного?

— Она же красная, как клубничка. Прелестный ребенок!

— У тебя самой почти такой румянец. Здесь все прекрасно выглядят. Нас выставляют на мороз, едва мы научимся ходить. Изумительный климат!

Она взглянула на него и не нашла ничего возразить. У него был отменно здоровый вид, и у его брата тоже. Да

она сама нынче утром обнаружила, что у нее порозовели щеки.

Неожиданное зрелище привлекло их внимание, и они с минуту оторопело взирали на открывшийся впереди перекресток. Там, согнув ноги в коленях и экстатически уставившись в студеное небо, какой-то человек, видимо, готовил себя к вознесению. И в следующую же секунду они неудержимо расхохотались, потому что вблизи выяснилось, что их сбили с толку невообразимые брюки, мешком висевшие на их владельце.

— Здорово нас провели,— смеялась Салли Кэррол.

— Судя по брюкам, южанин,— подпустил шпильку Гарри.

— Зачем ты так, Гарри?

Ее удивленный взгляд вызвал в нем только раздражение.

— Черт бы их взял, этих южан!

Ее глаза сверкнули гневом.

— Не смей о них так говорить!

— Прошу прощения,— ядовито извинился он,— но ты знаешь мое отношение к ним. Это... это вырожденные, у них ничего общего со старыми южанами. Они столько времени выезжали на неграх, что вконец разболтались.

— Придержи язык, Гарри,— резко оборвала она его.— Они совсем не такие. Пусть даже ленивы — я бы на тебя посмотрела под нашим солнышком! Но они мои настоящие друзья, и я не желаю, чтобы их всех поливали грязью. Среди них есть настоящие мужчины.

— Видел, знаю. Кто едет к нам на север получать образование — те еще ничего, но уж таких отпетых лоботрясов, нерях и грязнуль, как в вашем захолустье, я не видел нигде.

Салли Кэррол сжимала пальцы в перчатках и кусала губы.

— В моем выпуске,— не унимался Гарри,— в Нью-Хейвене, был один с Юга, мы все думали — наконец-то сподобились увидеть настоящего аристократа, а потом оказалось, что он вовсе не аристократ, а сын предприимчивого северянина, который у вас в Мобиле прибрал к рукам весь хлопок.

— Южанин никогда не позволит себе так распустить-ся, как ты,— сухо отозвалась она.

— Пороху не хватит.

— Или чего-то еще.

— Ты меня прости, Салли Кэррол, но я от тебя самой слышал, что ты никогда не выйдешь замуж за...

— Это совсем другое дело. Я говорила, что вряд ли захочу связать жизнь с кем-нибудь из моих тарлтонских кавалеров, но при чем здесь остальные?

Немного прошли молча.

— Пожалуй, я погорячился, Салли Кэррол. Прости меня.

Не отвечая, она кивнула головой. Несколько минут спустя, уже дома, она порывисто обняла его.

— Гарри,— лепетала она сквозь слезы,— давай поженимся на будущей неделе. Я боюсь таких сцен, страшно боюсь. У нас все было бы по-другому, если бы мы поженились.

Но Гарри еще не отошел, теперь его подогревало сознание своей неправоты.

— Глупость. Мы же договорились — в марте.

У Салли Кэррол сразу высохли глаза, и она вся подобралась.

— Хорошо. Зря я, должно быть, это сказала.

Гарри смягчился.

— Чудачка! Поцелуй меня, и забудем все это.

Но когда в тот же вечер, заключая программу варьете, оркестр грянул «Дикси», Салли Кэррол ощутила такой наплыв чувств, перед которым померкли все дневные переживания. Сжимая ручки кресла, она все клонилась вперед, пока ее лицо не стало совсем пунцовым.

— Расстроилась, девочка? — шепнул Гарри.

Она не слышала его. В животворном, будоражащем ритме скрипок и литавр мимо нее в темноту уходили ее добрые приятели-призраки, и они почти скрылись, она едва успела попрощаться с ними, когда флейты сипло, еле слышно допели:

На Юг, домой,
В родимый Диксиленд.

V

Ночь выдалась особенно холодная. Накануне нечаянная оттепель почти расчистила улицы, но сейчас на них снова появились клубящиеся белые гонцы, поперек мела поземка, и уже было не продохнуть от снежной крошки. Вместо неба над головой угрожающе нависало что-то набрякшее, распыленное между крышами, и было ясно, что скоро густо повалит снег, и ни на минуту не стихал

северный ветер, студивший уютное тепло освещенных окон и заглушавший упругий бег их лошадки. Какой все-таки унылый город, думала Салли Кэррол, просто ужас.

Ночами ей порою казалось, что здесь не осталось ни сдиной живой души, что все давно вымерли, и только пустые освещенные дома ждут, когда их укроют могильные холмики мокрого снега. Господи, неужели ее могилу тоже когда-нибудь занесет снегом! Всю бесконечно долгую зиму лежать под этими огромными сугробами, и никто даже камня над ее могилкой не углядит. Нет, свою могилу она видела заросшей цветами, обласканной солнцем и дождем.

И она снова задумалась о сиротливых фермах, которые видела из окна вагона, и о том, каково в них зимует-ся: слепящая белизна за окнами, ледяная корка на рыхлых сугробах, потом нудное таяние и неприветливая весна, какой она представляла ее по рассказам Роджера Пэттона. И на это променять свою весну—с сиренью и томящей негой в сердце. Сначала потерять весну, потом и душа остынет.

Задула и вовсю разгулялась метель. Глаза Салли Кэррол слепила сразу таявшая снежная крупа. Гарри протянул руку в меховой рукавице и поглубже надвинул ее замысловатую байковую шапочку. Снег налетел колючим порывом, и мгновенно заиндеветшая лошадь покорно опустила голову.

— Гарри, она замерзла,—испугалась Салли Кэррол.

— Ты про лошадь? Ничуть. Ей это нравится.

Минут через десять свернули, и цель поездки представила их глазам. На высоком холме, ярким зеленым контуром вычерченный на сумрачном небе, стоял ледяной дворец. Он был в три этажа, с башенками и бойницами, с узкими прорезями окон, забранных ледяными пластинами, и огромный его центральный зал был насквозь высвечен морем электрических огней. Салли Кэррол нашла под меховой полостью руку Гарри и крепко вцепилась в нее.

— Какая красота!—в восторге выкрикнул он.—Бог мой, какая красота! С восемьдесят пятого года такое здесь видят впервые.

А ее ужаснула мысль, что этого не было с восемьдесят пятого года. Ведь лед—он призрак, и, значит, этот дом населяют призраки восьмидесятых годов, без кровинки в лице и седые от снега.

— Пойдем, пойдем,— торопил Гарри.

Она выбралась за ним из саней и подождала, пока он привязывал лошадь.

Пронзительно звеня бубенцами, подъехали еще сани — Гордон, Майра, Роджер Пэттон и с ними какая-то девица. Народу собралось уже порядочно, все в шубах и овчинных тулупах, снег повалил крупными хлопьями, и, чтобы не разбрестись в белой пелене, приходилось перекликаться.

— Сто семьдесят футов высоты,— на ходу объяснял Гарри какому-то закутанному спутнику.— Общая площадь шесть тысяч квадратных ярдов.

До нее долетали обрывки разговора:

— Главный зал... Толщина стен от двадцати до сорока дюймов... ледяной подвал почти в милю... Канадец, который все это построил...

Попав внутрь дворца, Салли Кэррол была очарована загадочностью отвесных прозрачных стен и невольно повторяла про себя две строки из «Кубла Хана»:

Эти льдистые пещеры,
Этот солнечный чертог.

В громадной сверкающей пещере она присела на деревянную скамью, и давешняя тоска отпустила ее. Гарри прав — это красиво, ее взгляд неторопливо скользил по гладкой поверхности стен, сложенных из глыб чистейшего льда, излучавшего опаловый свет.

— Смотри! Начинается! — воскликнул Гарри.

Невидимый оркестр заиграл «Сюда, сюда, на сбор друзей!», звуки, многократно повторенные эхом, набежали беспорядочной толпой, и тут выключили электричество; лед как бы обтаивал тишиной, она все сгущалась вокруг. В темноте Салли Кэррол еще различала белое облачко своего дыхания и смутные пятна лиц у стены напротив.

Музыка оборвалась жалобным всхлипом, и снаружи донеслось мощное пение и мерный шаг построенных в колонны спортивных клубов. Хор нарастал, словно победный гимн викингов, шествующих по древней земле, он накатывал крепнущим валом; вот темноту пунктиром вспорола цепочка факелов, за ней другая, третья, и, отбивая мокасинами шаг, втянулась длинная процессия одетых в плотные серые куртки мужчин, перебросивших через плечо снегоступы, и пение, гулом восходившее из ледяного колодца, вздувало и рвало языки пламени.

За серыми куртками вползла, подхватив припев, новая колонна, в багровых шлемах и ярко-малиновых куртках; и еще долгим строем тянулись голубой с белым, зеленый, просто белый, коричневый с желтым отряды.

— Белые — это Вакута-клуб, — возбужденно шепнул Гарри. — Ты их уже встречала — на танцах.

Пение звучало сильно, в ритм едва слышному шороху шагов колыхались факелы, заливая пещеру морем огней и красок. Головная колонна развернулась и стала, отряды разобрались в шеренги, огонь полыхал уже сплошной стеной, и тогда тысячеголосый клик, словно громовым раскатом, разорвал воздух, повергнув пламя в трепет. Прекрасный, жуткий миг! Салли Кэррол представилось, что это Север творит жертвоприношение у алтаря сумрачного языческого Снежного Бога. Когда клик замер, снова заиграл оркестр, снова пели, потом долго и гулко клубы обменивались приветственными возгласами. Притихшая, она слушала рикошетом скачущий клик; вдруг она вздрогнула — где-то рядом громынуло и вся пещера наполнилась дымом: к своим обязанностям приступили фотографы. Так завершилось это радение. Отряды перестроились в одну колонну с оркестром в голове, затанули песню и тронулись к выходу.

— Пошли! — крикнул Гарри. — Пока есть свет, нужно посмотреть лабиринты в подвале!

Все поднялись и заспешили к наклонно уходящему вниз коридору, Гарри и Салли Кэррол, взявшись за руки, впереди. Внизу коридор кончался ледяной камерой, где потолок был так низок, что пришлось согнуться и разнять руки. Она еще не успела сообразить, что в комнату выходят несколько слепящих глаза галерей, когда Гарри нырнул в одну из них и стал быстро таять в призрачно-зеленом свете.

— Гарри! — крикнула она.

— Иди сюда! — отозвался он.

Она огляделась — никого: видно, их спутники решили вернуться домой, сейчас они уже наверху, плутают в метели. После минутного колебания она побежала за Гарри.

— Гарри! — отчаянно закричала она.

Она пробежала футов тридцать — поворот. Кажется, слева издали донесся слабый голос, и, потеряв голову, она побежала влево. Опять поворот, еще две уходящие вдаль штольни.

— Гарри!

Ни звука в ответ. Она уже решила бежать, никуда не сворачивая, потом, охваченная холодящим ужасом, стремительно повернула обратно.

Поворот, только тот ли? Она побежала налево, сейчас должна быть та длинная низкая комната. Но вместо нее еще одна хрустально мерцающая галерея, которая упиралась в темноту. Салли Кэррол снова крикнула, но стены глухо и безучастно оттолкнули от себя звук. Вернувшись назад, она еще раз свернула и попала в коридор пошире. Она стояла на зеленой полосе между расступившимися водами Красного моря, в сыром могильном переходе из одного пустующего склепа в другой.

Боты обледенели, идти было скользко, и Салли Кэррол, раскинув руки, упиралась в стены, липкие от холодной слизи.

— Гарри!

Прежнее молчание в ответ. Ее голос глумливо поукался с самим собой и пропал в глубине перехода.

Потом сразу погас свет и настала крошечная темнота. Она коротко вскрикнула и, обмирая от страха, споткнулась о какой-то бугорок. Упав, она, видимо, разбила левую коленку, но сейчас это был пустяк, и даже страх потеряться отступил перед тем ужасом, который сдавил ее. Она была одна, наедине с настоящим одиночеством Севера, каким веет от затертых арктическими льдами китобоев и необозримых нехоженных равнин без жилого дымка, усеянных белыми костями первопроходцев. На нее пахло ледяным дыханием смерти, еще немного — и уже не высвободиться из ее цепких рук.

С безумной, отчаянной решимостью она вскочила и кинулась в темноту. Надо выбраться. Ведь если ее не найдут еще несколько дней, она замерзнет насмерть и так и будет лежать замурованной во льду, такие случаи были, она читала где-то, что в мерзлоте тело сохраняется долго, пока не растает сам ледник. А Гарри не схватится, он наверняка решил, что она уехала с остальными, и раньше завтрашнего дня никто не будет о ней беспокоиться. Она обреченно дотронулась до стены. Сколько они говорили — сорок дюймов? Сорок дюймов толщины, боже мой!

С обеих сторон подступали какие-то шорохи, хлюпала нечисть, которая была у себя дома и в этом замке, и в этом городе, вообще на Севере.

— Придите же кто-нибудь! — громко взмолилась она.

Кларк Дарроу — он бы ее услышал, и Джо Юинг тоже, они бы не бросили ее здесь одну, не дали превра-

титься в сосульку. За что? Она такая веселая, всему, глупышка, радовалась. Радовалась теплу и солнцу, любила свой Дикси. А тут все не свое, все чужое.

— Ты не плачешь,—явственно услышала она.— Ты уже никогда не сможешь плакать. Твои слезы застынут. Здесь слезы сразу стынут.

Она без сил вытянулась на льду

— Господи боже мой,—простонала она.

Одна за другой уходили минуты, и с чувством бесконечной отрешенности она сознавала, что ей трудно держать глаза открытыми. Вдруг кто-то опустился рядом и взял ее лицо в теплые, мягкие руки. Она ответила благодарным взглядом.

— Марджори Ли,—успокоенно пробормотала она.— Я знала, что ты придешь.— Действительно, это Марджори Ли, и именно такая, какой ее представляла Салли Кэррол,—гладкий чистый лоб, приветливое выражение широко раскрытых глаз и пышная юбка из какой-то мягкой материи, так приятно опустить на нее голову.

— Марджори Ли...

Как темнеет быстро. Давно пора заново покрасить эти могильные камни, хотя после они будут выглядеть много хуже. Но надо, чтобы их было видно.

Минуты бежали, тянулись, складывались в густой пучок дымных лучей, струящихся к бледно-желтому солнцу, и наконец она услышала резкий хруст, с которым треснул ее обретенный покой.

В глаза ударило солнце, свет Факел, много факелов, и голоса, голоса. Огонь выхватил живое лицо, сильные руки поднимают ее с земли, что-то делают с ее щекой, вся щека мокрая. Кто-то держит ее и растирает лицо снегом. Смешно — снегом!

— Салли Кэррол!

Это Грозный Дэн Макгрю и с ним двое незнакомых.

— Детка! Мы ищем вас уже два часа! Гарри чуть с ума не сошел.

Память быстро вернула на свои места пение, факелы, трубный клич марширующих клубов. Она забилась в руках Пэттона и испустила тихий, протяжный вопль.

— Вытащите меня отсюда. Я хочу домой. Домой! — Ее голос сорвался в пронзительный крик, от которого у Гарри, бежавшего по соседней галерее, кровь застыла в жилах.— Завтра же! — ничего не создавая и не сдерживаясь, кричала она.— Завтра! Завтра!

Дом, томившийся у пыльного полотна дороги, вкушал золотую солнечную щедрость и млеял от зноя. Две бестолково-суматошливые птахи искали холодок на дереве перед соседним домом; по улице, нараспев предлагая клубнику, брела негритянка. Был апрельский полдень.

Вытянув на подоконнике руку и уткнувшись в нее подбородком, сверху сонными глазами смотрела Салли Кэррол, и в поле ее зрения попадали посверкивающие на солнце пылинки, колеблемые теплом, которое сегодня впервые стала отдавать прогретая земля. Под ее взглядом старенький «форд» одолел рискованный поворот, дребезжа и стелая, домучил остаток пути и рывком остановился. Она ни звуком не отозвалась на происходящее, и минуту спустя знакомый пронзительный свист разорвал тишину. Салли Кэррол улыбнулась и сощурила глаза.

— Доброе утро.

Из-под крыши автомобиля вывернулась голова.

— Утро ты уже проспала, Салли Кэррол.

— Неужели?—с притворным удивлением сказала она.— А может, ты прав.

— Что делаешь?

— Ем зеленый персик. Приходи на похороны.

И хотя дальше голове некуда было поворачиваться, Кларк все же постарался—и увидел ее лицо.

— Вода как парное молоко, Салли Кэррол. Не хочешь искупаться?

— Вставать неохота,—лениво вздохнула Салли Кэррол,—но ладно, попробую.

ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ

I

Субботним вечером, если взглянуть с площадки для гольфа, окна загородного клуба в сгустившихся сумерках покажутся желтыми далями над крошечно черным взволнованным океаном. Волнами этого, фигурально выражаясь, океана будут головы любопытствующих кэдди, кое-кого из наиболее пронирыливых шоферов, глухой сестры клубного тренера; порою плещутся тут и отколовшиеся, робкие волны, которым — пожелай они того — ничто не мешает вкатиться внутрь. Это галерка.

Бельэтаж помещается внутри. Его образует круг плетеных стульев, окаймляющих залу — клубную и бальную одновременно. По субботним вечерам бельэтаж занимают в основном дамы; шумное скопище почтенных особ с бдительными глазами под укрытием лорнеток и не знающими пощады сердцами под укрытием могучих бюстов. Бельэтаж выполняет функции по преимуществу критические. Восхищение, хоть и весьма неохотно, бельэтажу временами случается выказать, одобрение — никогда, ибо дам под сорок не провести: они знают, что молодежь способна на все и, если ее хоть на минуту выпустить из виду, отдельные парочки будут исполнять по углам дикие варварские пляски, а самых дерзких, самых опасных покорительниц сердец, того и гляди, станут целовать в лимузинах ничего не подозревающих вдовиц.

Однако этот критический кружок слишком удален от сцены — ему не разглядеть лиц актеров, не уловить тончайшей мимики. На его долю остается хмуриться, вытягивать шеи, задавать вопросы и делать приблизительные выводы, исходя из готового набора аксиом — вроде такой, например: за каждым богатым юнцом охотятся более рьяно, чем за куропаткой. Критическому кружку

непонятна сложная жизнь неугомонного жестокого мира молодых. Нет, ложи, партер, ведущие актеры и хор — все это там, где кутерьма лиц и голосов, плывущих под рыдающие африканские ритмы танцевального оркестра Дайера.

В этой кутерьме, где толкуются все — от шестнадцатилетнего Отиса Ормонда, которому до университета предстоит еще два года Хилл-колледжа, до Д. Риса Стоддарда, над чьим письменным столом красуется диплом юридического факультета Гарварда, от маленькой Маделейн Хог, которая никак не привыкнет к взрослой прическе, до Бесси Макрей, которая несколько долго, пожалуй, лет десять с лишком, пробыла душой общества, — в этой кутерьме не только самый центр действия, лишь отсюда можно по-настоящему следить за происходящим.

Оркестр залихватски обрывает музыку на оглушительной ноте Парочки обмениваются натянуто-непринужденными улыбками, игриво напевают «та-ра-ри-рам-пам-пам», и над аплодисментами взмывает стрекот девичьих голосов.

Несколько кавалеров, которых антракт застиг в тот самый момент, когда они устремлялись разбить очередную парочку, раздосадованно отступают на свои места вдоль стен: эти летние танцевальные вечера не такие буйные, как рождественские балы, тут веселятся в меру, тут и женатые пары помоложе рискуют покружиться в допотопных вальсах или потоптаться в неуклюжих фокстротах под снисходительные усмешки младших братьев и сестер.

В числе этих незадачливых кавалеров оказался и Уоррен Макинтайр, не слишком прилежный студент Йельского университета, нашарив в кармане сигарету, он вышел из залы. На просторной полуосвещенной веранде за столиками там и сям сидели парочки, наполняя расцветенную фонариками ночь смутным говором и зыбким смехом. Уоррен кивал тем, кто мог еще замечать окружающее, и, когда он проходил мимо очередной парочки, в памяти его всплывали обрывки воспоминаний: городок был невелик, и каждый его житель знал назубок прошлое любого из своих земляков. Вот, к примеру, Джим Стрейн и Этель Деморест — уже три года они неофициально обручены. Всем известно, что, как только Джима продержат на какой-либо работе больше двух месяцев, они поженятся. Однако как унылы их лица и как устало поглядывает Этель на Джима, словно недоумевая, зачем лоза ее привязанности обвила столь чахлый тополь.

Уоррену шел двадцатый год, и он свысока взирал на тех своих приятелей, кому не довелось учиться на Востоке. Однако вдали от родного города — и в этом он не отличался от большинства юнцов — он гордился своими знаменитыми землячками. И было кем: Женевьева Ормонд, например, не пропускала ни одного бала, вечера и футбольного матча в Принстоне, Йеле, Вильямсе или Корнелле, черноглазая Роберта Диллон среди своих сверстников была известна не менее, чем Хайрам Джонсон или Тай Кобб, ну а Марджори Харви славилась не только своей обольстительной красотой и дерзким, блестящим остроумием, а еще и тем, что на последнем балу в Нью-Хейвене пять раз кряду прошла колесом.

Уоррен, который рос с Марджори на одной улице, давно «сходил по ней с ума». Порой ему казалось, что она отвечает на его поклонение чем-то вроде благодарности, но она уже проверила свои чувства испытанным методом и торжественно объявила, что не любит его. Проверка заключалась в следующем: когда его не было рядом, Марджори о нем забывала и напропалую флиртowała с другими. Если учесть, что все лето Марджори проводила в разъездах и первые два-три дня по ее возвращении стол в холле был завален конвертами, надписанными всевозможными мужскими почерками, Уоррену было от чего впасть в уныние. Мало того, весь август у нее гостила кузина Вероника из О-Клэра, и увидеться с Марджори наедине было почти невозможно. Вечно приходилось подыскивать кого-то, кто согласится взять на себя Веронику. Август близился к концу, и задача эта с каждым днем становилась все трудней.

Как Уоррен ни боготворил Марджори, он вынужден был признать, что Вероника страшная преснятина. Она была миловидная брюнетка с ярким цветом лица, но уж скучная — дальше некуда. Каждую субботу Уоррен в угоду Марджори покорно танцевал с ней изнурительно долгий танец, и она неизменно наводила на него тоску.

— Уоррен, — вторгся в его мысли вкрадчивый голос.

Он обернулся и увидел Марджори, покрасневшую и, как всегда, оживленную. Она положила руку ему на плечо, и незримый ореол воссиял над ним.

— Уоррен, — шепнула она. — Пригласи Веронику, ну, ради меня. Она уже битый час танцует с Малышом Отисом.

Ореол померк.

— Ладно... Пожалуйста, — нехотя согласился он.

— Это ведь не слишком большая жертва с твоей стороны? А я позабочусь, чтобы тебе побыстрее пришли на выручку

— Идет

Марджори улыбнулась той улыбкой, что сама по себе служила наградой.

— Ты просто душка. Не знаю, как и благодарить тебя.

Душка со вздохом оглядел веранду: Отиса и Вероники тут не было. Он побрел обратно в залу и там, перед дамской комнатой, в группе корчившихся от смеха молодых людей увидел Отиса. Отис разглагольствовал, потрясая невесть откуда взявшимся обрезком доски.

— Она пошла поправить прическу,— говорил он отчаянно.— А как выйдет, мне опять час кряду танцевать с ней.

Смех усилился.

— И почему это никто нас не разбивает?— оскорбленно вопрошал Отис.— Ей наверняка хочется разнообразия.

— Что ты, Отис,— возразил приятель.— Ты ведь едва-едва привык к ней.

— Зачем тебе эта штуковина?— поинтересовался Уоррен.

— Что? А, ты про доску? Это дубинка. Пусть только она высунется оттуда, я раз ее по голове—и затолкну назад.

Уоррен взвыл и рухнул на кушетку.

— Не горюй, Отис,— выговорил он наконец.— На сей раз я тебя выручу.

Отис изобразил легкий обморок и вручил доску Уоррену.

— Авось пригодится, старина,— сипло сказал он.

Как бы ни была девушка хороша собой и остроумна, если на танцах кавалеры не отбивают ее друг у друга на каждом шагу, ей не позавидуешь. Возможно, они куда охотнее проводят время с ней, чем с теми пустышками, которых приглашают по десять раз за вечер, но это вскормленное джазом поколение страшно непостоянно и протанцевать больше одного фокстрота с той же самой девушкой им неинтересно, чтобы не сказать нестерпимо. Если же танцевать приходится не один, а несколько танцев, девушка может не сомневаться, что как только кавалера избавят от нее, он примет все меры, чтобы ему уже никогда не пришлось отдавливать ее неуклюжие ноги.

Следующий танец Уоррен до конца протанцевал с Вероникой, после чего, радуясь наступившему перерыву, отвел ее на веранду. С минуту они помолчали, Вероника не слишком впечатляюще поигрывала веером.

— А у вас жарче, чем в О-Клэре,— сказала она.

Уоррен, подавив вздох, кивнул. Очень даже возможно, но ему-то что до этого. Он празднично размышлял, потому ли с Вероникой не о чем разговаривать, что за ней никто не ухаживает, или за ней никто не ухаживает, потому что с ней не о чем разговаривать.

— Вы долго пробудете у нас?— спросил он и покраснел. Что, если Вероника догадается, чем вызван его вопрос.

— Еще неделю,— ответила она, глядя ему в рот так, будто изготавилась ловить его слова на лету.

Уоррен заерзал. И, поддавшись неожиданно накатившему на него порыву сострадания, решил испробовать на Веронике свой излюбленный прием. Повернувшись, он заглянул ей в глаза.

— У вас жутко чувственный рот,— невозмутимо начал он.

На балах в своем колледже, особенно если беседа велась в такой вот полутьме, Уоррен порой подпускал девушкам подобные комплименты. Вероника буквально подскочила. Щеки ее побагровели, она чуть не выронила веер. Такого ей никто еще не говорил.

— Нахал!— выпалила она, но тут же спохватилась и прикусила язык. Теперь уже поздно делать вид, будто ей смешно, решила она, и одарила Уоррена смятенной улыбкой.

Уоррен обозлился. Хотя ему было не внове, что этот его заход не принимают всерьез, все же обычно ему отвечали смехом или прочувствованной болтовней. И потом он мог лишь в шутку допустить, чтобы его называли нахалом. Благородный порыв его мигом угас, и он перестроился.

— Джим Стрейн и Этель Деморест как всегда не танцуют,— заметил он.

Разговор свернул в более привычное для Вероники русло, и все же, когда Уоррен переменял тему, она испытала не только облегчение, но и досаду. Ей никто еще не говорил, что у нее чувственный рот, но она знала, что другим девушкам что-то такое говорят.

— Да, да,— сказала она и приснула.— Я слышала, что они бедны как церковные крысы и уже сто лет женихаются. Вот глупость-то, правда?

Вероника стала еще ненавистней Уоррену. Джим Стрейш дружил с его братом, к тому же он почитал дурным тоном насмехаться над бедностью. Однако у Вероники и в мыслях не было насмехаться. Она просто растерялась.

II

Марджори и Вероника вернулись домой в половине первого, пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим комнатам.

Между кузинами не было близости. К слову сказать, у Марджори вообще не было близких подруг: всех женщин она считала дурами. Вероника же, напротив, с самого начала этого визита, устроенного родителями обеих девиц, рвалась вести с кузиной задушевные беседы; без таких бесед, перемежаемых слезами и хихиканьем, ей казалась невозможной женская дружба. Однако Марджори встречала ее порывы холодно, и разговаривать с ней Веронике было почему-то ничуть не легче, чем с мужчинами. Марджори никогда не хихикала, не пугалась, не попадала впросак и вообще не обладала ни одним из тех прекрасных качеств, которые, по мнению Вероники, так украшают женщину.

Чистя на ночь зубы, Вероника в который раз задумалась над тем, почему за ней перестают ухаживать, стоит ей уехать из дому. И хотя семья ее была самой богатой в О-Клэре, хотя ее мать устраивала прием за приемом, перед каждым балом давала для друзей дочери обеды, купила ей автомобиль, — Веронике и в голову не приходило, что все это, вместе взятое, немало способствует ее успеху в родном городе. Как и большинство девушек, она была взлелеяна на сладкой водице изготовления Анни Феллоуз Джонстон и на романах, где героиню любили за некую загадочную женственность, о которой много говорилось, но которая никак себя не проявляла.

Веронику задевало, что за ней здесь никто не ухаживает. Она не знала, что, если б не хлопоты Марджори, ей бы так и пришлось танцевать весь вечер с одним кавалером; однако она знала, что и в О-Клэре за девушками, уступающими ей по положению в обществе и гораздо менее хорошенькими, увиваются куда сильнее. Она объясняла это тем, что они не слишком щепетильны. Их успех

ничуть не нарушал покой Вероники, а случись вдруг такое, мать уверила бы ее, что эти девушки роняют себя и что по-настоящему мужчины уважают скромных девушек вроде Вероники.

Она выключила свет в ванной, и ее вдруг потянуло поболтать с тетей Жозефиной — у той в комнате еще горел свет. Легкие туфельки бесшумно пронесли Веронику по затянутому ковром коридору, но, услышав из-за полуприкрытой двери голоса, она остановилась. Она разобрала свое имя, вовсе не думая подслушивать, все же невольно помедлила — и тут смысл разговора дошел до нее, пронзив внезапной, как удар тока, болью.

— Она просто безнадежна! — говорила Марджори. — Знаю, что ты скажешь Тебе со всех концов твердят, какая она хорошенькая, какая славная и какая кулинарка Ну и что толку? Очень ей весело? За ней же никто не ухаживает.

— А много ли толку в дешевом успехе?

Голос миссис Харви звучал раздраженно.

— Когда тебе восемнадцать — очень много, — пылко воскликнула Марджори. — Я из кожи вон лезла для нее. Я и улещала кавалеров, и упрашивала их танцевать с ней, но она наводит на них тоску, а этого не выносит никто. Когда я думаю, зачем этой дурехе такой роскошный цвет лица, и думаю, как бы им сумела распорядиться Марта Кэри... да что тут говорить!

— Нынче забыли, что такое подлинная галантность.

Своим тоном миссис Харви намекала, что отказывается понять современные нравы. В ее время все молодые девушки из хороших семей пользовались успехом.

— Ну так вот, — сказала Марджори, — а нынче никто не может себе позволить вечно нянчиться с гостьей-недотепой; теперь каждой девушке прежде всего надо думать о себе. Я пробовала дать ей кое-какие советы по части тряпок и тому подобного, но она только обозлилась и смотрела на меня как-то чудно. Она не такая толстокожая и понимает, что успехи у нее не ахти, но, ручаюсь, она тешит себя тем, что она такая добродетельная, а я легкомысленная, ветреная и плохо кончу. Все девушки, за которыми никто не ухаживает, так думают. Зелен виноград! Сара Хопкинс называет Женевьеву, Роберту и меня коллекционерками. Ручаюсь, она пожертвовала бы десятью годами жизни и своим европейским образованием, чтобы стать такой вот коллекционеркой, чтобы за ней ходили хвостом три-четыре по-

клонника разом и чтобы на танцах ее отбивали на каждом шагу.

— И все-таки мне кажется,— устало прервала ее миссис Харми,— ты должна как-то помочь Веронике. Я не отрицаю, что ей недостает живости.

Марджори испустила стон.

— Живости! Господи боже ты мой! Да ты знаешь, о чем она говорит с кавалерами — о том, как у нас жарко, как сегодня тесно в зале или о том, как на будущий год она поедет учиться в Нью-Йорк — и ни разу, ни разу я не слышала, чтобы она говорила о чем-нибудь другом. Хотя нет, иной раз она спрашивает, какой марки автомобиль у ее собеседника, и сообщает, какой автомобиль у нее. Увлекательно, нечего сказать.

Они помолчали, но вскоре миссис Харви снова принялась за свое:

— Я знаю одно: за другими девушками, и вполнину не такими славными и привлекательными, как Вероника, ухаживают. Марта Кэри, к примеру, и толстая и крикливая, а мать ее и вовсе пошлая особа. Роберта Диллон в этом году так усохла, будто явилась из Аризонской пустыни. Она себя вгонит в гроб танцами.

— Да мама же,— нетерпеливо прервала ее Марджори.— Марта веселая и бойкая, а уж как умеет себя подать! Роберта дивно танцует. За ней испокон века вздыхатели ходят толпами.

Миссис Харви зевнула.

— Я думаю, всему виной примесь этой индейской крови в Веронике,— продолжала Марджори.— А вдруг это атавизм? Индианки только и знали, что сидеть кружком и молчать.

— Отправляйся спать, дурочка,— засмеялась миссис Харви.— Зря я тебе рассказала про индейскую кровь, но я не думала, что тебе это так западет в голову. И вообще, твои рассуждения мне представляются довольно-таки глупыми,— сонно заключила она.

Они снова помолчали, Марджори обдумывала, стоит ли труда переубеждать мать. После сорока люди так трудно поддаются переубеждению. В восемнадцать наши убеждения подобны горам, с которых мы взираем на мир, в сорок пять — пещерам, в которых мы скрываемся от мира.

Придя к такому заключению, Марджори пожелала матери спокойной ночи и вышла. В коридоре никого не было.

На следующее утро, когда Марджори довольно поздно села завтракать, в столовую вошла Вероника, сухо поздоровалась, села напротив, вперилась в Марджори и кончиком языка облизнула губы.

— Ты что это? — озадаченно спросила Марджори.

Вероника несколько выждала, потом метнула свою гранату.

— Я слышала, что ты вчера говорила тете обо мне.

Марджори опешила, но замешательство свое выдала лишь еле заметным румянцем, голос же ее звучал вполне ровно.

— Где ты была?

— В коридоре. Вначале я не собиралась подслушивать.

Смерив Веронику презрительным взглядом, Марджори опустила глаза, принялась раскачивать кусок крекера на кончике пальца и, казалось, целиком ушла в это занятие.

— Раз я тебе в тягость, мне, пожалуй, лучше вернуться в О-Клэр. — У Вероники запрыгала нижняя губа, она продолжала срывающимся голосом: — Я старалась всем угодить, но сначала мною пренебрегали, а потом оскорбили. Я себе никогда не позволяла так принимать гостей.

Марджори молчала.

— Я тебе мешаю, понятно. Я для тебя обуза. Твоим друзьям я не нравлюсь. — Вероника замолчала, но тут же припомнила еще одну из своих обид. — Разумеется, я обозлилась, когда на прошлой неделе ты пыталась намекнуть, что платье мне не к лицу. Ты что же, думаешь, я не умею одеваться?

— Да, — буркнула Марджори чуть слышно.

— Что?

— И ни на что я не намекала, — сказала Марджори напрямик. — Насколько помню, я сказала, что лучше три раза подряд надеть красивое платье, чем чередовать его с двумя страшилищами.

— Ну и как, по-твоему, приятно такое слышать?

— А я вовсе и не старалась быть приятной. — И, чуть помолчав, добавила: — Когда ты хочешь уехать?

У Вероники перехватило дыхание.

— Ой, — еле слышно вырвалось у нее.

Марджори изумленно подняла глаза.

— Ты же сказала, что уезжаешь.

— Да, но...

— Значит, ты брала меня на пушку!

Они устали друг на друга через стол. Туманная пелена застилала глаза Вероники, Марджори жестко глядела на нее — таким взглядом она обычно укрощала подвыпивших студентов, когда те давали волю рукам.

— Значит, ты брала меня на пушку,— повторила Марджори так, будто ничего другого и не ожидала.

Вероника разразилась слезами, подтвердив тем самым свою вину. Глаза Марджори поскучнели.

— Ты мне сестра,— всхлипывала Вероника.— Я у тебя гощу-у-у. Я у тебя должна пробыть месяц, а если я уеду сейчас домой, мама удивится и спросит...

Марджори выждала, пока поток бессвязных слов не сменился чуть слышным хлюпаньем.

— Я отдам тебе мои карманные деньги за месяц,— сказала она холодно,— и ты сможешь провести эту неделю где тебе заблагорассудится. Тут поблизости есть вполне приличный отель...

Вероника захлебнулась слезами и выскочила из комнаты.

Через час, когда Марджори увлеченно сочиняла одно из тех ни к чему не обязывающих, восхитительно уклончивых писем, которые умеют писать только девушки, в библиотеку вошла Вероника — глаза у нее покраснели, но держалась она нарочито спокойно. Не глядя на Марджори, она взяла с полки первую попавшуюся книгу и сделала вид, что читает. Марджори, казалось, всецело поглощенная своим делом, продолжала писать. Когда часы пробили полдень, Вероника с треском захлопнула книгу.

— Пожалуй, мне стоит купить билет на поезд.

Совсем иначе думала она начать эту речь, когда репетировала ее у себя в комнате, но так как Марджори не придерживалась отведенной роли — не умоляла ее образумиться, не просила забыть это недоразумение, — ничего лучшего Вероника не нашла.

— Подожди, я кончу письмо,— сказала Марджори, не оборачиваясь.— Я хочу отправить его со следующей почтой.

Еще минуту она деловито скрипела пером, потом обернулась к Веронике, как бы говоря всем своим видом: «Я к вашим услугам». И снова пришлось начинать Веронике.

— Ты хочешь, чтобы я уехала?

— Видишь ли,—прикинула Марджори,—раз тебе тут плохо, по-моему, прямой смысл уехать. Что толку чувствовать себя несчастной.

— А ты не считаешь, что простая доброта..

— Ради бога, не цитируй ты «Маленьких женщин»! — истерпеливо прервала ее Марджори.— Они давно устарили.

— Ты так думаешь?

— Еще бы! Какая современная девушка станет жить, как эти пустышки?

— Они служили примером нашим матерям.

Марджори расхохоталась.

— Как бы не так! И потом, наши матери были вполне хороши на свой лад, но что они могут понять в жизни своих дочерей?

Вероника взвилась.

— Я прошу тебя не говорить так о моей матери.

Марджори снова расхохоталась.

— А я, помнится, не говорила о ней.

Вероника почувствовала, что ее отвлекают

— Значит, ты считаешь, что вела себя по отношению ко мне хорошо?

— Я сделала для тебя все, что могла, и более того. Ты довольно тяжкий случай.

У Вероники набрякли веки.

— А ты себялюбивая, злая и, вдобавок, совершенно не женственная.

— Господи боже мой! — возопила Марджори.— Да ты просто дуреха! Такие девицы, как ты, прежде всего виноваты в бесчисленных нудных, тусклых браках, в том, что чудовищная бестолковость сходит за женственность. Представляю каково приходится человеку, когда, пленившись разодетой куклой, которую он наделил всевозможными добродетелями, он вдруг замечает, что взял в жены жалкую, нудную, трусливую жеманницу.

Вероника даже рот раскрыла от изумления.

— Вечно женственная женщина! — продолжала Марджори.— Лучшие ее годы уходят на то, чтобы поносить девушек вроде меня, которые не тратят времени попусту.

Чем больше воодушевлялась Марджори, тем сильнее отвисала челюсть у Вероники.

— Можно еще понять, когда на жизнь плачется дурнушка. Будь я непоправимо дурна собой, я бы никогда не простила родителям, что они произвели меня на свет. Но тебе-то жаловаться не на что.— Марджори пристукнула

кулачком.— Если ты рассчитываешь, что я буду хныкать вместе с тобой, ты ошибаешься. Хочешь — уезжай, хочешь — оставайся, дело твое.— Она собрала письма и вышла из комнаты.

Вероника не спустилась к обеду, сославшись на головную боль. После обеда за ними должны были заехать молодые люди — повезти их на утренник, но головная боль не прошла, и Марджори пришлось принести извинения не слишком опечаленному кавалеру. Вернувшись под вечер домой, Марджори застала у себя в спальне Веронику — на лице ее была написана непривычная решимость.

— Я подумала, — приступила Вероника прямо к делу, — что ты, может быть, и права, а может быть, и нет. И если ты объяснишь мне, почему твоим друзьям... словом, скучно со мной, я попробую делать все, что ты скажешь.

Марджори распускала волосы перед зеркалом.

— Ты это серьезно?

— Да.

— И без оговорок? Будешь делать все, что я скажу?

— Ну...

— Ничего не ну! Будешь делать все, что я скажу?

— В пределах разумного.

— Ни в каких не в пределах. В твоем случае ничто разумное не поможет.

— И ты хочешь заставить... посоветовать мне...

— Вот именно. Если я велю тебе брать уроки бокса — будешь брать. Напиши матери, что останешься у нас еще на две недели.

— Если ты мне объяснишь...

— Хорошо, вот тебе несколько примеров. Во-первых, ты держишься слишком скованно. Почему? Да потому, что ты никогда не бываешь довольна своей внешностью. Когда знаешь, что хорошо выглядишь и хорошо одета, об этом можно не думать. А ведь в этом секрет обаяния. Чем свободнее ты себя чувствуешь, тем сильнее твое обаяние.

— Разве тебе не нравится, как я выгляжу?

— Нет. К примеру, ты никогда не приводишь в порядок брови. Они у тебя и черные и блестят, но ты их не приглаживаешь, — и они тебя портят. А между тем они могли б тебя красить, если б ты потратила на них хоть малую толику того времени, что тратишь на ерунду. Приглаживай их так, чтобы они лежали ровно.

Вероника подняла свои раскритикованные брови.

— А разве мужчины обращают внимание на брови?

— Да, сами того не сознавая. Когда вернешься домой, займись зубами. Они у тебя чуть неровные, это почти незаметно, и все же...

— Мне казалось,—опешила Вероника,—что ты презираешь такие мелкие женские ухищрения.

— Я презираю мелкие умишки,—сказала Марджори.—Но во всем, что касается внешности, мелочей не бывает. Если девушка хороша собой, она может болтать о чем угодно: о России, пинг-понге, Лице Наций—ей все сойдет с рук.

— Что еще?

— Я только начала! Теперь поговорим о танцах.

— А разве я плохо танцую?

— Вот именно, что плохо,—ты виснешь на кавалере, да, да, чуть-чуть, но виснешь. Я подметила это вчера. И еще ты держишься, словно палку проглотила, а надо слегка изогнуться. Возможно, какая-то старуха из тех, что вечно сидят на балах по стенам, сказала, что у тебя горделивая осанка. Но так танцевать позволительно только при очень маленьком росте, во всех остальных случаях это неудобно партнеру, а считаться приходится прежде всего с ним.

— Продолжай.—У Вероники голова шла кругом.

— Так вот, научись привечать и незавидных кавалеров. Ты же встречаешь в штыки всех молодых людей, кроме тех, что нарасхват. Да меня на танцах перехватывают на каждом шагу—и хочешь знать кто? В большинстве случаев эти самые незавидные кавалеры. Ими нельзя пренебрегать. В любой компании их большинство. Чтобы научиться поддерживать разговор, нет ничего лучше юнцов, которые от робости теряют дар речи. Чтобы научиться танцевать, нет ничего лучше неуклюжих партнеров. Если ты научишься слушаться их, да еще не без изящества, тебе будет нипочем перепорхнуть с танком через проволочную изгородь до неба вышиной.

Вероника тяжело вздохнула, но Марджори еще не кончила лекцию.

— Если ты сумеешь на танцах развлечь, скажем, трех партнеров из числа незавидных, если ты сумеешь занять их беседой, заставить забыть, что вас никто не разбивает, это уже достижение. Они пригласят тебя еще раз, и со временем у тебя не будет от них отбоя, а за ними—убедившись, что им не грозит часами танцевать с тобой,—потянутся кавалеры попривлекательнее.

— Да,—слабым голосом сказала Вероника,—кажется, кое-что начинает проясняться.

— А в конце концов, и умение держать себя, и обаяние придут сами собой. В одно прекрасное утро ты проснешься и поймешь: вот оно, пришло, и мужчины тоже поймут это.

Вероника встала.

— Спасибо тебе, только никто еще так не говорил со мной, и я просто никак не придую в себя.

Марджори не отозвалась; она вдумчиво разглядывала свое отражение в зеркале.

— Очень мило с твоей стороны, что ты приняла во мне такое участие,—продолжала Вероника.

Марджори снова не отозвалась, и Вероника подумала: уж не хватила ли она через край со своей благодарностью.

— Я знаю, ты не выносишь сантиментов,—сказала она робко.

Марджори стремительно обернулась.

— Я не об этом думала. Я прикидывала, не стоит ли тебе обрезать волосы.

Вероника навзничь рухнула на кровать.

IV

В среду на следующей неделе в загородном клубе намечался обед, а после него — танцы. Когда гостей пригласили к столу, Вероника, отыскав свою карточку, ощутила некоторую досаду. Хотя справа от нее посадили Д. Риса Стоддарда, самого завидного и интересного из здешних кавалеров, с левой, что было важнее, сидел всего лишь Чарли Полсон. Чарли сильно не доставало роста, привлекательности и бойкости, но в свете своей новой умудренности Вероника сочла, что он обладает одним неоспоримым преимуществом — ему еще ни разу не доводилось часами танцевать с ней. А едва унесли последние суповые тарелки, раздражение улеглось, и на помощь пришли наставления Марджори. Спрятав гордость в карман, она набралась храбрости и повернулась к Чарли Полсону.

— Как по-вашему, мистер Чарли Полсон, не обрезать ли мне волосы?

Чарли оторопело поглядел на нее.

— Почему вы спрашиваете?

— Я как раз подумываю об этом. Нет проще и вернее способа обратить на себя внимание.

Чарли вежливо улыбнулся. Ему было невдомек, что ее реплики заранее отрепетированы. Он ответил, что не слишком-то разбирается в прическах. Вероника тут же просветила его.

— Видите ли, я хочу стать роковой женщиной,— невозмутимо заявила она, а далее сообщила, что короткая стрижка — первый, но необходимый шаг на пути к этой цели. И добавила, что обратилась к нему за советом, потому что много наслышана о его строгом вкусе.

Чарли, понимавшему в женской психологии не больше, чем в буддизме, ее слова показались лестными.

— Так вот, я решила,— продолжала Вероника уже чуть громче,— на той неделе прежде всего иду в парикмахерскую отеля «Севье», сажусь в первое кресло и велю меня остричь покороче.— Она осеклась, заметив, что соседи прервали разговоры и прислушиваются, но, вспомнив уроки Марджори, поборолла смущение и завершила свою речь уже для сведения всех окружающих: — Плата за вход, разумеется, обязательна, но тем, кто придет поддержать меня, я выдам контрамарки.

Послышался одобрительный смех, и под шумок Д. Рис Стоддарт проворно склонился к Веронике и сказал ей на ухо: «Записываюсь на ложу».

Вероника перехватила его взгляд и просияла, будто он сказал нечто сногшибательно остроумное.

— Вы так верите в короткую стрижку? — спросил Д. Рис по-прежнему вполголоса.

— Я думаю, что она подрывает устои,— серьезно подтвердила Вероника.— Но ничего не поделаешь: приходится либо забавлять людей, либо кормить их, либо шокировать.— Марджори позаимствовала это изречение у Оскара Уайльда. Мужчины засмеялись, девушки смерили ее быстрыми, настороженными взглядами. Но Вероника тут же — будто и не говорила ничего остроумного и примечательного — повернулась к Чарли и доверительно зашептала ему на ухо:

— Мне очень интересно узнать, что вы кое о ком думаете. Мне кажется, вы прекрасно разбираетесь в людях.

Чарли затрепетал и оплатил ей тонким комплиментом, опрокинув ее бокал с водой.

Двумя часами позже у Уоррена Макинтайра, праздно стоявшего в толпе кавалеров и гадавшего, куда и с кем

скрылась Марджори, постепенно сложилось впечатление, не имеющее никакого отношения к предмету его мыслей,— он заметил, что Веронику, кузину Марджори, за последние пять минут не раз отбивали. Он зажмурил глаза и снова их открыл. Только что Вероника танцевала с каким-то приезжим, но это объяснялось легко: приезжий не успел разобраться в обстановке. А сейчас она танцует с другим партнером, и к ней решительно устремляется Чарли Полсон. Вот чудеса! Чарли редко удавалось сменить за вечер больше трех дам. Однако Уоррен просто не поверил своим глазам, когда Чарли наконец отбил Веронику и освобожденным партнером оказался не кто иной, как Д. Рис Стоддард. И Д. Рис, по всей видимости, ничуть не радовался освобождению. В следующий раз, когда Вероника оказалась поблизости, Уоррен пригляделся к ней. Да, она недурна собой, безусловно недурна, а сегодня лицо ее казалось к тому же и оживленным. У нее был такой вид, какой ни одной женщине, пусть даже самой искусной актрисе, ни за что не подделать,— Вероника явно веселилась вовсю. Уоррену поправилась ее прическа,— не от бриллиантина ли так блещут ее волосы? И платье ей шло, его винно-красный цвет выгодно подчеркивал ее глаза в густых ресницах и жаркий румянец. Он вспомнил, что сначала, до того, как он раскусил, какая она зануда, Вероника казалась ему хорошенькой. Жалко, что она такая зануда, нет ничего неспособнее зануд, но хорошенькая — это уж точно.

Мысли его кружным путем вернулись к Марджори. Она опять исчезла — не в первый раз и не в последний. Когда она вернется, он — опять-таки не в первый и не в последний раз — спросит, где она была и в ответ услышит категоричное: «Тебя это уж никак не касается». Хуже всего, что она так в нем уверена! Она упивается тем, что для него не существует никого, кроме нее; она знает, что ему не влюбиться ни в Роберту, ни в Женевьеву.

Уоррен вздохнул. Путь к сердцу Марджори был поистине извилистее лабиринта. Он поглядел на танцующих. Веронику снова кружил приезжий юнец. Почти бессознательно Уоррен отделился от толпы кавалеров, шагнул было к Веронике, но заколебался. Уверил себя, что им движет сострадание. Направился к Веронике — и столкнулся с Д. Рисом Стоддардом.

— Прощу прощения, — сказал Уоррен.

Но Д. Рис не стал терять времени на извинения. Он снова отбил Веронику.

В час ночи, в холле, Марджори, уже держа руку на выключателе, обернулась в последний раз посмотреть на сияющую Веронику.

— Значит, помогло?

— Да, Марджори, да! — воскликнула Вероника.

— Я видела, ты веселилась вовсю.

— Еще бы! Беда только, что к полуночи я истощила все свои разговорные запасы. И пришлось повторять одно и то же — правда, разным партнерам. Надо надеяться, они не будут обмениваться впечатлениями.

— У мужчин нет такой привычки, — сказала Марджори, зевая. — Но на худой конец они б просто решили, что ты озорница, каких мало.

Она выключила свет. Ступив на лестницу, Вероника с облегчением ухватилась за перила. Впервые в жизни она натанцевалась до упаду.

— Понимаешь, — сказала Марджори уже на площадке, — стоит одному мужчине увидеть, что тебя отбивает другой, как он думает: в ней наверняка что-то есть. Ладно, на завтра изобретем что-нибудь новенькое. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Распуская волосы, Вероника перебрала в памяти прошедший вечер. Она в точности выполнила все наставления Марджори. Даже когда к ней в восьмой раз подлетел Чарли Полсон, она изобразила живейший восторг и сумела показать ему, как лестно ей его внимание. Она не говорила с ним ни о погоде, ни об О-Клэре, ни об автомобилях, ни о своей школе, а строго придерживалась одной темы — вы, я, мы с вами.

И тут Веронику осенила бунтарская мысль, мысль эта дремотно крутилась в ее голове до тех пор, пока ее не одолел сон: ведь, в конце концов, успехом-то она обязана прежде всего себе. Не приходится отрицать, Марджори придумала, что ей говорить, но ведь и Марджори многое из того, что говорила, почерпнула в книгах. И красное платье выбрала она сама, хоть и не очень высоко его ценила, пока Марджори не извлекла его из сундука, она сама произносила те слова, она сама улыбалась, сама танцевала. Марджори славная... но уж очень суетная... какой славный вечер... и все такие славные... особенно Уоррен... Уоррен... Уоррен. Как его там... Уоррен...

И она уснула.

Следующая неделя была для Вероники откровением. Она вдруг почувствовала, что ею любуются, ее слушают с удовольствием, а с этим пришла и уверенность в себе.

Что и говорить, на первых порах случались промахи. К примеру, она не знала, что Дрейкотт Дейо готовится принять сан; ей было невдомек, что он пригласил ее, сочтя тихой и благонаправной девушкой. Зная она это, она не встретила бы его словами: «Привет, пожиратель сердец!», не стала бы затем потчевать рассказами про ванну: «Летом я просто ума не приложу, как управиться с волосами: они такие густые, поэтому я первым делом причесяюсь, пудрюсь и надеваю шляпку, а уж потом принимаю ванну и одеваюсь. Верно, неплохо придумано?»

Хотя Дрейкотт Дейо сейчас бился над вопросом о крещении путем погружения и, казалось, мог бы узреть тут некую связь, приходится признать, что он ее не узрел. Разговоры о женском купанье он почитал безнравственными и прочел Веронике лекцию о падении нравов в современном обществе.

Но в противовес этому промаху за Вероникой числился ряд блистательных побед. Малыш Отис Ормонд приложил все усилия, чтобы отказаться от поездки на Восток, и теперь повсеместно сопровождал Веронику с истинно щенячьей преданностью к потехе всей компании и к досаде Д. Риса Стоддарда, чьи визиты он не раз отравил нежными до омерзения взорами, которыми пожирал Веронику. Малыш Отис даже рассказал Веронике про доску и дамскую комнату в доказательство того, как чудовищно они в ней ошибались. Вероника посмеялась над его выходкой, но сердце у нее екнуло.

Из всех ее историй наибольшим успехом пользовался рассказ о том, как она обрежет волосы.

— Вероника, когда же вы обрежете волосы?

— Скорее всего, послезавтра,— смеялась она в ответ.— Придете поглядеть? Имейте в виду, я на вас рассчитываю.

— Придем ли? Еще бы! Только поторопитесь!

И Вероника, чье намерение принять постриг было чистой воды очковтирательством, снова заливалась хохотом.

— Теперь уж скоро. Будьте готовы.

Однако всего нагляднее, пожалуй, знаменовал ее триумф серый автомобиль этого критикана Уоррена Макинтайра, вечно торчавший у дома Харви. Когда Уоррен

в первый раз попросил позвать не Марджори, а Веронику, горничная не поверила своим ушам, а уже через неделю она оповестила кухарку, что мисс Вероника приушла первого ухаера мисс Марджори.

И так оно и было. Не исключено, что сначала Уоррен хотел вызвать ревность Марджори, не исключено, что его привлекли знакомые; хотя и еле уловимые отзвуки Марджори в речах Вероники; не исключено, что свою роль сыграло и то и другое, возможно, чем-то она его и впрямь привлекла. Но так или иначе, а только через неделю младшее поколение пришло к общему мнению: самый надежный поклонник Марджори решительно переключился на ее гостью и всюю приударяет за ней. Всех интересовало, как примет эту измену Марджори. Уоррен дважды на дню звонил Веронике, посылал ей записки, часто видели, как они разъезжают в его двухместном автомобиле и пылко, вдохновенно выясняют жизненно важный вопрос: серьезно или нет он относится к ней.

Когда над Марджори подтрунивали, она смеялась в ответ. Она, говорила Марджори, только рада, что Уоррен наконец нашел кого-то, кто отвечает ему взаимностью. И, посмеявшись вместе с ней, младшее поколение решило, что Марджори, по всей видимости, несколько не огорчена изменой, и на том успокоилось.

За три дня до отъезда Вероника как-то после обеда поджидала Уоррена в холле: они уговорились ехать играть в бридж. Настроение у нее было самое радужное, и, когда Марджори, которая ехала туда же, возникла рядом в зеркале и стала небрежными движениями поправлять шляпу, Вероника, не ожидавшая нападения, была захвачена врасплох. И вот тут-то Марджори бестрепетно и решительно, в три фразы, расправилась с ней.

— Советую тебе выкинуть Уоррена из головы,— сказала она жестко.

— Что? — Вероника растерялась.

— Советую тебе: прекрати выставлять себя на посмешище. Уоррена ты ничуть не интересуешь.

Какой-то миг они напряженно разглядывали друг друга — высокомерная, отчужденная Марджори и растерянная, разом и сердитая и напуганная Вероника. Но тут перед домом остановились два автомобиля, послышался беспорядочный вой клаксонов. Девушки дружно охнули и бок о бок заспешили к выходу.

Пока шла игра, Вероника тщетно пыталась побороть нараставшую тревогу. Она оскорбила Марджори, этого

сфинкса из сфинксов. С самыми что ни на есть благовидными и невинными намерениями она похитила собственность Марджори. Она вдруг почувствовала себя страшно, непоправимо виноватой.

После бриджа гости сели кружком, кто куда, разговор сделался общим, и вот тут-то разразилась буря. Вызвал ее по неосмотрительности Малыш Отис Ормонд.

— Отис, ты когда возвращаешься в свой детский сад? — спросил кто-то.

— Я? Когда Вероника обрежет волосы.

— Тогда считай, что твое образование закончено, — поспешила вставить Марджори. — Это ведь чистый блеф. Я думала, вы ее давно раскусили.

— Правда? — спросил Отис, укоризненно глядя на Веронику.

У Вероники полыхали уши, ей хотелось одернуть Марджори, но, как назло, ничего не приходило в голову. Прямой наскок полностью ее парализовал.

— Блефы — не такая уж редкость, — вполне миролюбиво продолжала Марджори, — и ты, Отис, не так стар, чтобы этого не знать.

— Допускаю, — сказал Отис. — Не стану спорить. Только Веронике с ее язычком...

— Да ну? — зевнула Марджори. — И какая, интересно знать, ее последняя острота?

Никто, похоже, не знал. И впрямь, с тех пор, как она покусилась на поклонника своей музыки, Вероника не говорила ничего примечательного.

— А это правда блеф? — поинтересовалась Роберта.

Вероника колебалась. Она понимала, что ей непременно надо выкрутиться поостроумнее, но взгляд кузины, внезапно обдавший холодом, не давал собраться с мыслями.

— Как сказать, — уклонилась от ответа Вероника.

— Слабо тебе? Признайся, — сказала Марджори.

Вероника заметила, что Уоррен перестал терзать гавайскую гитару и глядит на нее.

— Как сказать, — упрямо повторила она. Щеки ее пламенели.

— Слабо! — повторила Марджори.

— Не отступайтесь, Вероника, — подзуживал Отис. — Укажите Марджори ее место, пусть не важничает.

Вероника затравленно озиралась, ей казалось, глаза Уоррена неотступно следят за ней.

— Мне нравится короткая стрижка, — быстро сказала она, будто отвечая Уоррену, — и я решила обрезать волосы.

— Когда? — осведомилась Марджори.

— Когда угодно.

— Не откладывай на завтра... — начала Роберта
Отис сорвался с места.

— Вот и отлично! — завопил он. — Устроим групповую вылазку! Вылазку в цирюльню! Вы, кажется, говорили про отель «Севье»?

Все мигом повскакали с мест. У Вероники бешено колотилось сердце.

— Как? — выдохнула она.

Над общим шумом вознесся звонкий и презрительный голос Марджори:

— Не беспокойтесь, она еще даст задний ход.

— Вероника, едем, — на бегу кричал ей Отис.

Две пары глаз, Уоррена и Марджори, в упор смотрели на Веронику — бросали ей вызов, подрывали веру в себя.

Еще секунду она мучительно колебалась.

— Ну что ж, — сказала она быстро. — Отчего бы и не поехать?

Те несколько бесконечно долгих минут, когда Уоррен мчал се по городу, а вся компания катила следом в автомобиле Роберты, Вероника чувствовала себя Марией-Антуанеттой, влкомой в телеге на гильотину. Вероника удивлялась, почему она молчит, почему не крикнет, что все это недоразумение. Она изо всех сил удерживалась, чтобы не схватиться за волосы руками, не спасти их от неожиданно обернувшегося таким враждебным мира. И не делала ни того, ни другого. Даже мысль о матери больше не пугала ее. Ей предстояло доказать свою выдержку, свое право блистать на звездном небосклоне покорительниц сердец.

Уоррен угрюмо молчал, а перед отелем остановился у обочины и дал Веронике знак выходить первой. Вся ватага с хохотом повалила из автомобиля Роберты в парикмахерскую, нагло таранившуюся на улицу двумя зеркальными окнами.

Вероника стояла на обочине и глядела на вывеску парикмахерской. И правда, ни дать ни взять гильотина, а тот, ближний к окну парикмахер с папиросой в зубах, развязно прислонившийся к креслу, — палач. Наверняка он слышал о ней, наверняка он уже давно ждет ее, куря одну папиросу за другой у этого громоздкого, обязательно мелькающего во всех разговорах кресла. Интересно, завяжут ли ей глаза? Нет, не завяжут, только обернут шею белой простыней, чтобы кровь... что за чушь. волосы... не попали на платье.

— Ну что ж, Вероника,— поторопил ее Уоррен.

Гордо подняв голову, она пересекла тротуар, толкнула вращающуюся дверь и, не глянув в сторону буйно веселящейся компании, подошла к ближайшему мастеру.

— Я хочу обрезать волосы.

У мастера отвисла челюсть. Он выронил папиросу.

— Чего?

— Обрезать волосы!

Отринув дальнейшие переговоры, Вероника взобралась в высокое кресло. Клиент, которого брили рядом, извернулся и метнул на нее взгляд, где изумление мешалось с мыльной пеной. Один из мастеров дернулся, попортив юному Вилли Шунеману ежемесячную стрижку. В последнем кресле хрюкнул и мелодично выругался на языке древних кельтов мистер О'Рейли — ему в щеку вопзилась бритва. Два чистильщика сапог, выкатив глаза, рванули к Веронике. Нет, нет, туфли чистить не нужно.

Вот уже какой-то прохожий устоял в окне; к нему присоединилась парочка; откуда ни возмись о стекло расплющился пяток мальчишеских носов, летний ветерок вносил в дверь обрывки разговоров.

— Гляди-ка, парнишка какие волосищи отрастил!

— Скажешь тоже! Это бородатая тетка, она только что побрилась.

Но Вероника ничего не слышала, ничего не видела. Она ощущала только: вот человек в белом халате вынимает первую черепаховую гребенку, вот — вторую; руки его неуклюже возятся с непривычными шпильками; ее волосы, ее чудесные волосы — сейчас она лишится их, никогда больше не оттянут они своей роскошной тяжестью ее голову, не заструятся по спине темной блестящей рекой. Она было дрогнула, но тут в поле ее зрения очутилась Марджори — она иронически улыбалась, словно говоря: «Отступись, пока не поздно! Ты решила потягаться со мной. Вот я и вывела тебя на чистую воду. Куда тебе до меня»

Вероника собралась с силами: руки ее под белой простыней сжались в кулаки, а глаза — этим наблюдением Марджори много спустя поделилась с кем-то — зловеще сузились.

Через двадцать минут мастер повернул Веронику лицом к зеркалу, и она содрогнулась, увидев размеры понесенного ущерба. Волосы ее, совершенно прямые, теперь безжизненно повисли унылыми прядями по обеим сторо-

нам внезапно побледневшего лица. Короткая стрижка сделала ее страшной как смертный грех, и ведь она знала наперед, что так и будет. Главная прелесть ее лица заключалась в певнином выражении, придававшем ей сходство с мадонной. Короткая стрижка уничтожила это сходство; теперь она казалась ничуть не эффектной, а скорее... ужасно заурядной и попросту смешной — вылитый синий чулок, только что очки забыла дома.

Слезая с кресла, Вероника попыталась улыбнуться, но улыбки не получилось. Она увидела, как переглянулись две девушки, заметила, как кривятся в сдерживаемой усмешке губы Марджори, каким холодом обдают ее глаза Уоррена.

— Видите,— слова ее падали в неловкую тишину.— Я не отступилась.

— Да, не отступилась,— согласился Уоррен.

— Ну и как, нравится вам?

В ответ послышалось два-три не слишком искренних «Еще бы», снова наступила неловкая тишина, затем Марджори по-змеиному стремительно обернулась к Уоррену.

— Ты меня подвезешь?— спросила она.— Мне до ужина непременно надо забрать платье из чистки. Роберта едет прямо домой и развезет всех остальных.

Уоррен отсутствующим взглядом смотрел в окно. Потом глаза его на какой-то миг холодно остановились на Веронике и лишь затем обратились к Марджори.

— Отлично,— сказал он с расстановкой.

VI

Лишь перехватив ошарашенный взгляд тетki перед обедом, Вероника поняла, в какую коварную ловушку ее заманили.

— Бог ты мой, Вероника!

— Я обрезала волосы, тетя Жозефина!

— Да что ты, дитя мое!

— Вам нравится?

— Бог ты мой, Вероника!

— Вы, наверное, возмущены?

— Но что скажет миссис Дейо? Вероника, ты бы хоть повременила, пока не пройдут эти танцы у Дейо,— да, да, повременила, если даже тебе и было невтерпех.

— Так уж получилось, тетя Жозефина. И потом, при чем тут миссис Дейо?

— Бог мой, дитя мое,— запричитала миссис Харви.— Да ведь на заседании нашего клуба она прочла доклад «О пороках молодежи» и целых пятнадцать минут отвела короткой стрижке. Это предмет ее особой ненависти. Подумать только, ведь бал она дает в честь тебя и Марджори.

— Мне очень жаль, тетя.

— Ох, Вероника, и что еще скажет мама? Она подумает, что ты это сделала с моего ведома.

— Мне очень жаль.

Обед был сплошным мучением. Вероника попыталась было наспех помочь делу с помощью щипцов, но лишь обожгла палец и спалила уйму волос. Тетка не могла скрыть своей досады и огорчения, а дядя то и дело повторял оскорбленно и даже чуть неприязненно: «Черт меня подери». Невозмутимая Марджори восседала, отгородясь от всех улыбкой, еле заметной, но заметно издевательской.

Вероника кое-как продержалась вечер. Зашли три молодых человека, Марджори исчезла с одним из них, а Вероника безо всякого воодушевления пыталась занять двух остальных, не имела успеха и, поднимаясь в половине одиннадцатого к себе, вздохнула с облегчением. Ну и денек!

Когда она была уже в ночной рубашке, дверь отворилась и вошла Марджори.

— Вероника,— сказала она.— Мне очень жаль, что так неудачно вышло с этим балом у Дейо. Поверь, у меня просто вылетело из головы.

— Чего там,— буркнула Вероника.

Стоя перед зеркалом, она медленно провела гребнем по своим коротким волосам.

— Завтра я тебя свезу к хорошему парикмахеру, и он наведет на тебя красоту. Я никак не думала, что ты решишься. Мне, право, очень жаль.

— Чего там!

— Впрочем, раз послезавтра тебе все равно уезжать, это, по-моему, не имеет такого уж значения.

И тут Веронику передернуло — Марджори, бросив пышные белокурые волосы на грудь, стала не спеша заплетать их на ночь; в кремовом пеньюаре, с двумя длинными косами, она, казалось, сошла с картинки, изображающей прелестную саксонскую принцессу. Вероника замороженно следила, как косы становятся все длиннее. Густые, тяжелые, они извивались в ловких пальцах Мард-

жори, как растревоженные змси. Веронике же ничего не оставалось, кроме этих куцых остатков прежней роскоши, щипцов для завивки и любопытных взглядов, от которых никуда не деться весь завтрашний день. Она представила себе, как Д. Рис Стоддарт, симпатизировавший ей, склонясь к соседке по столу, изречет в своей высокомерной гарвардской манере, что зря, мол, Веронику так много пускали в кино, это не пошло ей на пользу; представила, как Дрейкотт Дейо переглянется с матерью, а потом будет подчеркнуто внимателен к ней. Впрочем, скорее всего, завтра миссис Дейо уже донесут о случившемся; она пришлет сухую записку, в которой попросит Веронику не утруждать себя и не приходить к ним, и все будут за ее спиной смеяться, понимая, что Марджори оставила ее в дураках и что она изуродовала себя, потакая ревнивой прихоти себялюбивой девчонки. Она опустилась на стул перед зеркалом и прикусила губу.

— А мне нравится,— через силу сказала она.— Помоему, мне пойдет такая прическа.

Марджори усмехнулась.

— Да все в порядке. И не страдай ты так.

— И не думаю.

— Спокойной ночи, Вероника.

Едва за Марджори закрылась дверь, как в Веронике произошел какой-то перелом. Она решительно вскочила, стараясь не шуметь, подбежала к кровати и вытащила из-под нее чемодан. Покидала туда туалетные принадлежности и платье на смену. Потом занялась сундуком — опростала в него два ящика комода, полных белья и летних нарядов. Она двигалась четко и расторопно; не прошло и часа, как сундук был закрыт, затянут ремнями, а она одета в элегантный дорожный костюм, купленный по совету Марджори.

Присев к столику, она набросала короткую записку миссис Харви, в которой вкратце изложила, почему уезжает. Запечатав записку, надписала ее и положила на подушку. Поглядела на часы. Поезд уходил в час, она знала, что у отеля «Марборо», за два квартала, всегда можно достать такси.

Вдруг у нее перехватило дыхание, а глаза решительно сверкнули,— человек проницательный заметил бы тут связь с тем выражением решимости, которое появилось у нее в парикмахерской,— во всяком случае, некое его следствие. Выражение необычное для Вероники и не сулившее ничего доброго.

Вероника прокралась к комоду, вынула оттуда какой-то предмет, погасила все лампы и постояла неподвижно, пока глаза не привыкли к темноте. Потом беззвучно распахнула дверь в комнату кухни. До нее донеслось безмятежное, ровное дыхание Марджори, спящей сном праведницы.

И вот она уже стоит у кровати, до предела сосредоточенная и хладнокровная. Она действовала быстро и ловко. Нагнувшись, ощупью отыскала одну косу, перехватывая добралась до самого ее основания, чуть припустила, чтобы не дернуть ненароком и не разбудить спящую, приставила ножницы и чикнула. Зажав косу в кулаке, Вероника на миг затаила дыхание. Марджори что-то пробормотала во сне. Вероника ловко отрезала вторую косу, секунду помедлила, потом быстро и неслышно выскользнула из комнаты.

Внизу она открыла массивную парадную дверь, тщательно притворила ее за собой и с ощущением небывалого восторга и счастья, помахивая увесистым чемоданом, будто сумочкой, ступила с порога в лунный свет. Бодро зашагала к отелю, но почти сразу спохватилась, что все еще несет в левой руке две белокурые косы. Неожиданно расхохоталась и поспешно прикрыла рот рукой, чтобы не завизжать от радости. Поравнявшись с домом Уоррена, она, повинуясь внезапному порыву, опустила чемодан на землю, взметнула косами, как обрывками веревок, размахнулась — и косы с глухим стуком упали на деревянное крыльцо.

Вероника снова рассмеялась — теперь уже не сдерживаясь.

— Ага, получила! — закатывалась она. — Сняли скальп с вредины!

Потом подхватила чемодан и чуть не бегом припустилась по залитой луною улице.

ЗИМНИЕ МЕЧТЫ

I

Многие из мальчишек, которые таскали за играющими клюшки и отыскивали им мячи, были беднее бедного и ютились в однокомнатных домишках с худосочной коровой во дворе, но отец Декстера Грина владел вторым по величине бакалейным магазином в поселке Черного Медведя — первым считался «Рог изобилия», где делали покупки отдыхающие в Шерри-Айленде богачи, — и Декстер только подрабатывал в гольф-клубе себе на карманные расходы.

Осень кончалась холодами, непогодой, долгая зима, точно огромное белое одеяло, падала на Миннесоту, и тогда Декстер бегал на лыжах по полю для игры в гольф, которое теперь покрывал снег. Природа в эту пору наводила на Декстера тоску: он страдал, что здесь такая мерзость запустения, на дорожках и лунках хозяйничают только тощие взъерошенные воробьи. И угнетало, что на метках, где летом вьются разноцветные флажки, торчат из сугробов лишь обросшие ледяной коркой песочные ящики. Ветер пробирал Декстера до костей, иногда светило солнце, и он шел, жмурясь от его плоского пронзительного света.

В апреле зима вдруг кончалась. Снег стекал в Медвежье озеро, призывая истосковавшихся любителей гольфа с их красными и черными мячами открыть сезон. Не было победного звона капли, не было восторга в душе, — холода просто кончались, и все.

Декстер чувствовал, как ущербна эта северная весна и как великолепна осень. Осенью он в волнении сжимал руки, твердил про себя какую-то чепуху и вдруг повелительно взмахивал рукой, точно отдавал приказания незримым армиям и народам. Октябрь приносил с собой

надежды, которые к декабрю наполнялись ликующим торжеством, и тут мелькающие в памяти яркие картинки шерри-айлендского лета оказывались как нельзя более кстати. Вот он чемпион страны по гольфу, он наголову разбивает мистера Т. А. Гендрика, выигрывая у него партию, которую он в воображении разыгрывал сотни раз, каждый раз без устали меняя весь ее ход,—то он одерживал победу шутя, то лишь в последние минуты ему удавалось сравнять счет и вырваться вперед. Вот он выходит из собственного автомобиля марки «пирсэрроу», как у мистера Мортимера Джонса, и с гордым видом шествует в гостиную Шерри-Айлендского гольф-клуба. Вот он перед толпой восхищенных зрителей прыгает с вышки в озеро и делает в воздухе сальто. Из толпы, раскрыв рот от изумления, на него глядит мистер Мортимер Джонс.

А однажды мистер Джонс—не воображаемый, а живой, из плоти и крови,—и впрямь подошел к Декстеру и со слезами на глазах сказал, что Декстер—самый лучший кэдди во всем клубе, он просит Декстера не уходить, а уж он, мистер Джонс, в долгу не останется, потому что все другие мальчишки, пропади они пропадом, потеряли у него по столько мячей, сколько на поле лунок, не меньше...

— Нет, сэр,—решительно ответил Декстер,—я больше не хочу бегать за мячами.—И, помолчав, добавил:—Вышел я уже из того возраста.

— Да тебе, наверно, нет и четырнадцати. Почему, черт возьми, ты решил уйти как раз сегодня? Ты же обещал поехать со мной на той неделе на состязания.

— Нет, сэр, я уже решил. Вышел я из того возраста.

Декстер сдал инструктору свой значок «Кэдди первого класса», получил, что ему причиталось, и отправился домой, в поселок Черного Медведя.

— Черт побери, такой кэдди! Ни одного мяча не потерял! Старательный! Ловкий! Скромный! Благодарный! Честный!—причитал вечером мистер Мортимер Джонс, размахивая стаканчиком с виски.

А виной всему этому была девочка одиннадцати лет, прелестный гадкий утенок, какими бывают иногда девочки, которым через несколько лет суждено расцвести неизъяснимым очарованием и причинить неслыханные муки великому множеству мужчин. Это ее очарование уже угадывалось. Было что-то смутно бесовское в улыбке, кривящей книзу уголки ее губ, в чуть ли не страстном,

прости меня господи, взгляде ее глаз. Жизненные силы просыпаются в таких женщинах рано. Уже сейчас они переполняли это худенькое угловатое существо и рвались наружу.

От нетерпения она пришла на поле ровно в девять утра в сопровождении бонны в белом накрахмаленном платье, которая несла парусиновую сумку с пятью маленькими новыми клюшками. Декстер увидел ее возле раздевалки, она сильно конфузилась и, чтобы скрыть это, неестественным голосом болтала с бонной, украшая беседу поразительно неуместными гримасками.

— Сегодня такой чудесный день,— услышал Декстер. Она опустила уголки губ, улыбнулась и украдкой бросила вокруг себя взгляд, скользнув им мимолетно по Декстеру. Потом обратилась к бонне: — По-моему, здесь сегодня не очень много народу, правда, Хильда?

И снова наградила ее улыбкой — ослепительной, вопиюще фальшивой, чарующей.

— И что же нам теперь делать? — спросила бонна, рассеянно озираясь.

— Пустяки! Сейчас я все устрою.

Декстер стоял приоткрыв рот, боясь шелохнуться. Он понимал: шагни он вперед — она тут же заметит, что он уставился на нее, шагни назад — ему будет не так хорошо видно ее лицо. Он не сразу сообразил, какая она еще маленькая. Потом вспомнил, что видел ее несколько раз в прошлом году — в детском комбинезоне. Неожиданно у него вырвался резкий, короткий смешок, испугавший его самого, и он быстро зашагал прочь.

— Мальчик!

Декстер остановился.

— Мальчик...

Без сомнения, она звала его. Мало того, ему предназначалась эта нелепая, ни на что не похожая улыбка — улыбка, которую столько мужчин будут вспоминать и в старости.

— Мальчик, вы не знаете, где сейчас тренер?

— Он дает урок.

— А где можно найти инструктора?

— Инструктор еще не пришел.

— А-а.— Она на минуту растерялась. Переступила с ноги на ногу, постояла, опять переступила.

— Нам нужен кэдди,— сказала бонна.— Миссис Джонс послала нас играть в гольф, но мы же не можем без кэдди...

Под грозным взглядом мисс Джонс она осеклась, но за взглядом сейчас же последовала уже знакомая ему улыбка.

— Кэдди ни одного нет, только я,— сказал Декстер бонне,— а я здесь за старшего, пока не придет инструктор.

— А-а.

Мисс Джонс удалилась со своим эскортом на приличествующее расстояние, и между ними завязалась оживленная беседа, в завершение которой мисс Джонс схватила одну из клюшек и швырнула на землю. Видимо, этого ей показалось мало, она подняла клюшку и хотела ударить бонну в грудь, но та вцепилась в клюшку и вырвала ее из девочкиных рук.

— Мерзкая старая уродина! — в бешенстве закричала мисс Джонс.

Они с бонной снова заспорили. Декстер сознавал, до чего комична эта сцена, его душил смех, но он сдерживался, чтобы не рассмеяться вслух. И не мог отделаться от несуразной мысли, что поведение девочки оправдано.

Неизвестно, чем бы все кончилось, не появившись инструктор, к которому и поспешила обратиться бонна.

— Мисс Джонс нужен кэдди, а этот мальчик отказался.

— Мистер Мак-Кенна велел мне не отлучаться, пока вы не придете,— быстро сказал Декстер.

— А вы как раз и пришли.— Мисс Джонс лучезарно улыбнулась инструктору. Потом кинула на землю сумку и с царственным видом направилась к первой метке.

— Ну?— инструктор повернулся к Декстеру.— Что же ты стоишь, как истукан? Бери клюшки и ступай за барышней.

— Нет, сегодня я не буду работать.

— Что?! Не будешь...

— Я вообще не буду здесь больше работать.

Решение было столь чудовищно, что Декстер испугался. В клубе он был нарасхват, да и где еще в окрестностях озера ему удастся зарабатывать все лето по тридцать долларов в месяц? Но он только что перенес душевное потрясение, и его смятенные чувства требовали, чтобы он сейчас же совершил что-то отчаянное, бесповоротное.

Впрочем, на самом деле все было куда сложнее. Как еще не раз случится в будущем, Декстер принял решение, бессознательно повинувшись своим зимним мечтам.

Шло время, и мечты его, конечно, менялись, но узор, который они оплетали, оставался неизменным. Из-за них он через несколько лет отказался поступить в коммерческий колледж Миннесотского университета — его отец преуспевал и вполне мог содержать там сына — и предпочел сомнительные преимущества, которые давало образование в одном из старых и куда более известных университетов на Востоке, где ему с его скромными средствами пришлось нелегко. Но не думайте, что этот юноша был всего лишь сноб, хотя поначалу в его зимних мечтах богатые занимали так много места. Он хотел быть не возле чьей-то роскоши и блеска — он хотел владеть роскошью и блеском сам. Порой он стремился к самому лучшему, не всегда понимая, зачем оно ему, и тут наталкивался на те непостижимые преграды и запреты, которые так щедро выставляет перед нами жизнь. Об одном из таких столкновений и пойдет наш рассказ, а вовсе не о его жизненном пути в целом.

Он нажил состояние. И каким удивительным способом! Окончив университет, он поселился в том городе, чьи богачи ездят отдыхать на озеро Черного Медведя.

Через два года о двадцатитрехлетнем Декстере уже говорили: «Этот молодой человек далеко пойдет». Вокруг него отпрыски богатых родителей беспечно проматывали наследство, или вкладывали его в сомнительные предприятия, или корпели над двадцатитомным курсом экономики, а Декстер занял под залог университетского диплома и собственного красноречия тысячу долларов и купил долю в прачечной.

Прачечная в то время была маленькая, но Декстер изучил, как в Англии стирают шерстяные носки для гольфа, чтобы они не садились, и через какой-нибудь год все любители спорта уже пользовались его услугами. Мужчины непременно хотели, чтобы их носки и свитеры стирались в прачечной Декстера, так же как раньше они непременно хотели играть с кэдди, который отыскивает все мячи. А потом ему стали отдавать свое белье их жены, и у прачечной появилось пять филиалов в разных концах города. Двадцати шести лет от роду Декстер был владельцем самой большой сети прачечных в их штате. И как раз тогда он все продал и переехал в Нью-Йорк. Но наш рассказ пойдет о тех днях, когда он только начал по-настоящему утверждаться в жизни.

Когда ему было двадцать три года, мистер Гарт — один из тех почтенных, седовласых мужей, что любили повторять: «Этот молодой человек далеко пойдет», — пригласил его как-то на конец недели в Шерри-Айлендский гольф-клуб, и вот в один прекрасный день Декстер вписал свое имя в книгу гостей и перед обедом играл в гольф двое против двух с мистером Гартом, мистером Сэндвудом и мистером Т. А. Гедриком. Он не считал нужным сообщать им, что когда-то носил по этому самому полю клюшки за мистером Гартом и что он с закрытыми глазами найдет на нем любую кочку и канаву, однако поймал себя на том, что то и дело поглядывает на четырех кэдди, приставленных к ним, пытаясь уловить какой-нибудь жест, выражение, которое напомнило бы ему себя и помогло соединить настоящее с прошлым.

Станный это был день, с мгновенными наплывами знакомых картин и ощущений. То вдруг он чувствовал себя самозванцем, а через минуту остро ощущал свое превосходство над мистером Т. А. Гедриком, который оказался на редкость скучным стариком и даже в гольф играл не так хорошо, как прежде.

Возле пятнадцатой лунки мистер Гарт потерял мяч, и благодаря этому произошло событие необычайной важности. Пока они искали мяч в жесткой короткой траве, из-за пригорка сзади донесся звонкий возглас: «Бью!» Все разом обернулись, и тут из-за пригорка вылетел яркий новенький мяч и угодил мистеру Гедрику прямо в брюшную прессу.

— Ну, знаете! — возмутился мистер Т. А. Гедрик. — Это уже переходит всякие границы. Кое-кого из этих сумасшедших дам следовало бы удалить с поля.

Голос спросил: «Можно обогнать вас?» — и одновременно над пригорком показалась голова.

— Вы попали мне в живот! — с негодованием заявил мистер Гедрик.

— Что вы говорите? — Девушка подошла ближе. — Прошу прощения. Но ведь я же крикнула: «Бью!»

Она мельком оглядела мужчин и стала озабоченно высматривать мяч в траве возле лунки.

— Далеко, видно, отлетел. Кто бы мог подумать?

Трудно было понять, насмехается она или говорит это в простоте душевной. Впрочем, все сомнения на этот счет тут же исчезли, потому что на пригорке появился ее партнер и она весело ему закричала:

— Я здесь! Я бы попала прямо в лунку Только мяч обо что-то стукнулся.

Пока она готовилась бить, Декстер успел рассмотреть ее. На ней было голубое ситцевое платье с чем-то белым вокруг шеи и на плечах, и это белое оттеняло загар. Угловатость и худоба, которые в одиннадцать лет так не вязались со страстным блеском глаз и опущенными уголками губ, исчезли. Она была ослепительно хороша. По лицу разлит румянец, как свет на картине,— даже не румянец, а живое трепетное тепло, такое неверное, что, кажется, оно лишь сейчас вспыхнуло и вот-вот погаснет. Этот румянец и подвижный рот вызывали ощущение страстной энергии, бьющей через край жизни, пылкого темперамента, которое лишь слегка смягчалось печалью ее прекрасных глаз.

Резким небрежным ударом она послала мяч в ров с песком на другом конце площадки, бегло, неискренне улыбнулась, бросила безразличное «Спасибо!» и пошла к следующей отметке.

— Ох, уж эта мне Джуди Джонс,— проворчал мистер Гедрик, когда она взяла клюшку и все они дожидались — довольно-таки долго,— пока она пробьет по мячу.— Сечь бы ее каждый божий день полгодика или год, а потом выдать замуж за кавалерийского капитана старой за-
калки.

— Что вы, такую красавицу! — сказал мистер Сэндвуд, которому было едва за тридцать.

— Красавицу! — презрительно фыркнул мистер Гедрик.— Эта красавица только что не просит: «Ах, поцелуй-те меня!» Зыркает своими глазищами, ни одного младенца в городе не пропустила.

Вряд ли мистер Гедрик намекал, что ею движет материнский инстинкт.

— Она могла бы прекрасно играть в гольф, если бы захотела,— сказал мистер Сэндвуд.

— В ее игре совершенно нет стиля,— мрачно возразил мистер Гедрик.

— Зато в ней самой его хоть отбавляй,— сказал мистер Сэндвуд.

— Скажите лучше спасибо, что у нее не такой уж сильный удар,— сказал мистер Гарт и подмигнул Декстеру.

Потом был закат в буйном полыхании золота и алоголубых красок, и наступила душная ночь, полная летних шорохов и звуков. Декстер сидел на веранде гольф-клуба,

глядел, как под легким ветерком слабо рябит вода — серебряная патока в лучах полной луны. Но вот луна поднесла к губам палец — и ветер утих, озеро стало зеркальным и светлым, как пруд. Декстер надел купальный костюм, поплыл к дальнему плоту и, мокрый, лег на влажную парусину трамплина.

Плескала рыба, высоко в небе сияла звезда, горели огни вокруг озера. С темного мыса неслись звуки рояля, кто-то играл мелодии, которыми все увлекались прошлым и позапрошлым летом, — из «Осенних маневров», «Графа Люксембурга», «Отпускного солдата», — Декстер лежал не шевелясь и слушал, потому что звуки рояля над водой ему особенно нравились.

Веселая эта мелодия только-только входила в моду пять лет назад, когда Декстер учился на втором курсе. Ее играли однажды на студенческом балу, а для него тогда балы были недоступной роскошью, и он стоял под окнами и слушал. Сейчас эта мелодия захлестнула его ликованием, и сквозь ликование он подумал о том, чего он достиг. Он с необыкновенной ясностью сознавал, что наконец-то попал в такт с жизнью и что никогда, быть может, мир не откроется ему в таком сверкающем великолепии, как этой ночью.

Вдруг длинная светлая тень отделилась от темного берега, рассыпав в воздухе дробный стук мотора. За тенью по воде побежали две расходящиеся белые полосы, и вот уже лодка пронеслась мимо, заглушив бречание рояля шумом вспененных брызг. Декстер приподнялся на руках и увидел лишь фигуру у руля и темные глаза, которые глядели на него с быстро удаляющейся лодки. Лодка вынеслась на середину озера и стала бесцельно описывать огромные пенные круги. Потом один из кругов столь же необъяснимо выпрямился и полетел к плоту.

— Кто тут? — крикнула она, выключив мотор. Она была сейчас так близко, что он мог даже рассмотреть ее купальный костюм — розовый и без юбочки.

Лодка ткнулась носом в плот, чуть не перевернув его, и Декстера швырнуло к девушке.

Он и она с разной степенью интереса узнали друг друга.

— Кажется, это вас мы сегодня обогнали? — спросила она.

— Да.

— А вы моторной лодкой править умеете? Если умеете, сядьте, пожалуйста, за руль, а я покатаюсь на доске.

Меня зовут Джуди Джонс...— Она улыбнулась кривой, нелепой усмешкой—вернее, это ей казалось, что она улыбается криво и нелепо, потому что, как бы она ни кривила свой рот, улыбка ее не могла быть несуразной, она была только пленительной.— Я живу вон там, в Шерри-Айленде, и дома меня ждет один человек. Когда он подъехал, я села в лодку и уплыла. Не надо ему было говорить, что я его идеал.

Плескала рыба, высоко в небе сияла звезда, горели огни вокруг озера. Декстер сидел рядом с Джуди Джонс, и она объясняла ему, как управлять ее лодкой. Потом она прыгнула в воду и гибко поплыла к доске. Смотреть на нее было легко—как на летящую чайку, как на гнущееся под ветром дерево. Ее загоревшие до черноты руки гибко мелькали среди тусклой платины волн,—вот над водой появляется локоть, потом предплечье и кисть в стекающих каплях, она выносит руку вперед и с размаху вонзает в воду.

Берег был далеко: Декстер посмотрел назад—она уже взобралась на доску и стояла на коленях, передний край доски торчал высоко над водой.

— Быстрее,—попросила она,—как можно быстрее.

Он послушно нажал на рычаг, и тотчас перед лодкой вскипел белый пенный фонтан. Когда он снова обернулся, девушка стояла на летящей доске во весь рост, широко раскинув руки и подняв лицо к небу.

— Ужасно холодно!—крикнула она.—Как вас зовут? Он сказал.

— Приходите к нам завтра обедать!

Сердце его повернулось, как штурвал лодки, и во второй раз ее случайный каприз изменил все течение его жизни.

III

На следующий день вечером, дожидаясь, пока она сойдет вниз, Декстер населял сумрачную, всю в коврах, гостиную и примыкавшую к ней стеклянную веранду молодыми людьми, которые любили Джуди Джонс раньше него. Он знал, какого рода молодые люди ухаживают за ней—они поступали в университет, где он учился, из привилегированных школ, безупречно одетые, ровным, здоровым загаром. Он тогда еще понял, что в чем-то эти молодые люди ему уступают. Он

был полнокровнее их, сильнее. И все же он признался себе, что видит своих детей такими, как они, а значит, признал и другое — что он всего лишь грубый, мощный корень, от которого они извечно берут свое начало.

Когда пришло его время носить элегантные костюмы, он уже знал лучших портных Америки, и эти лучшие портные Америки сшили ему костюм, который был на нем сейчас. Он держался строго и сдержанно, что всегда отличало питомцев его университета. Он оценил, как полезна ему может быть эта сдержанность, и усвоил ее: он понимал, что для непринужденности в манерах и одежде требуется большая уверенность в себе. Что ж, этой уверенностью будут обладать его дети. Мать Декстера в девичестве звалась Кримелих, она была дочь крестьянина из Богемии и до конца дней плохо говорила по-английски. Ее сыну не следует забегать вперед.

Джуди спустилась в начале восьмого. На ней было голубое шелковое платье, довольно скромное, и он в первую минуту пожалел, что она не надела вечернего. Разочарование усилилось, когда она, коротко поздоровавшись с ним, подошла к двери буфетной, открыла ее и сказала: «Марта, можете подавать». Он-то воображал, что дворецкий объявит «Кушать подано», что перед обедом будут коктейли. Но он об этом забыл, едва они сели на диван и принялись рассматривать друг друга.

— Папы с мамой нет, — сказала она, думая о чем-то своем.

Он помнил последнюю встречу с ее отцом и обрадовался, что родителей не будет — они, вероятно, стали бы спрашивать, кто он и откуда. Декстер родился в дерсушке под названием Кибл, милях в пятидесяти от озера, и всегда говорил, что он не из поселка Черного Медведя, а из Кибла. Не очень-то приятно сообщать людям, что ты вырос в городке, который так некстати находится рядом и на виду у всех обслуживает фешенебельный курорт.

Разговор зашел об университете, где он учился, а она в последние два года часто бывала на балах, и о городе, откуда в Шерри-Айленд приезжали отдыхать именитые горожане и куда Декстеру предстояло завтра вернуться к своим процветающим прачечным.

За обедом она вдруг впала в мрачное уныние, и Декстер растерялся. Малейшая нотка раздражения в ее грудном голосе огорчала его. Когда она улыбалась — ему, куриной печенке, каким-то своим мыслям, — у него сжималось сердце, потому что в ее улыбке не было радости,

не было даже оживления. Когда алые уголки ее губ изгибались вниз, казалось, что губы не улыбаются, а зовут к поцелую.

После обеда она вывела его на темную веранду и искусно переменяла тон.

— Можно я немножко поплачу? — спросила она.

— Боюсь, вам скучно со мной, — быстро отозвался он.

— Ничуть. Вы очень славный. Но у меня сегодня был ужасный день. Мне нравился один человек, а он возьми да признайся, что у него за душой ни гроша. Прямо как гром средь ясного неба. Раньше об этом никогда не было речи. Я, наверное, кажусь вам ужасно корыстной?

— Может быть, он боялся сказать вам?

— Может быть. Но он с самого начала сделал ошибку. Понимаете, если бы я знала, что он беден... да я столько раз бывала влюблена в бедняков и за всех за них не шутя собиралась замуж. Но тут мне и в голову не приходило, что у него ничего нет, а нравился он мне не так уж сильно, вот я и не выдержала такого удара. Если бы девушка вдруг ни с того ни с сего объявила своему жениху, что она вдова! Может быть, он ничего не имеет против вдов, но все-таки... Не будем делать ошибки в самом начале, — неожиданно прервала себя она. — Вообще-то вы кто?

Декстер на миг заколебался. Потом решительно сказал:

— Пока никто. У меня все еще в будущем.

— Вы бедны?

— Нет, — честно признался он. — Наверное, никто из моих сверстников на всем Северо-Западе не зарабатывает столько, сколько я. Мне неловко об этом говорить, но ведь вы сами не хотели начинать с ошибки.

Наступило молчание. Но вот уголки ее губ изогнулись в улыбке, она неуволчимым движением качнулась к Декстеру, глядя ему в глаза. У Декстера прервалось дыхание, он замер в ожидании — сейчас он испытает неизведанное, в их поцелуях таинственно возникнет нечто, чего нельзя предпрещить, нельзя предсказать. И так оно и случилось — она передала ему свой пыл щедро, безудержно, поцелуями, которые были не обещанием, а свершением. Они вызывали не бесконечно возрождающийся голод, а ничем не утоляемое пресыщение... они, как милостыня, лишь множили просьбы, потому что отдавали все без остатка.

Через час Декстер был убежден, что полюбил Джуди Джонс еще гордым, честолюбивым подростком.

. Вот как все началось — и продолжалось в том же духе, то разгораясь, то затухая, до самой развязки. Декстер отдал себя во власть самого непосредственного и беспринципного существа, какое только ему доводилось знать. Если Джуди чего-то хотела, она шла к своей цели напролом, пуская в ход все свои чары. Приемы ее не отличались разнообразием, она не выжидала выгодной для себя минуты, не рассчитывала заранее ходов — мысль в ее увлечениях принимала очень слабое участие. Она просто заставляла мужчин почувствовать все обаяние своей телесной красоты. Декстер и не хотел ее перedelывать. Ее недостатки были одно со страстной энергией, которая оправдывала их и возвышала.

Когда в тот первый вечер голова Джуди лежала на его плече и она шептала: «Не понимаю, что со мной. Вчера мне казалось, я влюблена в одного, сегодня мне кажется, я влюблена в вас...», это было прекрасно и романтично. Какое восхитительно переменчивое создание принадлежит сейчас ему! Но неделю спустя это ее качество представилось ему уже в другом свете. Она повезла его в своем автомобиле на пикник, а после ужина исчезла, опять же в своем автомобиле, с другим. Декстер был раздавлен и лишь через силу заставил себя отвечать, когда к нему обращались. Потом она уверяла его, что не целовалась с тем, другим, но он знал, что она лжет, — и все-таки обрадовался, что она взяла на себя труд лгать ему.

Лето еще не кончилось, когда он обнаружил, что, кроме него, за Джуди ухаживают, постоянно сменяя друг друга, еще десятка полтора поклонников. Каждый из них в свое время пользовался ее исключительным расположением — половине она до сих пор скрашивала жизнь эпизодическими вспышками нежности. Заметив, что поклонник захирел без поощрения и вот-вот выйдет из игры, она дарила ему несколько упойтельных минут, после чего он томился еще год, а то и дольше. Джуди совершала эти вылазки против беззащитных и отчаявшихся незлонамеренно, она даже вряд ли вообще сознавала злокозненность своего поведения.

Когда в городе появлялся кто-то новый, все остальные сразу же получали отставку — свидания автоматически отменялись.

Бороться с этим было бессмысленно, потому что действовала она сама. Джуди была не из тех девушек, кого

можно «покорить», приложив усилия,— ум против нее был бессилен, бессильно было обаяние; если ее начинали штурмовать слишком упорно, она немедленно переводила роман на чисто чувственную основу, и такая сила была в ее неотразимой красоте, что и самым блестящим, и самым упорным приходилось принимать ее правила игры и отказываться от собственных. Джуди занимало только одно — возможность добиваться своего, утверждая силу собственных чар. Наверное, ее окружало слишком много юного поклонения, слишком много юных поклонников, и, защищаясь от них, она научилась не нуждаться ни в ком, кроме самой себя.

Упоение первых дней сменилось у Декстера тревогой и разочарованием. Растворяясь в Джуди, он чувствовал, что этот его беспомощный экстаз не исцеляет, а лишь дурманит, как наркотик. К счастью для его работы, в ту минуту такие минуты экстаза перепадали ему не часто. Какое-то время в начале их знакомства казалось, что влечение их сильное и взаимное,— например, те три дня в августе, три долгих вечера в темноте ее веранды, странные, обессиливающие поцелуи днем, в затененных комнатах или в саду, в увитых зеленью беседках, три утра, когда она была свежа, как заря, и в разгоравшемся свете дня встречала его взгляд почти с робостью. Он был счастлив, как жених, и оттого, что не был женихом, лишь острее ощущал свое счастье. В один из тех дней он впервые попросил ее стать его женой. Она сказала: «Может быть, когда-нибудь...», потом: «Поцелуй меня», потом: «Как я хочу быть твоей женой», потом: «Я люблю тебя», потом... потом она уже ничего не говорила.

На четвертый день приехал какой-то ее знакомый из Нью-Йорка и прогостил в их доме до середины сентября. К невыразимой муке Декстера, поползли слухи, что она с ним обручилась. Молодой человек был сыном президента какого-то концерна. Но через месяц стало известно, что Джуди скучает. На одном балу она просидела весь вечер в моторной лодке с одним из своих местных поклонников, а нью-йоркский гость носился по клубу и искал ее. Местному поклоннику она сказала, что гость ей до смерти надоел, и через два дня гость уехал. Ее видели с ним на вокзале и потом рассказывали, что вид у него был вполне похоронный.

Так кончилось лето. Декстеру было двадцать четыре года, и с каждым днем его возможности становились все шире. Он вступил в два городских клуба и в одном из них

поселился. В отличие от многих своих сверстников он не сделался завсегдатаем клубных балов, но на те балы, где могла появиться Джуди Джонс, всегда заглядывал. Ему были бы рады в лучших домах города — он считался хорошей партией, и преуспевающие дельцы с дочерьми на выданье очень его привечали. А то, что Декстер открыто исповедовал преданность Джуди Джонс, завоевывало ему еще большее уважение. Но он не стремился к светским успехам и презирал молодых людей, которые толкуются на танцах по четвергам и субботам и не прочь отобедать с молодыми супружескими парами, если кого-то не хватает для ровного счета. Декстер уже подумывал о том, чтобы перебраться на Восток — в Нью-Йорк. И Джуди Джонс он был намерен увезти с собой. Как ни сильно было его разочарование миром, где она выросла, противостоять ее очарованию он не мог.

Запомним это, иначе нам не понять, на что он ради нее пошел.

Через полтора года после того, как Декстер познакомился с Джуди Джонс, он сделал предложение другой девушке. Звали эту девушку Айрин Ширер, и ее отец был одним из тех столпов города, кто с самого начала прочил Декстеру большое будущее. Айрин была миловидная, склонная к полноте блондинка, скромная и положительная, у нее было два серьезных претендента, но, когда Декстер попросил ее руки, она их деликатно отдала.

Лето, осень, зиму, весну, еще одно лето и еще одну осень отдал Декстер неумным губам Джуди Джонс. Она платила ему поощрением, интересом, коварством, равнодушием, насмешкой. Она заставила его пережить множество мелких обид и унижений, как бы мстя за то, что когда-то он мог ей нравиться. Заманив его, она тут же начинала зевать от скуки, манила снова, и в нем закипали горечь и гнев. Она дала ему величайшее счастье и причинила невыразимые муки. Чем только он ради нее не поступался, на какие только жертвы не шел. Она его оскорбляла, топтала его ногами, заставляла пренебрегать ради нее работой — просто так, для забавы. Но вот одного она не делала никогда — она его не критиковала, а все потому, думал он, что не хотела замутить того безграничного и вполне искреннего равнодушия, которое к нему проявляла.

Пришла и снова ушла осень, и он в первый раз подумал, что Джуди Джонс не для него. Долго ему пришлось убеждать себя в этом, но наконец он смирился.

Лежа ночью в постели, он часами спорил с собой. Вспоминал обиды и неприятности, которые ему пришлось из-за нее пережить, разбирал, почему жена из нее получилась бы хуже некуда. Потом признавался себе, что любит ее, и на том засыпал. Целую неделю он одержимо занимался делами — чтобы ему не слышался ее грудной голос по телефону и не виделся за столиком напротив ее глаза, — а вечером садился у себя в кабинете за стол и обдумывал планы на долгие годы вперед.

Через неделю он поехал в клуб и во время танцев всего один раз перехватил Джуди у ее кавалера. Наверное, впервые за все время их знакомства он не попросил ее посидеть с ним в саду и не сказал ей, как она хороша. Он огорчился, что она этого и не заметила, — но и только. Он не почувствовал ревности, увидев, что сегодня у нее опять новый поклонник. Он давно отучил себя ревновать.

На вечере он пробыл долго. Больше часу сидел возле Айрин Ширер и говорил с ней о литературе и музыке. И то и другое он знал очень плохо. Но теперь у него появилась возможность располагать своим временем, и он не без самодовольства считал, что ему, Декстеру Грину, молодому, но неслыханно удачливому дельцу, следует в таких вещах разбираться.

Дело было в октябре, и Декстеру шел двадцать шестой год. В январе он сделал предложение Айрин. О помолвке решил объявить в июне, а в начале осени сыграть свадьбу.

Северная зима тянулась бесконечно, и только в конце апреля подули теплые ветры и в озеро Черного Медведя побежали ручьи. В первый раз больше чем за год Декстер чувствовал что-то вроде успокоения. Джуди Джонс уехала во Флориду, потом в Хот-Спрингс, с кем-то обручилась, расторгла помолвку. Сначала, когда Декстер только что отступился от нее, ему было тяжело, что в городе его все еще связывают с Джуди и постоянно о ней спрашивают, но, когда во время обедов его стали сажать рядом с Айрин Ширер, расспросы прекратились — теперь уже другие рассказывали ему о Джуди. Он перестал быть источником сведений о ней.

И вот наступил май. Декстер бродил вечерами по улицам во влажной, набухающей дождем темноте и думал, что в нем почти не осталось радости, она исчезла так быстро, и так мало для этого понадобилось. Ровно год назад, тоже в мае, Джуди завертела его в водовороте своей непростительной,

и все-таки прощаемой ей безудержности — и он поверил на короткий миг, как верил еще раз или два, что она его полюбила. И эту-то крупицу счастья он отдал за нынешний груз спокойствия. Айрин, он знал, будет для него лишь тень за спиной, голос, разговаривающий с детьми, рука, разливающая чай... восторг и красота исчезли, исчезло волшебство ночей и чудо сменяющих друг друга времен года... прелестных губ с опущенными уголками, которые тянутся к его губам, увлекая в блаженство глаз... Память держала его цепко. Слишком он был силен и полон жизни, чтобы дать своей любви легко умереть.

В середине мая, когда весна несколько дней медлит на шатком мостике, готовясь шагнуть в зрелое лето, Декстер пришел как-то вечером к Айрин. Через неделю объявят об их помолвке и все примут эту новость как должное. А сегодня вечером они будут сидеть рядом в гостинной Университетского клуба и смотреть на танцующих. Ему было с ней надежно, покойно — она была в городе всеобщей любимицей, все в один голос восхищались ее достоинствами.

Он поднялся на крыльцо особняка Ширеров и вошел в переднюю.

— Айрин! — позвал он.

Из гостиной вышла миссис Ширер.

— Здравствуйте, Декстер. У Айрин ужасно разболелась голова, она ушла к себе. Она хотела ехать с вами, но я ее уложила в постель.

— Что-нибудь серьезное?

— Нет, пустяки. Завтра утром она будет играть с вами в гольф. А сегодня вы уж ее простите, Декстер.

Она ласково улыбалась ему. Они с Декстером нравились друг другу. Он несколько минут поболтал с ней и простился.

В Университетском клубе, где он жил, он не сразу прошел к себе, а задержался на минуту в дверях, разглядывая танцующих. Прислонился к косяку, кивнул одному приятелю, другому, зевнул...

— Это ты, милый, здравствуй!

Он вздрогнул, услышав рядом знакомый голос. Это Джуди Джонс бросила своего кавалера и подбежала к нему — Джуди Джонс, изящная фарфоровая статуэтка в золотом платье, с золотой лентой в волосах, в золотых туфельках, выглядывающих из-под платья. Она улыбнулась, вспыхнув своим тонким, неверным румянцем. По залу пронеслось дыхание тепла и света. Он судорожно

сжал кулаки в карманах смокинга. Его вдруг охватило волнение.

— Когда ты приехала? — спросил он равнодушно.

— Пойдем, я тебе все расскажу.

Она скользнула в дверь, он за ней. Ее не было — и вот она вернулась, от этого чуда он готов был разрыдаться. Где-то далеко она ходила по замороженным улицам, что-то делала, и это кружило голову, как музыка. Все тайны, все пьянящие кровь молодые надежды, которые исчезли вместе с ней, с ее возвращением ожили.

На крыльце она обернулась.

— Твой автомобиль здесь? Если нет, сядем в мой.

— Здесь.

Зашуршало золотое платье. Он хлопнул дверцей. К скольким автомобилям она подходила, садилась вот так, откидывалась на спинку сиденья, клала локоть на дверцу... и ждала. Она бы уж давно запачкалась, если бы кто-то мог испачкать ее — кто-то, кроме нее самой, — но ведь в этом-то и была ее сущность.

Он с усилием заставил себя завести мотор и задним ходом выехал на улицу. Все это ничего не значит, говорил он себе. Она уже не первый раз так с ним поступает, и он вычеркнул ее из своей жизни, как вычеркивает из бухгалтерской книги неправильный расчет.

Он медленно ехал по центру, делая вид, что поглощен своими мыслями; улицы были пустынные, только из кинематографов выходил народ, да возле бильярдных стояли кучки молодых людей чахоточного вида или могучих, как борцы. Звенели стаканы, и стучали кулаки по стойкам в барах, которые проплывали мимо островками грязно-желтого света из мутных окон.

Она в упор смотрела на него, и молчание было тягостно, но он не мог осквернить эту минуту банальными словами. У перекрестка он повернул обратно, к Университетскому клубу.

— Ты скучал обо мне? — вдруг спросила она.

— О тебе все скучали.

Интересно, знает ли она об Айрин Ширер, думал он. Ведь она здесь всего один день — его обручение почти совпало с ее отъездом.

— Вот так ответ! — Джуди грустно засмеялась — без всякой грусти. И пытливо посмотрела на него. Он не отрывал глаз от спидометра. — Ты красивей, чем был раньше, — задумчиво сказала она. — У тебя такие глаза, Декстер, их просто невозможно забыть.

Он мог бы рассмеяться в ответ, но он не стал смеяться. Такие комплименты действуют только на первокурсников. И все же сердце у него дрогнуло.

— Мне так все надоело, милый.— Она ко всем так обращалась — «милый», небрежно и дружелюбно, но для каждого была особая, только ему предназначенная интонация.— Давай поженимся.

Это было так в лоб, что он растерялся. Сейчас бы и сказать ей, что он женится на другой, но этого он не мог. Как не мог бы дать клятву, что никогда ее не любил.

— Мне кажется, мы уживемся,— продолжала она тем же тоном,— если, конечно, ты не забыл меня и не влюбился в другую.

Ее самонадеянность была поистине безмерна. Она сейчас, по сути, сказала ему, что никогда такому не поверит, а если он и влюбился, это всего лишь мальчишеская глупость — наверное, он просто хотел досадить ей. Она его простит, потому что это все пустяки, о которых и говорить не стоит.

— Ну конечно, ты мог любить только меня,— продолжала она.— Мне нравится, как ты меня любишь. Дексгер, Декстер, неужели ты забыл прошлое лето?

— Нет, не забыл.

— Я тоже.

Что это — искренний порыв или она увлеклась собственной игрой?

— Как бы я хотела все вернуть,— сказала она, и он принудил себя ответить:

— Это невозможно.

— Да, наверное, невозможно... Я слышала, ты всю ухаживаешь за Айрин Ширер.

Она произнесла это имя без малейшего нажима, но Декстеру вдруг стало стыдно.

— Отвези меня домой,— вдруг приказала она,— не хочу я возвращаться на этот дурацкий вечер, танцевать с этими мальчишками.

Он стал разворачиваться, и тут заметил, что Джуди тихо плачет. Он никогда раньше не видел ее слез.

Улица стала светлее, их окружили богатые особняки, и вот наконец белая громада ее дома, дремотно-торжественная, залитая светом яркой, будто только что умытой луны. Внушительность особняка поразила Декстера. Массивные стены, стальные балки, высота, размеры, роскошь лишь оттеняли ее красоту и юность. Дом для того был солидный, прочный, чтобы подчеркнуть ее хруп-

кость, чтобы показать, какой ураган могут поднять крылья бабочки.

Он сидел как каменный, в страшном напряжении, он знал—стоит ему шелохнуться, и она неотвратно окажется в его объятиях. По ее мокрым щекам скатились две слезы и замерли, дрожа, над верхней губой.

— Я такая красивая, красивей всех,—горестно прошептала она.—Отчего я не могу быть счастлива?—Взгляд ее залитых слезами глаз убивал его решимость... Уголки ее губ медленно опустились с невыразимой скорбью.—Я бы вышла за тебя, если ты меня возьмешь. Наверное, ты думаешь, что я того не стою, но я буду такая красивая, ты увидишь, Декстер.

Гнев, гордость, ненависть, страсть, нежность рвались с его уст потоком упреков и признаний. Потом нахлынула неудержимая волна любви и унесла с собой остатки разума, сомнений, приличий, чести. Его звала она, его единственная, его красавица, его гордость.

— Ты разве не зайдешь?—Она прерывисто вздохнула.

Оба ждали.

— Ну что ж.—Голос у него дрожал.—Зайду.

V

Странно, что когда все кончилось, он ни в первые дни, ни потом, долгое время спустя, ни разу не пожалел о той ночи. И разве важно было через десять лет, что увлечение Джуди длилось лишь месяц. Разве важно было, что, уступив ей, он обрек себя на еще большие мучения, что он оскорбил Айрин Ширер и ее родителей, которые уже приняли его как сына. Горе Айрин было не слишком ярким и не запечатлелось в его памяти.

Декстер был в глубине души реалист. Ему было все равно, как отнесся к его поступку город,—не потому, что он собирался отсюда уезжать, а потому, что посторонние могли судить о нем лишь поверхностно. Мнение общества его ничуть не интересовало. Когда же он понял, что все напрасно, что не в его силах ни затронуть сердце Джуди Джонс, ни удержать ее, он не стал ее винить. Он любит ее и будет любить, пока не состарится, но она не для него. И он изведal высшее страдание, которое дается только сильным, как раньше изведal, хоть и на короткий миг, высшее счастье.

Даже та смехотворная ложь, которую Джуди придумала, чтобы расстаться с ним — она, мол, не хочет разлучать его с Айрин, — это Джуди-то, которая только того и хотела, — не возмутила его. Он был неспособен ни возмущаться, ни иронизировать.

В феврале он уехал на Восток, намереваясь продать прачечные и обосноваться в Нью-Йорке, но через месяц Америка вступила в войну, и это изменило все его планы. Он съездил домой, передал дела компаньону и в конце апреля уже проходил подготовку в первом из учебных лагерей, которые появились в стране. Он принадлежал к тем молодым людям, которые встретили войну чуть ли не с радостью, как избавление от душевной путаницы.

VI

Наш рассказ — не история его жизни, вы это помните, хотя порой нам случалось отвлекаться от тех зимних мечтаний, которым он предавался в юности. Мы уже почти простились с ними, да и с ним самим тоже. Осталось только рассказать один эпизод, который произошел семь лет спустя.

Произошел он в Нью-Йорке, где Декстер преуспел, да так, что теперь для него не было ничего недоступного. Ему шел тридцать третий год, и, не считая одной короткой поездки в Миннесоту сразу после войны, он семь лет не был на родине. К нему в контору пришел по делам некто Девлин из Детройта, и тут-то и произошел тот самый эпизод, который и закрыл, так сказать, эту главу в его жизни.

— Так, значит, вы со Среднего Запада, — сказал Девлин не без любопытства. — Забавно: я думал, такие, как вы, рождаются и вырастают прямо на Уолл-стрит. А знаете, жена одного из моих детройтских друзей ваша землячка. Я был шафером у них на свадьбе.

Декстер слушал, не подозревая, что его ждет.

— Джуди Симмс, — буднично сказал Девлин, — в девичестве Джуди Джонс.

— Да, я знал ее. — В нем всколыхнулось глухое нетерпение. Ну конечно, он слышал, что она вышла замуж, — и потом старался ничего больше о ней не слышать.

— Очень славная женщина. — Девлин вздохнул, непонятно чему сокрушаясь. — Мне ее очень жалко.

— Почему? — Декстер мгновенно насторожился.

— Да понимаете, Людвиг катится по наклонной плоскости. Вы не думайте, жестоко он с ней не обращается, но он пьет, развлекается на стороне...

— А она разве не развлекается?

— Нет. Сидит дома с детьми.

— Вот как.

— Старовата она для него,— сказал Девлин.

— Старовата! — вскричал Декстер. — Господь с вами, да ей всего двадцать семь лет!

Его охватило дичайшее желание броситься на улицу, сесть в поезд и ехать в Детройт. Он резко встал.

— Вы, вероятно, заняты,— поспешно извинился Девлин. — Я не учел...

— Нет, я не занят,— сказал Декстер, овладев своим голосом. — Я ничуть не занят. Ничуть. Так вы сказали, что ей всего двадцать семь лет... Нет, это я сказал, что ей двадцать семь лет.

— Да, вы,— безразлично подтвердил Девлин.

— Ну так рассказывайте, рассказывайте.

— О чем?

— О Джуди Джонс.

Девлин обескураженно смотрел на него.

— Да что ж... я уже все рассказал. Обращается он с ней скверно. Но разводиться они, конечно, не собираются. Она прощает даже самые безобразные его выходки. Знаете, я склонен думать, она его любит. Когда она приехала в Детройт, она была хорошенькая.

Хорошенькая! Его слова показались Декстеру верхом нелепости.

— А разве сейчас она перестала быть... хорошенькой?

— Да нет, она ничего.

— Слушайте,— сказал Декстер, неожиданно садясь. — Я вас не понимаю. То вы говорите, она была «хорошенькая», то — «ничего». Я не знаю, как вас понять. Джуди Джонс была не хорошенькая, о нет! Джуди Джонс была редкостная красавица. Я ведь знал ее, хорошо знал. Она...

Девлин вежливо засмеялся.

— Да нет, я не собираюсь ссориться с вами,— сказал он. — По-моему, Джуди очень славная, и мне она нравится. Правда, я не понимаю, как мужчина вроде Симмса мог потерять из-за нее голову, но это уж его дело. — И добавил: — Нашим дамам она почти всем нравится.

Декстер пристально вглядывался в Девлина, в голове вертелась сумасшедшая мысль: нет, что-то тут не так, этот человек слеп или, может быть, им движет тайная злоба.

— Многие женщины так быстро отцветают,— сказал Девлин.— Вы, я думаю, и сами видели. Наверное, я просто забыл, какая хорошенькая она была на свадьбе. Мы ведь так часто видимся. У нее хорошие глаза.

На Декстера нашло отупение. Впервые в жизни ему захотелось напиться. Он громко смеялся чему-то, что говорил Девлин, но не понимал, что он говорит и почему это смешно. Через несколько минут Девлин ушел, и тогда Декстер опустился в кресло и стал смотреть в окно, на нью-йоркское небо, где над крышами тлел блеклый красно-золотой закат.

Он-то думал, что теперь, когда ему нечего терять, он наконец-то стал неуязвим для горя—и вот еще одна потеря, он чувствовал ее так остро, как будто Джуди Джонс стала его женой и на его глазах отцвела.

Мечтать было не о чем. Что-то ушло из его жизни. Он в страхе зажал ладонями глаза, чтобы опять увидеть бегущую по озеру рябь, веранду в лунном свете, голубое платье на дорожке и яркое солнце.. увидеть нежный золотой пушок на ее затылке, нежные печальные глаза, ее утреннюю полотняную свежесть, почувствовать под своими поцелуями ее влажный рот. Всего этого уже нет! Было когда-то, а теперь нет.

В первый раз за много лет он заплакал. Но плакал он о себе. Глаза, рот, мелькающие среди волн руки—он жалел не о них. Хотел жалеть о них, но не мог. Возврата не было, слишком далеко он ушел. Двери захлопнулись, солнце село, и в мире не осталось иной красоты, кроме седой красоты стали, над которой не властно время. Он не ощущал даже горя, горе принадлежало стране очарований, стране юности и бьющей через край жизни, где так чудесно мечталось зимой.

— Когда-то давно,— сказал он,— все это во мне было. А теперь ничего нет. Ничего нет, ничего. Я не могу плакать. И жалеть не могу. И всего этого не вернуть.

АЛМАЗНАЯ ГОРА

I

Род Джона Т. Ангера был на отменном счету в Геенне — есть такой городок на Миссисипи. Отец Джона из года в год в жарких боях завоевывал первенство по гольфу среди любителей; миссис Ангер славилась, по местному выражению, «на все котлы и сковороды» своим зажигательным предвыборным красноречием; самому Джону Т. Ангеру едва исполнилось шестнадцать, однако новейшие нью-йоркские танцы он откалывал еще в коротких штанишках. И вот теперь ему предстояло на какое-то время расстаться с родным домом. Вся провинция, как известно, донельзя чтит учебные заведения Новой Англии: на алтарь этого почтения провинциалы приносят цвет своей молодежи, и родители Джона не остались в стороне. Непременно надо было, чтобы он отправился в колледж святого Мидаса близ Бостона — не прозябать же их драгоценному и одаренному сыну в Геенне!

А в Геенне — кто бывал там, тот знает — фешенебельные закрытые школы и колледжи едва различают по названиям. Местные жители давным-давно отстали от мира сего, и хоть и очень стараются поспеть за модой, но живут большей частью понаслышке. Чикагской ветчинной принцессе их одежда, манеры и литературные вкусы, конечно, покажутся «как-то слегка прошлогодними».

Джон Т. Ангер был готов к отъезду. Миссис Ангер по-матерински набила его чемоданы летними костюмами и вентиляторами, а мистер Ангер презентовал сыну туго набитый асбестовый бумажник.

— Помни, здесь тебе всегда будут рады, — сказал он. — Семейный очаг не остынет, будь уверен, мальчик.

— Я знаю,—сглотнул комок Джон.

— И не забывай, кто ты и откуда родом,—горделиво добавил отец,—это убережет тебя от неверных поступков. Ты—Ангер из Геенны.

Родитель и сын пожали друг другу руки, и Джон пустился в путь, обливаясь слезами. Через десять минут, покидая пределы города, он остановился и обернулся на прощанье. Старинная, викторианская надпись над воротами была ему чем-то отрадна. Отец все время предлагал сменить ее на что-нибудь бодрое и доходчивое, скажем: «Вот вы и в Геенне» или просто на «Добро пожаловать», а пониже выложить лампочками сердечное рукопожатие. Мистер Ангер считал, что старая надпись какая-то мрачноватая, но вот поди ж ты...

Джон поглядел—и обратился навстречу судьбе. И небесный отсвет оставленных позади огней Геенны был, казалось, исполнен теплой и яркой прелести.

От Бостона до колледжа святого Мидаса полчаса на «роллс-ройсе». Сколько в милях—навек останется тайной, ибо, кроме Джон Т. Ангера, никто не приезжал туда иначе, как на «роллс-ройсе», да, пожалуй, никто и не приедет. Это колледж для избранных—самый дорогой колледж в мире.

Первые два года прошли очень приятно. Джон учился с отпрысками денежных тузов и в каникулы гостил на модных курортах. Его гостеприимные сверстники ему вполне нравились, но отцы их были все на один покров; по молодости лет он часто дивился их поразительной неразличимости. Когда он говорил, откуда он, они неизменно шутили: «Ну и как у вас там, припекает?»—а Джон по мере сил улыбался и отвечал: «Да не без того». Он бы, может, и сказал что-нибудь подходящее, но уж очень они все одинаково шутили, разве что кто-нибудь спрашивал иначе: «Ну и как вам там, не холодно?»—отчего у него опять-таки с души воротило.

К концу третьего семестра среди одноклассников Джона появился тихий, изящный юноша по имени Перси Вашингтон. Новичок был приветлив в обращении и на редкость хорошо одет—даже в колледже святого Мидаса это бросалось в глаза,—но держался как-то особняком. Близко он сошелся только с Джоном Т. Ангером, но и с ним отнюдь не откровенничал насчет дома и семьи. Ясно было, что он из богатых и все такое, но вообще-то

Джон почти ничего не знал о своем приятеле, и любопытство его прямо-таки разыграло, когда Перси пригласил его на лето к себе, «на Запад». Он не заставил себя упрашивать.

И только в поезде Перси впервые немного разговаривался. Однажды, когда они обедали в вагоне-ресторане и язвительно обсуждали однокашников, Перси вдруг заметил совсем новым тоном:

— Мой отец намного богаче всех в мире.

— А-а,— вежливо отозвался Джон. Непонятно было, что бы еще сказать на такое признание. «Это замечательно» — не прозвучит, и он чуть было не сказал: «В самом деле?», — но вовремя спохватился: вышло бы, что он сомневается в словах Перси. А в таких поразительных словах сомневаться, пожалуй, не следовало.

— Намного богаче,— повторил Перси.

— Помню, я читал в справочнике,— решил Джон,— что в Америке есть один человек с годовым доходом пять миллионов и четверо, у кого свыше трех миллионов...

— Тоже мне богачи.— Перси брезгливо скривил рот.— Крохоборы-капиталистики, банкиришки, торгаши и ростовщики. Отец мой их всех скупит и сам того не заметит.

— Почему же тогда...

— Почему его нет в справочнике? Да потому, что он не платит подоходного налога. Платит какие-то там гроши, но не с дохода, а так.

— Вот уж, наверно, богатый человек,— простодушно заметил Джон.— И прекрасно. Я как раз люблю очень богатых. Чем богаче, тем лучше — по-моему, так.— Его смуглое лицо сияло искренностью.— Прошлую Пасху я гостил у Шнитцлеров-Мэрфи. И у Вивьен Шнитцлер-Мэрфи были рубины с куриное яйцо и такие лучистые сапфиры, как фонарики...

— Камни — это да,— восторженно поддержал Перси.— Конечно, в колледже об этом никому знать не надо, но у меня у самого есть неплохая коллекция. Камни собирать интереснее, чем марки.

— А какие алмазы бывают,— мечтательно продолжал Джон.— У Шнитцлеров-Мэрфи были алмазы с грец-кий...

— Дребедень.— Перси склонился к приятелю и глухо зашептал: — Побрякушки. У моего отца алмаз — побольше, чем отель «Риц-Карлтон».

Закат в горах Монтаны сгустился между двумя вершинами, как громадный синяк, и темные вены расползлись от него по изувеченному небу. Небо отпрянуло в горнюю высь от деревушки Саваоф — крохотной, унылой, безвестной. По слухам, там жило двенадцать человек, двенадцать темных и загадочных душ, извлекавших пропитание из голого, почти совсем голого камня, на котором они произросли, неведомо как и почему. Они стали особой породой, эти двенадцать саваофцев, как будто природа сперва расщедрилась на новую тварь, а потом опомнилась и оставила их копошиться и гибнуть.

Из далекого иссиня-черного сгустка в скалистую пустошь выползла цепочка огней, и двенадцать саваофцев возникли, как призраки у станционного сарайчика, навстречу семичасовому трансконтинентальному экспрессу из Чикаго. Примерно шесть раз в год трансконтинентальный экспресс, повинаясь непостижимому расписанию, останавливался у платформы Саваоф, и кто-то сходил с поезда, садился в коляску, поданную из сумерек, и исчезал во тьме закатного синяка. Саваофцы глазели на это нелепое и диковинное происшествие, словно соблюдали некий обряд. Глазели, и только: в них не было ни капли того одушевленного воображения, которое побуждает любопытствовать и размышлять, а то бы вокруг этих таинственных событий народилась своя религия. Но саваофцы жили помимо всякой религии: самые дикие и простые христианские верования и те не прижились бы на этой скале. У них не было ни алтаря, ни жреца, ни жертвоприношений; просто народ каждый день к семи вечера стекался к станционному сараю и возносил взамен молитвы смутное и вялое изумление.

В этот июньский вечер Главный Кондуктор, которого саваофцы считали бы богом, если б бог им был нужен, повелел, дабы семичасовой поезд сгрузил людей (или нелюдь) в Саваофе. В две минуты восьмого Перси Вашингтон и Джон Т. Ангер сошли с подножки, промелькнули перед замороженными, распахнутыми, испуганными глазами двенадцати мужчин, уселись в коляску, которая явилась ниоткуда, и уехали.

Через полчаса, когда полумрак сгустился дотемна, молчаливый кучер-негр окликнул что-то черное впереди. На окрик вспыхнул рдяный диск, словно воспаленный

глаз злобно уставился из непроглядной тьмы. Они подъехали ближе, и Джон понял, что это задний фонарь автомобиля, громадного и роскошного. Металл его корпуса отливал никелем и отблескивал серебром; втулки искрились зелено-желтым геометрическим узором — бисерным, а может, и самоцветным, — Джон не рискнул гадать.

Два негра в расшитых ливреях, как с картины лондонской королевской процессии, стояли навытяжку у автомобиля и приветствовали молодых людей, вылезших из коляски, на языке, непонятном гостю, но похожем на исконное негритянское наречие Юга.

— Садись, — сказал Перси приятелю, когда их чемоданы забросили на эбеновую крышу лимузина. — Жаль, что пришлось тебя слегка протрясти, но сам понимаешь — куда ж с таким автомобилем на глаза пассажирам или этому разнесчастному саваофскому отребью.

— Ух ты! Ну и авто! — вырвалось у Джона при виде внутреннего убранства автомобиля. Его взгляду представала парчовая обивка, сплошь затканная тонкими шелковыми узорами, вся в крапинках драгоценных камней.

Приятели развалились в кресельных сиденьях, пышный ворс которых переливался всеми оттенками страусиного пера.

— Ну и авто! — повторил изумленный Джон.

— Колымага-то? — рассмеялся Перси. — Да это старая рухлядь, она у нас для поездок на станцию.

Тем временем автомобиль мчался в темноте по направлению к перевалу.

— Через полтора часа будем на месте, — сказал Перси, взглянув на часы. — Кстати уж скажу тебе, что ничего подобного ты в жизни не видел.

Если и все прочее было под стать автомобилю, то Джона в самом деле ожидало необычайное. В Геемне простодушно и благочестиво преклонялись перед богатством с пеленок, всей душою чтили его, и не дай бог Джон нарушил бы эту заповедь умиления — родители отреклись бы от него, не стерпев такого кощунства.

Они достигли ущелья, углубились в него, и дорога почти сразу стала ухабистой.

— Если б сюда пробивалась луна, посмотрел бы ты, какое ущелье, — сказал Перси, щурясь в темное окошко. Он что-то приказал в микрофон, и лакей тут же включил прожектор, мощным лучом хлестнувший по горным склонам.

— Видишь, кругом осыпи. Обычный мотор разнесло бы на куски в полчаса. Не зная дороги, здесь и на танке-то едва проберешься. Вот заметь, вверх пошло.

Чувствовалось, что они едут в гору. Через минуточку другую автомобиль вынырнул у гребня, и вдали мелькнула бледная, юная луна. Внезапно они остановились, и вокруг возникли из темноты какие-то фигуры — снова негры. Молодых людей приветствовали все на том же полувнятном наречии; затем негры принялись за работу и зацепили крючья четырех гигантских тросов, свисавших откуда-то сверху, за ступицы огромных самоцветных колес. Раздалось «Э-гей!» — и Джон ощутил, как автомобиль медленно оторвался от земли и взмыл ввысь — над самыми высокими скалами с обеих сторон, и еще выше, и под ними открылась лунная долина, такая непохожая на покинутое кремнистое крутогорье. Справа высилась скала — а потом и ее не стало, кругом было чистое небо.

Очевидно, они перенеслись за каменное лезвие высокого горного отрога и все еще поднимались. И тут же стали спускаться и наконец, подпрыгнув, приземлились на равнине.

— Остальное пустяки, — сказал Перси, глянув в окно. — Отсюда всего пять миль, и дорога наша собственная — брусчатка — до самого дома. Как говорит отец, здесь Соединенные Штаты кончаются.

— Мы разве в Канаде?

— Нет, зачем же. Мы в Монтане, в Скалистых горах. Только вот этих пяти квадратных миль нет ни на одной карте.

— А почему? Пропустили?

— Да нет, — усмехнулся Перси, — три раза нас пробовали засечь. Первый раз мой дед подкупил все геодезическое управление; другой раз ему удалось подправить официальную карту — и пятнадцать лет никто не совался. Зато в последний раз была сущая морока. Отец мой соорудил сильнейшее искусственное магнитное поле, чтобы отклонить их компасы. Он изготовил целую партию геодезических приборов с изъяном, таких, чтоб пропускали это место, и подменил точные. Еще он отвел реку, и на берегу сделали кой-какие постройки — чтоб казалось, будто это городок в долине, от нас за десять миль. В общем, отец мой только одного боится, — закончил он, — одна только и есть для нас опасность в мире.

— Какая?

Перси перешел на шепот.

— Аэропланы,— вздохнул он.— У нас есть с полдюжины зепиток, и пока справляемся— правда, несколько убитых и много пленных. Мы-то с отцом понимаем, что это в порядке вещей, а мама с девочками огорчаются. Но в другой раз все может обернуться не так благополучно.

Зеленая луна сияла из-за мохнатых облаков, которые стелились перед нею в изумрудном небе, словно драгоценные восточные ткани пред очами татарского хана. Джону померещилось, что сейчас день и что он видит в небе авиаторов, сыплющих с борта назидательные брошюры и лекарственные рекламки, обнадеживая унылое деревенское захолустье. Ему показалось, будто они парят и вглядываются— разглядывают то, что он сейчас увидит,— а потом? А потом их как-нибудь хитростью заманивают на землю и держат до скопчения дней в заточении: ни тебе лекарств, ни брошюрки. Или, если заманить не удастся, откуда-то вылетает клуб дыма, рвется снаряд, аэроплан обрушивается наземь, а мать и сестры Перси «огорчаются»? Джон встряхнул головой, и глухой смешок сорвался с его губ. Какие за всем этим кроются жестокости? Как властвует этот страшный Крез? Что это за жуткая, вызолоченная тайна?..

Шерстистые облака уплыли, и горная ночь была яснее дня. Огромные шины катили по ровной брусчатке; дорога обогнула тихое, залитое луной озеро и углубилась в прохладный, смолистый мрак сосновой рощицы; затем вывела на луг, и Джон вскрикнул от восторга, а Перси коротко заметил: «Приехали».

Осиянный звездным светом, на берегу озера стоял дивный дворец вполвысоты горы, к которой он прильнул во всей своей мраморной прелести, ровно и мягко вписываясь в густой нагорный сосняк. Бесчисленные башенки, ажурные кружева косых балюстрад, узорная прорезь тысячи треугольных, квадратных, шестиугольных окон, излучавших золотистый свет, зыбкое смешение синих теневых полос со звездными струями— все это отдалось трепетным аккордом в душе Джона. Верхушка одной из башен, самой высокой и исчерна-темной снизу, была увенчана сказочным сонмом огней, и когда Джон позвел к ним очарованный взгляд, до земли донеслось томное пение скрипок: таких изнеженных созвучий он никогда еще не слышал. Автомобиль остановился перед просторным и длинным мраморным сходом, овеванным ароматами цветов. За верхней ступенью бесшумно распахнулись стрельчатые двери, и в ночь хлынул янтарный

свет, озаривший великолепный силуэт темноволосой дамы с высокой прической. Она простерла к ним руки.

— Мама,— произнес Перси,— это мой друг, Джон Ангер из Геенны.

В памяти Джона этот первый вечер остался сумятицей красок, мгновенных впечатлений, музыки, нежной, как любовное признание; чарующим хороводом бликов и теней, мельканьем движений и лиц. Вспоминался статный седой мужчина, подносявший к губам хрустальный на золотой ножке фиал с многоцветным питьем. Вспоминалась девушка в одеянии феи, с лилейным личиком, с сапфирами в волосах. Вспоминался пышный покой, где плотные, золотые стены уступали легкому нажатию руки; и покой, подобный платоновскому «узилищу идей» — сверху донизу устланный сплошным алмазным слоем, бриллиантами всех форм и размеров: с фиолетовыми светильниками по углам, он слепил белизной, ни с чем не сравнимой, превыше человеческих помыслов и мечтаний.

Приятели брели чередой покоев. Под ногами у них вспыхивали узоры: то буйная цветовая смесь, то пастельные разводы, то белоснежная глубина, то мозаичные арабески, наверно, скопированные в какой-нибудь адриатической мечети. Под толстым хрустальным настилом расходились сине-зеленые струи, а в них, между радужными сгустками водорослей, мелькали пестрые рыбы. Они шагали по разноцветным и разнообразным мехам, шли по коридорам, выложенным от пола до потолка чистейшей слоновой костью, сплошной, словно из гигантских бивней динозавров, вымерших задолго до появления человека...

Потом они как-то вдруг оказались за столом — и тарелки были цельнобриллиантовые, в два тончайших слоя с прокладкой изумрудной филиграни, будто вырезанные из воздуха. Коридоры источали тихую тягучую музыку — и пуховое кресло, слитое с его спиной, не жило и дурманило его, а он пил свой первый стакан портвейна. Сквозь дрему он пытался ответить на чей-то вопрос — я липучая медвяная нега была поволокой сна: камни, ткани, вина, золото — все расплывалось у него в глазах сладостным туманом...

— Да,— отозвался он из последних сил,— да, там у нас, конечно, припекает.

Он даже чуть подхихикнул; а потом, не шелохнувшись и не противясь, словно бы отплыл от стола и от мороженого, алого, как сон... Он уснул.

Он открыл глаза и почувствовал, что проспал несколько часов. Он был в большой тихой комнате с агатовыми панелями и тусклой подсветкой, такой слабой, такой мягкой... Его юный хозяин стоял над ним.

— Ты уснул за обедом,—сказал Перси.—Я и сам чуть не уснул, так было приятно слегка отдохнуть в нормальной обстановке после года в колледже. Пока ты спал, слуги тебя раздели и выкупали.

— Я в постели или на облаке?—выговорил Джон.—Перси, Перси, не уходи, мне надо извиниться перед тобой.

— За что?

— Что я не поверил тебе про алмаз больше отеля «Риц».

Перси улыбнулся.

— Я так и думал, что ты не согласишься. Это ведь гора.

— Какая гора?

— Возле которой дворец. Она не так уж и велика. Но земли и камня на ней всего футов пятьдесят, а остальное—алмаз. Сплошной алмаз чистой воды, цельная кубическая миля. Ты слушаешь? Скажи...

Но Джон Т. Ангер снова уснул.

III

Настало утро. Просыпаясь, он ощутил, как спальня сразу наполнилась солнцем. Эбеновые панели раздвинулись, и дневной свет хлынул во всю стену. Огромный негр в белой ливрее стоял у его постели.

— Добрый вечер,—пробормотал Джон, силясь очнуться от сонной одури.

— Доброе утро, сэр. Примете ванну, сэр? Нет, не ставьте, я сейчас все сделаю, только будьте добры, расстегните пижаму—вот так. Благодарю вас, сэр.

С покорного Джона содрали пижаму. Ему было забавно и приятно, он ожидал оказаться на руках у этого услужливого черного Гаргантюа, но не тут-то было; ложе его медленно накренилось, и он, слегка оторопев, покатился к стене: обивка раздалась, он проскользил два ядра по бархатистому скосу и погрузился в упоительно теплую воду.

Он огляделся. Спуск или скат, по которому он соскользнул, свернулся в трубку и исчез. Он был в другой комнате и сидел по горло в бассейне, голова над краем.

Его окружал синий аквариум: за стенами комнаты и под бассейном в янтарных лучах резвились рыбы, спокойно проплывая возле его ног, отделенных лишь слоем хрустала. Солнечный свет пробивался сверху сквозь сине-зеленое стекло.

— Полагаю, сэр, что нынче утром вам для начала будет в самый раз горячая розовая вода с мыльной пеной — а потом, пожалуй, холодная морская.

Это над ним склонился негр.

— Да, — нелепо ухмыльнувшись, согласился Джон, — вот именно.

Не с его жалкими и непритязательными привычками распоряжаться таким купаньем — это было бы по меньшей мере самонадеянно, а то и попросту бессовестно.

Негр нажал кнопку, и сверху хлынул теплый ливень; Джон сразу сообразил, что это забил фонтанчик у края бассейна. Вода стала бледно-розовой, из четырех моржовых рылец по углам брызнули мыльные струи. Дюжина маленьких бортовых вертушек в минуту взбила облако сверкающей радужно-розовой пены, которая нежно окутала его, блистая и пузырясь.

— Может, запустить синема, сэр? — почтительно предложил негр. — В аппарат нынче заряжена хорошая смешная лента, а желаете, я сейчас заменю на серьезную.

— Нет, спасибо, — вежливо, но твердо отозвался Джон. Слишком приятна была ему ванна, и отвлекаться не стоило. Но отвлечься все-таки пришлось. Через мгновение его слух заполнился совсем близким мелодическим журчаньем флейт, прохладно-зеленоватым, как сама ванная, и мелодию их вело пузырячатое пиколо, ажурное, словно мыльное кружево, ласково облекавшее его.

Взбодренный прохладной морской водой и холодным пресным душем, он вылез из бассейна, был укутан в мохнатый халат, уложен на пушистую кушетку и растерт маслом, спиртом и ароматами. Переместившись в уютное кресло, он был побрит и подстрижен.

— Мистер Перси ждет вас в гостиной, — сообщил негр, закончив процедуры. — Меня зовут Джигзэм, мистер Ангер, сэр. Я буду прислуживать мистеру Ангеру по утрам.

И Джон вышел в солнечную гостиную, где был накрыт завтрак, и Перси, в ослепительно белых лайковых бриджах, курил, откинувшись в кресле.

За завтраком Перси вкратце поведал Джону историю семьи Вашингтонов.

Отец нынешнего главы семьи, прямой потомок Джорджа Вашингтона и лорда Балтимора, был родом из Виргинии. К концу Гражданской войны ему исполнилось двадцать пять; он имел чин полковника, опустошенную плантацию и тысячу долларов золотом.

Фитцнорман Калпеппер Вашингтон — так звался молодой полковник — решил оставить недвижимость в Виргинии младшему брату и податься на Запад. Он отобрал две дюжины негров — разумеется, преданных ему до обожания, — и купил двадцать пять железнодорожных билетов; от имени негров можно было наарендовать земли и заняться скотоводством.

В Монтане он поистратился за месяц, и дела пошли совсем скверно; тут-то все и случилось. Он поехал в горы, заблудился, остался без еды и проголодал день. Ружья при нем не было, и в погоне за белкой он заметил, что та держит в зубах что-то блестящее. Белке не было суждено уголить собой его голод: она скрылась в дупло, но обронила свою ношу. Фитцнорман присел в печальном раздумье и заметил рядом в траве какое-то мерцание. За десять секунд аппетит его пропал, а капитал возрос до ста тысяч долларов. Белка, никак не желавшая попасть к нему в желудок, одарила его зато крупным бриллиантом чистой воды.

Ближе к ночи он отыскал свой лагерь; еще через полсуток все мужчины-негры вгрызались в гору возле беличьего дупла. Он сказал им, что напал на жилу горного хрусталя. Вряд ли хоть двоим из них случалось видеть алмазы, — и то маленькие, и ему поверили без лишних слов. Когда он понял, на что наткнулся, начались затруднения. Гора оказалась алмазом — цельным, сплошным алмазом. Он набил сверкающими образчиками четыре седельные сумки и поскакал в Сент-Пол. Там он сбыв с рук полдюжины мелких камней, а когда вытащил один побольше, скупщик упал в обморок, и Фитцнормана арестовали как нарушителя общественного спокойствия. Он сбежал из тюрьмы и добрался поездом до Нью-Йорка, где продал несколько алмазов средней величины примерно за двести тысяч долларов золотом. Крупные он не рискнул показывать — и покинул Нью-Йорк как раз вовремя. Среди ювелиров началось страшное волнение —

не оттого, что бриллианты были крупные, а потому что они появились неизвестно откуда. Поползли дикие слухи, будто в Кэтскильских горах, в Нью-Джерси, на Лонг-Айленде, под Вашингтон-сквер обнаружались алмазные залежи. Из Нью-Йорка что ни час отбывали специальные поезда: люди с кирками и совками разыскивали окрестные Эльдорадо. Но к этому времени Фитцнорман уже катил назад в Монтану.

Прошло еще две недели, и он подсчитал, что все мировые алмазные копи вместе взятые вряд ли сравнятся с его горой. И в точности оценить ее было невозможно: ведь это *цельный* алмаз, и если так и пустить его на продажу, то он не только задавит рынок — в мире просто не хватит золота, чтобы купить его десятую часть. Да и кому нужен такой неимоверный бриллиант?

Странная выходила история. Богаче его человека никогда и нигде не было — но чего стоит все его богатство? Если его тайна раскроется — почем знать, что сделает государство, чтобы избежать золотой и бриллиантовой лихорадки? Скорее всего, его собственность реквизируют и установят монополию.

Оставалось только одно — распродавать гору втайне. Он вызвал с Юга младшего брата и препоручил ему черных — тем было невдомек, что рабство упразднено. Для пущей надежности им прочитали самодельную декларацию о том, что генерал Форрест собрал рассеянные южные армии и в решающей битве разгромил врага. Негры ничуть не усомнились в этом. Они единогласно признали, что это очень хорошо, и устроили благодарственное радение.

Фитцнорман захватил с собой сотню тысяч долларов, два чемодана с неотделанными алмазами, крупными и помельче, и отплыл в чужие края. В Россию его доставила китайская джонка: через шесть месяцев он был уже в Санкт-Петербурге. Он снял невзрачную комнатенку и тут же отправился к придворному ювелиру с известием, что у него есть алмаз для государя. Он пробыл в Санкт-Петербурге две недели, спасаясь от убийц постоянными переездами, и за это время всего три-четыре раза прикоснулся к своим чемоданам.

Пообещав вернуться через год с гранеными камнями покрупнее, он был отпущен в Индию. Но еще до этого императорское казначейство перевело на четыре разных счета в американских банках пятнадцать миллионов долларов.

Он вернулся в Америку в 1868 году, пропутешествовав больше двух лет. Он побывал в столицах двадцати двух стран и имел беседы с пятью императорами, одиннадцатью королями, тремя принцами, шахом, ханом и султаном. Свое состояние Фитцнорман к этому времени исчислял в миллиард долларов. Перед его тайнами собой возникали все новые заслоны. Как только он выпускал на свет какой-нибудь крупный бриллиант, тот через неделю обрастал легендами, полными роковых софизмов, интриг, революций и войн — такой длины, что родословную его можно было проследить до Первого Вавилонского царства.

С 1870-го до 1900-го — года смерти Фитцнормана — его история писана золотыми буквами. Были, конечно, и побочные происшествия — он сбивал с толку топографов, женился на виргинской уроженке, которая родила ему единственного сына; пришлось, ввиду прискорбных осложнений, устранить брата: он, к сожалению, пил без удержу и спьяну распускал язык. Но это и немногие другие убийства не омрачили счастливых времен роста и прогресса.

Перед самой смертью Фитцнорман повел дело по-новому: оставив в резерве всего несколько миллионов долларов, он на остальные оптом закупил редкие вещества и разместил их в банковских сейфах по всему миру под видом антикварных коллекций. Сын его, Брэддок Тарлтон Вашингтон, развил ту же идею. Он обменял вещества на редчайший из всех элементов — радий — так что миллиард долларов помещался у него в сигарной коробке.

Через три года после смерти Фитцнормана его сын Брэддок решил, что дело пора закрывать. Они с отцом выкачали из горы столько денег, что подсчитать их в точности было уже невозможно. Шифрованные записи в его блокноте обозначали, сколько примерно радия хранится в каждом из тысячи банков, в которых он был вкладчиком, и на какие фамилии оформлены счета. И он сделал самое простое — запечатал свои алмазные копии.

Да, запечатал копии. Добытого хватит нескольким поколениям Вашингтонов на самую роскошную жизнь. Оставалось только беречь свою тайну: если она откроется, будет паника, и все вкладчики всего мира, с Вашингтонами во главе, станут нищими.

У такой вот семьи в гостях оказался Джон Т. Ангер. И такую вот повесть он услышал наутро по приезде в отведенной ему серебряной гостиной.

После завтрака Джон вышел на высокое крыльцо и стал с любопытством осматриваться. Вся долина, от алмазной горы до гранитного пика за пять миль, была подернута золотистой утренней дымкой, млевшей над мягкими луговыми склонами, над озерами и садами. Купы вязов скапливали легкую тень, и эти теневые островки были до странности непохожи на сине-зеленый сосняк по взгорьям. На глазах у Джона три олененка цепочкой выскочили из куши в полумиле от дворца и веселой трусцой скрылись в ребристом полумраке соседнего перелеска. Если бы среди деревьев показался козлоногий сатир со свирелью или в зелени мелькнула розовая нагота светлокудрой дриады, Джон ничуть бы не удивился.

В тихом уповании на чудо он сошел по мраморным ступеням, чуть потревожив внизу дремоту двух лоснистых русских волкодавов, и доверился дорожке в синих и белых плитках, которая вела неведомо куда.

Ему было несказанно хорошо. Юность — блаженная и ущербная пора: юные не живут в настоящем, а примеряют его к своему блистательному воображаемому будущему; цветы и золото, девушки и звезды — лишь предзнаменования и предвестия этой недостижимой, несравненной юной мечты.

Джон обогнул благоуханные розовые заросли, пошел напрямик через парк и набрел на мшистую лужайку. Ему никогда не случалось лежать на мху, он решил проверить, правду ли об этом пишут. Вдруг он увидел, что навстречу ему по траве идет девушка, самая красивая на свете.

На ней было легкое белое платье чуть ниже колен и веночек из резеды, перевитый сапфирными нитями. Ее босые розовые ножки отрясали росу с травы. Она была младше Джона — лет шестнадцати.

— Здравствуйте, — нежно позвала она. — Я — Кисмина.

Что было Джону до ее имени! Он приблизился к ней, ступая все осторожнее — не наступить бы на ее босые пальчики.

— Мы с вами еще не виделись, — сказал ее нежный голос, а синие глаза прибавили: «И как же вы много потеряли!..» — Вчера вечером вы видели мою сестру Жасмину. А я отравилась салатным листом, — продолжал

голосок, а глаза говорили: «Я всегда такая прелесть — и больная и здоровая».

«Я не могу на вас налюбоваться,— высказали глаза Джона,— я и сам вижу, какая вы...»

— Добрый день,— сказал его голос.— Надеюсь, сегодня вы уже поправились. «Вы чудесная»,— досказал его трепетный взгляд.

Джон заметил, что они снова идут по дорожке. Она предложила присесть на мох, и он уже не мог понять, мягко ему или нет.

К женщинам он был придирчив. Пустяковый изъян — будь то широкая щиколотка, низкий голос или даже очки — отрезвлял его до полного безразличия. И вот впервые в жизни рядом с ним была девушка, которая, на его взгляд, воплощала истое совершенство.

— А вы из восточных штатов? — мило поинтересовалась Кисмина.

— Нет,— честно сказал Джон.— Я из Геенны.

Или это слово ей ничего не говорило, или она не знала, как бы на это помилее отозваться, но она промолчала.

— А я осенью поеду учиться на Восток,— сказала она.— Как вы думаете, мне там понравится? Я в Нью-Йорк поеду, в пансион мисс Балдж. У нее очень строго, но на уикэнды меня все равно будут отпускать домой — у нас свой дом в Нью-Йорке,— а то папа слышал, что там девушки прогуливаются парами и следят друг за другом.

— Ваш отец считает, что вы особенные,— заметил Джон.

— Мы и есть особенные,— отвечала она, и глаза ее гордо сверкнули.— Нас никогда не наказывали. Папа сказал, что нас нельзя наказывать. Однажды моя сестра Жасмина, когда была еще маленькая, столкнула его с лестницы — и он встал, захромал и пошел. А мама — вы знаете, она так поразилась,— продолжала Кисмина,— когда услышала, что вы — ну, оттуда. Она сказала, что в детстве ей говорили — ну, сами понимаете, она родом испанка и воспитана по-старинному.

— А вы ведь здесь не все время живете? — спросил Джон, стараясь не показать, что слова Кисмины его укололи. Ему как будто подчеркнуто намекнули, что он провинциал.

— Перси, Жасмина и я проводим здесь каждое лето, только будущим летом Жасмина поедет в Ньюпорт, а потом, осенью, даже в Лондон. Ее ко двору представят.

— А знаете,— помялся Джон,— я было сперва подумал, что вы такая простая, а вы очень даже светская.

— Ой, вовсе нет,— вскрикнула она.— Ой, не дай бог По-моему, они такие все ужасно вульгарные, правда же? Вовсе я не светская, ни чуточки. Еще так скажете, и я сейчас заплачу

Она так огорчилась, что у нее губы задрожали. Джону пришлось дать задний ход.

— Ну что вы, это я просто так, просто пошутил.

— Да нет, потому что, если бы и светская,— не унилась она,— то ничего, пусть. Но ведь нет же. Я такая неопытная, совсем девочка. Ни курить не умею, ни пить и читаю одни стихи. В математике и в химии ну прямо ничего не смыслю. И одеваюсь очень-очень просто, совсем почти никак не одеваюсь. Вот уж кто не светская, так это я. По-моему, девушки должны расти, как цветы, и радоваться жизни.

— Я тоже так думаю,— от души согласился Джон.

Кисмина повеселела. Она улыбнулась ему, и непролитая слезинка скатилась с ее ресниц.

— Вы хороший,— доверительно прошептала она.— А вы все время будете с Перси или немножечко и со мной? Вы только представьте—я ведь совсем-совсем ничего ни про что не знаю. Даже никто в меня еще не влюблялся. Да я и вообще-то мальчиков не видела—только вот Перси. И я так бежала сюда, чтоб только с вами повидаться.

Крайне польщенный, Джон отвесил глубокий поклон, как его научили в Геенне, в танцклассе.

— А сейчас давайте пойдем,— пролепетала Кисмина.— Мне нужно в одиннадцать быть у мамы. Вы даже ни разу не попробовали меня поцеловать. А я думала, мальчики теперь все такие.

Джон горделиво расправил грудь.

— Есть и такие,— сказал он,— но я не такой. И девушки у нас в Геенне этого не позволяют.

И они рядышком побрели ко дворцу.

VI

Брэддок Вашингтон предстал Джону в ярком солнечном свете. Ему было лет сорок с лишним, лицо строгое и гладкое, сам коренастый. По утрам от него пахло конюшней—холеными лошадьми. В руке он держал про-

стую березовую трость с опаловой рукоятью. Они с Перси водили Джона по здешним владениям.

— Вон там живут рабы,— его трость обратилась влево, к мраморной обители, изящно-готические очертания которой вливались в горный склон.— Когда я был молод, на меня накатил нелепейший, бредовый идеализм. И я устроил им роскошную жизнь. Странно сказать, но у них при каждой комнате была кафельная ванная.

— Вероятно,— заметил Джон, подсмеиваясь,— они ссыпали в ванны уголь. Мистер Шнитцлер-Мэрфи как-то рассказывал мне...

— До мистера Шнитцлера-Мэрфи и его рассказов лично мне нет никакого дела,— холодно прервал его Брэддок Вашингтон.— Нет, мои рабы в ванны уголь не ссыпали. Им было велено мыться с головы до ног каждый день, и они мылись. Попробовали бы не мыться— я бы их искупал в серной кислоте. Я прекратил все это по совершенно другой причине. Кое-кто из них простудился и умер. Вода для некоторых людских пород опасна — годится разве что как питье.

Джон рассмеялся было, но передумал и понятиливо кивнул. Брэддок Вашингтон был человек опасный.

— Все эти негры — потомки тех, кого мой отец забрал с собой сюда, на Север. Сейчас их сотни две с половиной. Вы, должно быть, заметили: они так долго прожили вдали от мира, что даже разговаривать стали на несколько невнятном наречии. Впрочем, некоторые говорят и по-английски: мой секретарь и еще двое-трое слуг.

— А это поле для гольфа,— сказал он, проходя по бархатной, вечнозеленой траве.— Как видите, сплошной покров — ни плешин, ни тропинок, ни рытвин.

Джону досталась милостивая улыбка.

— Как дела с пленными, отец, много их? — внезапно спросил Перси.

Брэддок Вашингтон споткнулся и выругался.

— Одним меньше, чем надо,— сумрачно выговорил он и, помедлив, добавил: — Тут у нас были неприятности.

— Да, мать мне говорила,— воскликнул Перси.— Тот учитель-итальянец...

— Ужасное упущение,— гневно сказал Брэддок Вашингтон.— Конечно, вряд ли он от нас уйдет. Может быть, он заблудился в лесу или упал с обрыва. Пусть даже и спасся — будем надеяться, что никто ему не поверит. И все-таки я отправил за ним по окрестным городам человек двадцать.

— И что же?

— Да как сказать. Четырнадцать из них сообщили моему агенту, что прикончили человека, отвечающего описанию; они, правда, гонятся за наградой...

Перед ними была плотно зарешеченная впадина размером с большую карусель. Брэддок Вашингтон поманил Джона и указал тростью на решетку. Джон подошел и глянул вниз. Оттуда взметнулись выкрики.

— Давай к нам в преисподнюю!

— Алло, паренек, как там погода наверху?

— Эй! Кидай веревку!

— Не захватил с собой вчерашнего пирожка или хоть сандвичей?

— Слышь, малый, столкни-ка нам сюда того типа, увидишь, что будет!

— Врежь ему разок за меня, а?

В глубине было темно, но, судя по немудрящему оптимизму и грубоватому задору, голоса принадлежали американцам из простых, не привыкших унывать. Мистер Вашингтон коснулся тростью незримой кнопки в траве, и внутренность ямы осветилась.

— Это те отважные путешественники, которые имели несчастье открыть Эльдorado,— заметил он.

У ног их разверзлась пропасть, словно чаша с отвесными, остекленными краями; на слегка вогнутом дне ее стояли десятка два мужчин в полувоенных костюмах авиаторов. Запрокинутые лица—гневные, злобные, угрюмые, бесшабашно-насмешливые—обросли донельзя; некоторые пленники заметно исчахли, но большей частью вид у них был сытый и бодрый.

Брэддок Вашингтон придвинул плетеное кресло к самой решетке и уселся.

— Ну, как дела, ребята?—дружески спросил он.

Ему отвечал дружный хор—смолчали только вконец отчаявшиеся,—и солнечное утро огласилось яростной руганью, которую, впрочем, Брэддок Вашингтон выслушал вполне невозмутимо. Когда все затихло, он снова поднял голос.

— Надумали, что мне с вами делать?

В ответ донеслось несколько выкриков.

— А чем здесь плохо?

— Нам бы только наверх, а там сами дорогу найдем!

Брэддок Вашингтон подождал, пока они опять успокоятся. Потом он сказал:

— Я уже все вам объяснил. Вы мне здесь ни к чему. Лучше бы нам с вами никогда не встречаться. Всею виною ваше собственное любопытство: но я готов обсуждать с вами любой приемлемый для меня способ выйти из затруднения. Однако до тех пор, пока вы будете заниматься рытьем подземных ходов—да, я знаю про тот, который вы начали рыть,—мы с места не сдвинемся. Не так уж вам здесь плохо, как вы изображаете, и напрасно все это нытье о разлуке с близкими. Если бы вас так заботили ваши близкие, вы никогда не стали бы авиаторами.

Высокий пилот отделился от прочих и поднял руку, вызывая к своему тюремщику.

— Позвольте вас спросить! — крикнул он. — Вот, по-вашему, вы человек справедливый.

— Какой вздор! С какой стати я буду к вам справедлив? Вы бы еще от кота потребовали справедливости к мышам.

При этом сухом замечании два десятка мышей понурились, но высокий все же продолжал.

— Ладно! — крикнул он. — Это уже было обговорено. Вы не жалостливый, вы не справедливый, но вы хоть человек, с этим-то вы не спорите—попробуйте, поставьте себя на наше место и подумайте, как это—как это—как это...

— Как это—что дальше? — холодно осведомился Вашингтон.

— Как это бессмысленно...

— Смотря для кого.

— Ну—как жестоко...

— Был уже об этом разговор. Жестокость—пустое слово, когда дело идет о самозащите. Вы воевали и сами это знаете. Что-нибудь поновее.

— Ну хорошо, тогда как глупо...

— Пожалуй, глуповато,—признал Вашингтон. — Но что прикажете делать? Я предлагал всем желающим безболезненную смерть. Я предлагал похитить и доставить сюда ваших жен, невест, детей и матерей. Я согласен расширить ваше подземное помещение, согласен кормить и одевать вас до конца ваших дней. Если б можно было начисто лишить вас памяти, вы бы все у меня тут же были оперированы и переброшены подальше от моих владений. Больше я пока ничего не могу придумать.

— А может, поверите нам на слово, что мы болтать не станем? — выкрикнул кто-то.

— Если это предложение, то несерьезное,— пренебрежительно отозвался Вашингтон.— Я взял одного из вас наверх, учить мою дочь итальянскому. На прошлой неделе он сбежал.

Две дюжины глоток испустили восторженный вопль; началось буйное ликование. В припадке веселья узники приплясывали, хлопали в ладоши, дурашливо гоготали, тузили друг друга, а иные даже взбегали по отвесному стеклу и грохались задом об пол. Высокий затянул песню, и все подхватили:

Эх, повесим кайзера
На зеленой яблоньке.

Брэддок Вашингтон хладнокровно переждал, пока они допели.

— Вот видите,— сказал он, когда восторги поутихли,— я на вас ничуть не озлоблен. Мне приятно, что вы радуетесь. Поэтому я и недосказал. Этого—как его... Кричтикьелло?—подстрелили четырнадцать моих агентов.

Было неясно, что речь идет о четырнадцати мертвецах, и ликование тут же улеглось.

— Но так или иначе,— гневно повысил голос Вашингтон,— он попытался сбежать. И после этого вы думаете, что я рискну поверить кому-нибудь из вас?

Снизу снова кричали наперебой.

— А как же!

— Китайский дочка учить не хочет?

— Эй, я умею по-итальянски! Моя мать оттуда родом!

— Может, ей сначала надо по-нашенски?

— Это, что ли, та, синеглазая? Зачем ей итальянский, я ее кой-чему поинтереснее научу!

— А я знаю такие ирландские песни—сам пою, сам поддаю!

Мистер Вашингтон вдруг протянул трость, надавил кнопку в траве—и пропасть погасла, осталась только впадина и черные зубья решетки.

— Эй,—позвали снизу,—вы что же, так и уйдете? Благословить забыли!

Но мистер Вашингтон с двумя юношами уже шествовал по полю для гольфа к девятой лунке, словно и яма и узники просто немного мешали ему играть и он легко миновал эту помеху.

VII

Под сенью алмазной горы тянулся июль с его глухими ночами и теплыми, парными днями. Джон с Кисминой были влюблены друг в друга. Он не знал, что подаренный им золотой футбольный медальон с надписью «Pro deo et patria et St. Midas»¹ покоится на платиновой цепочке у ее сердца. Между тем так оно и было. А она тоже не ведала, что крупный сапфир, который она как-то обронила из своей простенькой прически, был заботливо уложен в Джонову заветную коробочку.

Однажды к вечеру, когда в покое, убранном рубинами и горностаем, не было музыки, они провели там час наедине. Он сжимал ее руку, и она так посмотрела, что с губ у него сорвалось ее имя. Она придвинулась — и помедлила:

— Ты сказал «Кисмина моя», — спросила она, — или просто...

Она боялась ошибиться. Вдруг она неправильно слышала.

Целоваться они не умели, но через час это стало не важно.

Так прошел вечер. А ночью они лежали в бессонных грезах, перебирая прошедший день минуту за минутой. Они решили пожениться как можно скорее.

VIII

Каждый день мистер Вашингтон ходил с мальчиками в лес на охоту или на рыбалку, они играли в гольф на сонном лугу — и Джон всегда уступал победу хозяину — или купались в прохладном горном озере. Джон обнаружил, что у мистера Вашингтона трудный характер: чужие мысли и мнения его нимало не интересовали. Миссис Вашингтон всегда глядела свысока и была необщительна. Дочерей своих она явно не жаловала, а в Перси души не чаяла и за обедом без конца разговаривала с ним по-испански.

Старшая дочь Жасмина походила на Кисмину, только ноги чуть кривоваты, а кисти и ступни великоваты, — но похожи они с сестрой были только с виду. Жасмина

¹ За бога, отечество и св. Мидаса (*лат.*).

больше всего любила книжки про убогих девочек, ухаживающих за вдовыми отцами. По рассказам Кисмины, Жасмина долго пропадала с горя и тоски, что кончилась мировая война — а она только собралась было в Европу налаживать солдатское питание. Она чахла день ото дня, и Брэддок Вашингтон даже затеял было новую войну на Балканах, но тут ей попалась фотография раненых сербов, и как-то у нее пропал ко всему этому интерес. Зато Перси и Кисмина, видно, унаследовали от отца высокомерное, сухое и великолепное безразличие ко всему на свете. Они думали всегда только о себе — строго и неукоснительно.

Дворец и долина чаровали Джона своими чудесами. Перси рассказывал, как по приказанию Брэдждока Вашингтона сюда доставили садовода, архитектора, театрального декоратора и французского поэта-декадента, уцелевшего от конца века. Им было велено распоряжаться неграми по усмотрению, обещаны любые, какие только бывают, материалы и вообще предписано изобретать как можно смелее. И все они оказались полной бестолочью. Поэт-декадент тут же стал тосковать по весенним парижским Бульварам — он что-то намекнул про ароматы, орангутангов и слоновую кость, — и только. Декоратор измышлял трюки и хотел превратить всю долину в парк с аттракционами, а это Вашингтонов не прельщало. Архитектор и садовод прикидывали, как привыкли. То надо так, это — сяк.

Зато свою дальнейшую судьбу они решили сами, в одно прекрасное утро скопом свихнувшись после ночи споров о том, где устроить фонтан, — и все вместе очутились в лечебнице для умалишенных: город Уэстпорт, штат Коннектикут.

— Но тогда, — полюбопытствовал Джон, — кто же спланировал все ваши гостиные и холлы, все подъезды и ванны?

— Ты понимаешь, — отвечал Перси, — стыдно сказать, но подвернулся нам такой киношник. Он один из всех привык не считаться с расходами, хотя запихивал салфетку за воротник и не умел ни читать, ни писать.

К концу августа Джон начал грустить: скоро в колледж. Они с Кисминой назначили побег на будущий июнь.

— Лучше бы, конечно, прямо здесь и пожениться, — вздыхала Кисмина, — но разве папа позволит мне выйти за тебя! А раз так нельзя, то придется уж сбежать. Теперь

богатые люди в Америке — прямо хоть не женись: всегда пужно оповещать, что венчаешься в старинном уборе: но значит, на тебе нитка подержанного жемчуга и потерянные кружева с плеча императрицы Евгении.

— Вот-вот,—горячо соглашался Джон.— Был и у Шнитцлеров-Мэрфи, а их старшая дочь Гвендолен вышла за одного там — отец его скупил пол-Виргинии. Она написала домой, что он служит в банке и ему ужас как мало платят, а в конце письма: «Слава богу, хоть у меня четыре горничные, кой-как справляемся».

— Ой, как не стыдно,—заметила Кисмина.— Подумать, сколько миллионов людей на свете — и рабочие и вообще,— и все обходятся даже с двумя горничными.

Как-то под вечер, в самом конце августа, Кисмина обмолвилась фразой, которая все на свете изменила и повергла Джона в ужас.

Они были в любимой аллейке, и между поцелуями Джона охватили романтические предчувствия, очень, на его взгляд, пикантные.

— Иной раз мне кажется, что мы так и не поженемся,—грустно сказал он.— Ты из такой богатой, из такой знатной семьи. Ты совсем не такая, как другие, как бедные девушки. И жепось я в конце концов на дочери какого-нибудь зажиточного оптовика-жестянщика из Омахи или Сиу-Сити, и буду радоваться на ее пол-миллиона.

— Дочь оптовика-жестянщика я видела,—заметила Кисмина.— Она бы тебе не понравилась. У сестры была такая подруга, сюда приезжала.

— О, так у вас здесь и другие бывали? — удивленно воскликнул Джон.

Кисмина как будто пожалела о своих словах.

— Да, да,—сказала она,—бывали и другие.

— А вы — а ваш отец не боялся, что они как-нибудь проболтаются?

— Ну, боялся, конечно, боялся,—отвечала она.— Давай о чем-нибудь другом, более приятном.

Но Джона проняло любопытство.

— Более приятном! — возразил он.— А чего тут неприятного? Они вам что, не пришлись по праву?

К его великому удивлению, Кисмина расплакалась.

— О-о-ой, они были такие ми-и-илые. Я к ним так привя-а-азывалась. И Жасмина тоже, а она все равно приглашала. Вот уж этого я не понимаю, и все.

В сердце Джона зародилось темное подозрение.

— Они, значит, проговорились, и ваш отец их ликвидировал?

— Если бы хоть так,—пролепетала она.— У отца все заранее решено — а Жасмина все равно писала им, чтобы они приезжали, и им у нас так пра-а-авилось!

Она совсем разрыдалась.

Ошеломленный жутким открытием, Джон сидел, разинув рот, а по нервам его от позвоночника шло воробьиное трепыхание.

— Вот я и проболталась, а не надо было,—сказала она, вдруг успокоившись и отерев свои темно-синие глаза.

— Ты хочешь сказать, что твой отец умерщвлял их еще здесь?

Она кивнула.

— В конце августа это бывало — или в начале сентября. Чтоб мы успели как следует с ними порадоваться.

— Какой ужас! Да нет, я, наверно, с ума схожу. Неужели ты правда...

— Правда,—прервала Кисмина, дернув плечиком.— Нельзя же было держать их, как этих авиаторов,—нас бы тогда каждый день совесть мучила. И отец очень жалел нас с Жасминой, он все это устраивал раньше, чем мы ожидали. Так что и прощаться было не надо...

— Значит, вы их убивали! О-ой! — вырвалось у Джона.

— И все очень тихо делалось. Им просто давали на ночь много снотворного — а семьям потом сообщали, что они заболели в Бьюте scarлатиной и умерли.

— Но как же, и вы снова приглашали других?

— Не приглашала я,—рассердилась Кисмина.— Никого я не приглашала. Это все Жасмина. Зато им здесь было очень хорошо. Она им делала такие чудные подарки под конец. И я, может, тоже буду приглашать — потом, вот стану не такая чувствительная. Какая разница, все равно ведь им когда-нибудь умирать, а нам уж, значит, никакой радости в жизни. Ты подумай, как бы здесь скучно было, если б *никто* никогда не приезжал. Папа с мамой даже своих лучших друзей не пожалели.

— Значит, так,—вскипел Джон,—значит, ты позволяла мне за собой ухаживать и сама меня увлекала и соглашалась выйти за меня — и все это время ты прекрасно знала, что жить мне осталось...

— Да нет же,—запротестовала она.— Уже теперь все не так. Сначала — да. Вот ты приехал, что тут поделаешь,

и я хотела, чтобы и тебе напоследок и мне тоже было хорошо. А потом я в тебя влюбилась — и мне теперь, правда, так жалко, что тебе... что тебя придется усыпить, хотя лучше пусть усыпят, чем ты будешь целоваться с другой.

— Ах, лучше, да? — яростно выкрикнул Джон.

— Уж конечно, лучше. И еще мне говорили, что девушке гораздо интереснее с мужчиной, за которого она знает, что не выйдет. Ой, ну зачем я тебе сказала! Я теперь, наверно, все тебе испортила, а мы ведь так радовались, покуда ты не знал. Вот так я и думала, что тебе грустно станет.

— Ах, ты так и думала? — Джон трясся от гнева. — Нет уж, хватит с меня. Раз в тебе нет ни чести, ни достоинства, раз ты могла крутить роман почти что с мертвецом, так я и знать тебя больше не хочу!

— Ты не мертвец! — в ужасе встрепенулась она. — Ты никакой не мертвец! Не смей говорить, что я целовалась с мертвецом!

— Да я не так сказал!

— Нет, ты сказал! Ты сказал, что я целовала мертвеца!

— Не говорил я этого!

Они оба кричали, и оба разом смолкли: кто-то приближался. Шаги были все слышнее, розовые кусты раздвинулись: перед ними возникло гладкое благородное лицо и проницательные глаза Брэддока Вашингтона.

— Кто целовал мертвеца? — поинтересовался он с явным неодобрением.

— Никто, — поспешно отвечала Кисмина. — Мы просто шутили.

— А почему вы тут болтаетесь вдвоем? — резко спросил он. — Кисмина, тебе сейчас надо... надо читать или играть в гольф с сестрой. Иди читать! Иди играть в гольф! Чтоб я тебя здесь больше не видел!

Он кивнул Джону и удалился.

— Ну что? — сердито сказала Кисмина, когда его шаги замерли. — Вот ты все испортил. Теперь нам нельзя больше видаться. Он не позволит. Знал бы он, что мы влюблены, он бы тебя отравил!

— А мы и не влюблены, хватит! — взбесился Джон. — Это он может успокоиться. И не думай, пожалуйста, что я собираюсь здесь оставаться. Через шесть часов я буду за горами — зубами прогрызусь — и поеду к себе на Восток.

Они стояли друг против друга, и тут Кисмина подошла к нему вплотную и взяла его под руку.

— И я с тобой.

— С ума ты сошла...

— Конечно, я с тобой,— отрезала она.

— Да ни за что на свете. Ты...

— Ладно,— спокойно сказала она.— Тогда мы сейчас догоним папу и все с ним обсудим.

Джон покорился с вымученной улыбкой.

— Хорошо, милая,— сказал он, тщетно сясь изобрести нежность,— хорошо, бежим вместе.

В сердце его снова вспыхнула и спокойно разгорелась любовь к ней. Ее у него не отнять — и она готова идти с ним на любой риск. Он обнял ее и жадно поцеловал. Все-таки она его любит: она же его и спасла.

Они не спеша вернулись во дворец, обговорив все по дороге. Решено было, что раз Брэддок Вашингтон застал их, то бежать надо завтра же ночью. И все-таки Джон сидел за обедом с пересохшими губами и страшно поперхнулся ложкой павлиньего супа, который угодил ему в левое легкое. Пришлось перенести его в темно-бирюзовую, устланную соболями гостиную; помощник дворцового хлопал его по спине, а Перси хохотал до упаду.

IX

Далеко за полночь Джон вдруг дернулся во сне и сел на постели, вглядываясь в дремотные завесы, облекавшие комнату. Из черно-синего квадрата открытого окна доносился какой-то слабый дальний звук, который растворился в ветре, не коснувшись его сознания, затянутого тревожными снами. Но вслед за ним отчетливо послышался другой звук, рядом, за стеной спальни — кляцанье замка, шаги, шепот, — он не разобрал; живот его свело судорогой, все тело заныло, он мучительно прислушивался. Потом завеса как будто отошла, и у двери засквозила тень, выплеск темноты в складках гардины, фигура корявая и зыбкая, неверная, как отражение в мутном стекле.

В приступе решимости или страха Джон нажал кнопку у изголовья — и очутился в полупустом зеленом бассейне, от холодной воды с него вмиг соскочил всякий сон. Пижама намочка; оставляя за собой лужи, он кинулся к аквамариновой двери, которая — он знал — вела на парадную лестницу слоновой кости, на площадку второго

тажа. Дверь бесшумно распахнулась. Одинокaя багряная люстра под высоким куполом освещала роскошный вы́иб точеных ступеней во всей его невыносимой прелести. Джон застыл, пораженный этим массивным и безмолвным великолепием: на мокрого человечка обрушились, сметая его, мощные контуры и складки. И тут из распахнувшейся двери его гостиной в холл вынырнули три голых негра — и почти одновременно, когда Джон в диком ужасе метнулся к лестнице, растворилась другая дверь, в другом конце коридора, и в просвете лифта появился Брэддок Вашингтон в отороченной мехом куртке и высоких сапогах, натянутых поверх ярко-розовых пижамных брюк.

Три негра — Джон их раньше никогда не видел и мгновенно догадался, что это палачи, — замерли, повернувшись к лифту, откуда раздалась команда:

— Сюда! Все трое! Живо!

Трое негров мигом заскочили в лифт, дверь задвинулась, стерев световой прямоугольник, и Джон снова остался один на лестнице. Он бессильно осел на гладкие ступени.

Наверно, случилось что-то очень важное, и такая мелочь, как его участь, уже никого не волновала. В чем дело? Негры восстали? Или авиаторы прорвались сквозь железные прутья решетки? Или, может быть, саваофцы пересвалили через горы и пелятся — тускло и уныло — на волшебную долину? Откуда ему было знать. Воздух прогнетал: это лифт взмыл наверх и через минуту спустился. Наверно, Перси спешил на подмогу отцу, и Джон подумал, что теперь самое время найти Кисмину и сейчас же бежать. Он выждал минуту-другую; потом, поеживаясь от ночной прохлады в своей мокрой пижаме, вернулся к себе в комнату и быстро оделся. Он избежал по длинному пролету и свернул в коридор, устланный соболями и ведущий к покоям Кисмины.

Дверь ее будуара была распахнута, лампы горели. Кисмина в пушистом кимоно, стояла, вслушиваясь, у окна и обернулась на беззвучное появление Джона.

— А, это ты, — прошептала она, кинувшись к нему. — Ты услышал?

— Я услышал, как рабы твоего отца...

— Да нет, — перебила она. — Аэропланы!

— Аэропланы? Ах да, может, я от них и проснулся.

— Их дюжина, не меньше. Один сейчас только заслонил луну. Наш часовой у скалы выстрелил, и отец проснулся. Сейчас они у нас получают.

— А они ведь недаром прилетели?

— Конечно — вот помнишь, тот итальянец...

Слова ее заглушил прерывистый орудийный треск. Кисмина вскрикнула, бросилась к туалетному столику, нашарила в ящичке монетку и побежала к выключателю. И тут же весь замок погрузился в темноту: она пережгла пробки.

— Пошли! — позвала она. — Пойдем в сад на крышу, посмотрим!

Она запахнулась в накидку, схватила его за руку, и они ощупью отыскивали дверь. Несколько шагов — и они уже были в башенном лифте, она нажала верхнюю кнопку, а он в темноте привлек ее к себе и отыскал губами ее рот. Момент был самый романтический. Они вышли на площадку, белую в звездном свете. В высоте, возле туманной луны, среди вострепанных облачных клочьев, кружилась и кружилась чернокрылая дюжина. Снизу в них метали огненные стрелы; грохотали разрывы. Кисмина радостно захлопала в ладоши, но тут же перепугалась: аэропланы начали, по какому-то общему сигналу, сбрасывать бомбы, и вся долина огласилась тяжким звуком и озарилась мертвенным светом.

Нападающие вскоре стали точнее целиться по зениткам, и одна из них мгновенно превратилась в громадную головню, дотлевавшую среди зарослей роз.

— Кисмина, — позвал Джон, — ты хоть порадуйся, меня чуть-чуть не успели убить. Если б я не услышал этот сигнальный выстрел, меня бы уже в живых не было...

— Не слышно! — прокричала Кисмина, не отрывая глаз от зрелища. — Ты громче говори!

— Я только говорю, — выкрикнул Джон, — что лучше нам уходить отсюда, пока они дворец не трогают!

И вдруг расселся весь портик негритянского жилища: из-под колонн взметнулось пламя, и осколки мрамора избородили озерную гладь.

— Рабов там — на пятьдесят тысяч долларов! — вскрикнула Кисмина. — И это еще по довоенным ценам. Американцы вообще такие — ни малейшего уважения к собственности.

Джон никак не мог ее увести. Бомбы падали все точнее и точнее, и отвечали им только две зенитки. Очевидно было, что сжатый в огненном кольце гарнизон долго не продержится.

— Пойдем! — крикнул Джон, хватая Кисмину за руку, — пойдем скорее. Ты хоть понимаешь, что, если попадешься авиаторам, тебе конец?

Она нехотя подчинилась.

— Надо только разбудить Жасмину, — сказала она по пути к лифту. И добавила — восторженно, по-детски: — Мы будем нищие, правда? Как в книжках. И я буду сирота и совсем свободная. Ни гроша, и полная свобода! Ой! — Она остановилась и радостно поцеловала его.

— Нет уж, либо ни гроша, либо полная свобода, — мрачно заметил Джон. — Это дело проверенное. По мне, так лучше полная свобода. И ты на всякий случай ссыпь-ка в карманы свои камни, какие под рукой.

Через десять минут обе девушки встретились с Джоном в темном коридоре и спустились к главному входу. В последний раз они прошли по роскошным залам, задержались на террасе и поглядели на охваченный пламенем дом и пылающие остовы двух аэропланов на том берегу озера. Последняя зенитка все еще упорно стреляла, и нападающие, видимо, не рисковали снижаться, окружая ее фейерверком взрывов, один из которых должен был вот-вот стереть чернокожий расчет орудия с лица земли.

Джон и сестры сошли по мраморным ступеням, круто взяли влево и стали подниматься по узкой тропке, переживавшей алмазную гору. Кисмина знала один лесистый выступ, где можно укрыться и откуда все будет видно, а потом, когда понадобится, они уйдут потайной тропой, выбитой в скалистом ущелье.

Х

Часам к трем они добрались до места. Вялая и послушная Жасмина немедленно прикорнула возле толстого дерева, а Джон с Кисминой уселись в обнимку и следили за исходом отчаянного сражения, вспышками озарявшего пепелище там, где еще вчера был зеленый сад. Вскоре после четырех последняя зенитка гулко лязгнула и смолкла, испустив алый клуб дыма. Луна почти зашла, но видно было, как крылатые чудища кругами посятся все ниже над землей. Как только пилоты удостоверятся, что снизу им больше ничего не грозит, они приземлятся, и сумрачному, блистательному царству Вашингтонов наступит конец.

Пальба прекратилась, и долина затихла. Остовы двух аэропланов рдели, как глаза зверя, залегшего в зарослях. Темный и безмолвный дворец был так же прекрасен

в ночи, как и в лучах солнца, а деревянные трещотки Немезиды сотрясали воздух жалобным стрекотом. И Джон почувствовал, что Кисмина, вслед за сестрой, крепко уснула.

Время близилось к пяти, когда он слышал шаги по тропке и, затаив дыхание, переждал, пока мимо них пройдут. Воздух был пронизан слабым трепетом, и роса застыла: ясно было, что скоро начнет светать. Шаги отдалились и стихли в высоте за кручей. Джон пошел следом. На полпути к обрывистой вершине дерева расступились: алмазную гору венчала булыжная седловина. Перед самым просветом он замедлил шаг: чутье подсказало ему, что впереди люди. Он подобрался к высокому валуну и осторожно выглянул из-за него. Любопытствовал он не зря, и вот что он увидел.

Брэддок Вашингтон стоял неподвижно — ни жеста, ни звука: безжизненный силуэт, врезанный в серое небо. На востоке занимался рассвет, устлая землю холодной прозеленью, и одинокая фигурка противостояла новому дню.

Джон смотрел и видел, что владелец дворца погружен в непроницаемое раздумье; потом он сделал знак неграм, скорчившимся у его ног, поднять с земли носилки. Они распрямились навстречу первому солнечному лучу, заигравшему в бесчисленных гранях огромного, изумительно отшлифованного бриллианта, — и возжегшееся белое сияние было как отблеск утренней звезды. Тяжесть поколебала носильщиков, их мышцы перекатились под влажным гляncем кожи и затвердели — и небесам, как бессильный вызов, предстали теперь три неподвижные фигурки.

И белый человек поднял голову и медленно воздел руки, призывая ко вниманию, словно смиряя несметную толпу, но толпы не было, а гора и небо оглушительно молчали, и только птицы едва чирикали в ветвях. Фигурка в скалистой седловине возвысила голос, надменный, как прежде.

— Эй, там, — прерывисто выкрикнул он. — Эй, там! — Он помедлил с воздетыми руками, словно ожидая ответа. Джон силился разглядеть, кто спускается сверху, но сверху никто не спускался. Над ними было только небо и пересвист ветра в кронах деревьев. «Может, Вашингтон молится? — подумалось Джону. — Нет, конечно — так не молятся, так нельзя молиться!»

— Эй, там, наверху!

Голос обрел силу и уверенность. Ни мольбы, ни отчаяния в нем не было. Уж скорее какое-то невероятное снисхождение.

— Эй, там...

Слова торопились, набегали друг на друга... Джон изо всех сил вслушивался, улавливая отрывочные фразы, а голос срывался, гремел, снова срывался — то мощный и убедительный, то озабоченно-нетерпеливый. И вдруг его единственный слушатель начал понимать — и понял, и кровь бросилась ему в голову. Брэддок Вашингтон торговался с богом!

Да, да, конечно. А бриллиант на носилках был образец, предлагался в задаток.

И выкрики становились все понятнее и связнее. Прометей Озлащенный свидетельствовал о забытых жертвоприношениях, древних ритуалах, молитвах, устарелых до рождества Христова. Он напомнил богу о дарах, на которые призревали небеса, — о храмах, воздвигнутых ради спасения городов от моровой язвы, о приношениях миром и золотом, о человеческих жертвах — о прекрасных женщинах, плененных армиях, о детях и царицах, о зверях лесных и полевых, об овцах и козах, о градах и жатвах, о тех покоренных землях, которые предавались огню и мечу, дабы умиловить его, умягчить и отвлечь гнев господень — и вот теперь он, Брэддок Вашингтон, Владыка Бриллиантов, царь и жрец нового золотого века, законодатель великолепия и роскоши, предлагает ему сокровище, о каком и не грезили бывшие властители, и предлагает не смиренно, а горделиво.

Богу причитается от него, продолжал он, переходя к деталям, несравненный бриллиант. Граней на нем будет в тысячу раз больше, чем листьев на дереве, а обточен он будет так же тщательно, как алмаз с горошину. Обтачивать его будут многие годы, и оправой его будет огромный храм чеканного золота с дивной резьбой и вратами, изукрашенными опалами и сапфирами. И в середине бриллианта будет выдолблена молельня с алтарем из переливчатого, распадающегося, изменчивого радия, который выжжет глаза всякому, кто оторвется от молитвы — и на этом алтаре в угоду всевышнему благодетелю будет принесен в жертву всякий — пусть величайший и могущественнейший человек на земле.

А взамен требуются сущие пустяки, для бога ничуть не затруднительные, — чтобы все стало так, как было вчера в тот же час, и чтобы все так и оставалось. Совершеннейшие пустяки. Надо всего-навсего, чтобы небеса разверзлись, поглотили этих людей с их аэропланами и снова сомкнулись. И рабы его пусть будут снова живы и здоровы.

Ему еще никогда и ни с кем не приходилось ни торговаться, ни договариваться.

Он только сомневался, сходную ли цену он предложил. У бога, конечно, на все своя цена. Он был создан по образу и подобию человеческому, и недаром сказано в Писании: в какую цену оценили Меня. Сейчас цена предлагается нешуточная — ни один храм, строившийся много лет, ни одна пирамида, воздвигавшаяся десятками тысяч рук, не сравнится с этим храмом, с этой пирамидой.

Он помолчал. Да, так вот его предложение. Все детали можно уточнить по желанию свыше, а что он сказал, что за такую цену просит пустяк, то и тут нет ничего зазорно-го. Он имел в виду, что Провидению это ничего не стоит, а уж там пусть решает само.

К концу речи фразы его начали крошиться, стали короткими и неуверенными, и весь он напрягся, судорожно прислушиваясь, не донесется ли отзыв, ответное содрогание или дуновение из необъятной выси. Рассвет убелил его волосы, и он обратил лицо к небесам, как библейский пророк — в приступе величественного безумия.

Джон глядел, не отрывая замороженных глаз, — и ему показалось, будто вдруг произошло что-то странное. Словно бы небо на миг померкло, и порыв ветра отозвался в ушах смутным рокотом, трубным завыванием, шелковым присвистом гигантского покрыва — и сумерки разлились вокруг: птицы замолкли, деревья застыли, из-за горы донеслось недоброе ворчание грома.

И ничего больше. Ветер заглох в густых травах долины. Рассвет вспыхнул ярче прежнего, наступал день, и взошедшее солнце проникало повсюду оранжевым маревом. Солнечная листва пересмеивалась, сотрясая деревья, и каждая ветка звонко гомонила, как женская школа на экскурсии. Бог отказался от сделки.

С минуту Джон смотрел, как торжествует день. Потом он глянул вниз, и в глазах у него зарябило: у берега озера мелькали бурые крылья, крылья, крылья, словно золотой хоровод ангелов спустился с облаков. Аэропланы приземлились.

Джон соскользнул с камня и помчался вниз по склону к перелеску, где обе девушки уже проснулись и поджидали его. Кисмина вскочила на ноги, в ее карманах бренчали алмазы, на кончике языка был вопрос, но Джон кожей чувствовал, что сейчас не до разговоров. Надо было как

можно скорее покинуть гору. Он схватил обеих за руки, и они молча побежали меж стволов, омытых солнцем, окутанных ранней дымкой. Долина за спиной у них безмолвствовала: только слышались далекие павлиньи жалобы да легкий утренний шумок.

Они прошли низиной около полумили и, оставив в стороне парк, снова побрели в гору узкой тропкой. Одолев подъем, они остановились и обернулись к склону напротив, на котором недавно были,— их сдавило сумрачное и жуткое предчувствие.

На фоне неба был ясно виден согбенный седовласый человек, медленно сходявший по крутому склону; за ним шли два невозмутимых черных гиганта, все с той же ношей, которая переливчато сверкала в солнечных лучах. На полпути вниз к ним присоединились еще двое: Джон узнал миссис Вашингтон с сыном, на чью руку она опиралась. Авиаторы успели за это время выбраться из своих аппаратов на широкий луг перед дворцом и цепью подвигались к алмазной горе, винтовки наперевес.

А пятеро наверху, за которым напряженно следили с горы напротив, задержались на каменном уступе. Негры нагнулись и отчинили что-то вроде люка: вход внутрь горы. Он поглотил всех: первым—седовласого мужчину, за ним—его жену и сына, наконец—двух негров, чьи островерхие шапки вспыхнули последним солнечным переливом перед тем, как люк затворился.

Кисмина вцепилась Джону в руку.

— Ой! — закричала она. — Куда они? Что они делают?

— Они, наверно, подземным ходом...

Его прервал слабый девичий взвизг.

— Ты что, не понимаешь? — отчаянно прорыдала Кисмина. — Проводка по всей горе!

В тот же миг Джон заслонился ладонями. На его глазах вся поверхность горы вдруг раскалилась дожелта, и огонь пронизал земляную оболочку, как свет человеческую руку. Еще мгновение сияла гора; потом она словно страхнула истлевшую паутину и предстала черной пустошью, курящейся синеватым дымком, в котором была гарь растений и человеческой плоти. От авиаторов не осталось ничего — они исчезли так же бесследно, как пятеро, углубившиеся в гору.

Земля содрогнулась, и дворец поднялся в воздух, разламываясь на огненные глыбы и осыпаясь дымным холмом, сползающим в озеро. Пламени не было — а дым смешался с солнечным светом, и на месте драгоценного

дворца расплзалась бесформенная груда, а над нею стояла туча мраморной пыли. Потом она осела, и в долине остались только трое.

XI

К закату Джон и его спутницы достигли высокой скалы, пограничного столба владений Вашингтонов. Внизу лежала сумеречная долина, тихая и прелестная. Они уселись доедать остатки из корзинки Жасмины.

— Вот!— сказала она, расстелив скатерть и сложив бутерброды аккуратной горкой.— Правда, как аппетитно? Я и всегда думала, что есть вкуснее на воздухе.

— Ай-ай-ай,— сказала Кисмина.— Жасмина у нас теперь совсем буржуазка.

— Ты вот что,— радостно припомнил Джон,— ты выверни карманы и покажи, что у нас есть. Если ты не сплеховала, то нам хватит до конца жизни.

Кисмина послушно запустила руку в карман и вытряхнула две пригоршни искристых камней.

— Ух ты, неплохо,— восхитился Джон.— Некрупные, правда, но... Погоди-ка!— Он поглядел камешек на солнце, склонявшееся к западу, и улыбка сползла с его лица.— Да это же не алмазы! Что такое?

— Вот тебе раз!— удивленно воскликнула Кисмина.— Какая я глупая!

— Это же стекляшки!

— Знаю, знаю.— Она рассмеялась.— Перепутала ящик. Они с платья одной девушки, Жасминой гостыи. Я у нее их выменяла на алмазы. А то все время драгоценные камни, никаких других.

— И все, больше ничего не захватила?

— Да вот все.— Она грустно перебирала стекляшки.— Они даже лучше. Как-то мне алмазы уж очень надоели.

— Ну что ж,— мрачно сказал Джон.— Будем жить в Геенне. И ты до самой старости будешь попусту уверять соседок, что ошиблась ящиком. Чековые книжки твоего отца, к сожалению, тоже сгинули вместе с ним.

— Ну и что, ну и в Геенне!

— А то, что если я сейчас, в моем возрасте, вернусь с женой, то мой отец и золы-то мне не подбросит, как у нас говорят.

Вмешалась Жасмина.

— Я люблю стирать,— сообщила она.— Я свои платки всегда сама стирала. Открою прачечную и вас прокормлю.

— А в Геенне прачки есть?— простодушно спросила Кисмина.

— Конечно,— отвечал Джон.— Как и везде.

— Я подумала — там у вас так жарко, и одеваться не нужно.

Джон засмеялся.

— Попробуй-ка! — сказал он.— Живо тебя упекут, не успеешь раздеться.

— А отец тоже там будет?— спросила она.

Джон изумленно обернулся к ней.

— Отца твоего нет в живых,— хмуро отрезал он.— С чего бы ему быть в Геенне? Ты спутала ее с другим местом — а его давно уже упразднили.

Они поужинали, свернули скатерть и расстелили одеяла.

— Такой был сон,— вздохнула Кисмина, глядя на звезды.— Как странно: одно платье и жених без гроша!... И звезды, звезды,— сказала она.— Я раньше звезд никогда не замечала. Я думала, это чьи-то чужие бриллианты. Страшные они какие-то. И кажется, будто все приснилось, все, что было, вся юность.

— Приснилось, да,— спокойно заверил Джон.— Юность всем снится, это просто помешательство от неправильной работы организма.

— Как хорошо быть помешанной!

— Так мне и объясняли,— мрачно сказал Джон.— А теперь я не знаю, хорошо или нет. Все равно, давай будем любить друг друга, на год нас хватит. Тоже дурман и одержимость, и тоже всякий может попробовать. Все на свете алмазы, одни алмазы, и в них нам позволено разочароваться. Что ж, начну разочаровываться — вряд ли и в этом есть толк.— Его пробрала дрожь.— Запахнись-ка, девочка, а то ночь холодная, чего доброго, схватишь воспаление легких. Вот кто был великий грешник — тот, кто первый начал думать. Давай не думать — час, другой, третий.

И он завернулся в одеяло и уснул.

«САМОЕ РАЗУМНОЕ»

I

Когда пробил Священный Час Всеамериканского Ленча, Джордж О'Келли неторопливо и с преувеличенной старательностью навел порядок на своем столе. В конторе не должны знать, как он спешит: успех зависит от производимого впечатления, и ни к чему оповещать всех, что твои мысли за семьсот миль от работы.

Зато на улице он стиснул зубы и побежал, лишь изредка вскидывая глаза на яркое весеннее небо, повисшее над самыми головами прохожих. Прохожие глядели вверх, полной грудью вдыхали мартовский воздух, заполнивший Таймс-сквер, и, ослепленные солнцем, не видели никого и ничего, кроме собственного отражения в небе.

Но Джорджу О'Келли, чьи мысли витали за семьсот миль, весенняя улица казалась мерзкой. Он влетел в подземку и все девяносто пять кварталов с яростью смотрел на рекламный плакат, очень живо показывавший, что у него есть лишь один шанс из пяти не остаться через десять лет без зубов. На станции «Сто тридцать седьмая улица» он прекратил изучение коммерческого искусства, вышел из подземки и снова побежал: на этот раз он тревожно и неудержимо стремился к себе домой — в одну-единственную комнату огромного мерзкого доходного дома у черта на куличках.

И в самом деле, письмо — священными чернилами на благословенной бумаге — лежало на комод; сердце Джорджа застучало на весь город, только что никто не слушал. Он вчитывался в каждую запятую, пометку, в след от большого пальца с краю; потом безнадежно повалился на кровать.

С ним случилось несчастье, одно из тех страшных несчастий, которые сплошь и рядом обрушиваются на

бедняков, коршунами кружат над бедностью. Бедные вечно то идут ко дну, то идут по миру, то идут по дурной дорожке — а бывает, и умеют как-то держаться, этому тоже учит бедность; но Джордж О'Келли впервые ощутил, что он беден, и очень удивился бы, если бы кто-нибудь стал отрицать исключительность его положения.

Не прошло и двух лет с тех пор, как он с отличием окончил Массачусетский технологический институт и получил место в строительной фирме на юге Теннесси. Он с детства бредил туннелями и небоскребами, и огромными приземистыми плотинами, и высокими трехпилонными мостами, похожими на взявшихся за руки балерин — балерин ростом с дом, в пачках из тросовых стренг. Ему казалось очень романтичным изменять течение рек и очертания гор и дарить жизнь бесплодным и мертвым уголкам земли. Он любил сталь, она виделась ему во сне и наяву — расплавленная сталь, сталь в брусках и болванках, стальные балки и сталь бесформенной податливой массой; она ждала его, как холст и краски ждут художника. Неистощимая сталь, он переплавлял ее в огне своего воображения в прекрасные строгие формы.

А теперь он за сорок долларов в неделю служит в страховой компании, повернувшись спиной к быстро ускользающей мечте. Маленькая темноволосая девушка — причина этого несчастья, этого страшного, непереносимого несчастья — живет в Теннесси и ждет, когда он вызовет ее к себе.

Через четверть часа к нему постучалась женщина, которая от себя сдавала ему комнату в квартире; она довела его до белого каления заботливым вопросом, не подать ли ему закусить, раз уж он дома. Он мотнул головой, но это вывело его из оцепенения, он встал с кровати и написал текст телеграммы:

«Огорчен письмом ты потеряла мужество как ты можешь думать разрыве глупенькая успокойся поженимся немедленно уверен проживем...»

После минутного колебания он принял отчаянное решение и дописал дрожащей рукой: «...приеду завтра шестичасовым».

Закончив, он побежал на телеграф у станции под земки. Его достояние не составляло и сотни долларов, но ведь она пишет, что «издергалась», и — ничего не поделаешь — надо ехать. Он понимал, что означает это

«издергалась». она пала духом, перспектива семейной жизни в бедности и постоянной борьбе за существование оказалась непосильной для ее любви.

Джордж О'Келли бегом вернулся в страховую контору — бег вошел у него в привычку, выражая, по-видимому, то нервное напряжение, в котором он непрерывно находился. Он сразу постучал в кабинет к управляющему.

— Мистер Чамберс, я к вам, — объявил он, не успев отдышаться.

— Я вас слушаю. — Глаза, холодные и непроницаемые, как зимние окна, глянули на него.

— Мне нужен отпуск на четыре дня.

— Вы же брали отпуск ровно две недели назад, — сказал изумленный мистер Чамберс.

— Совершенно верно, — смущенно подтвердил молодой человек, — но сейчас мне необходим еще один отпуск.

— Куда вы ездили в прошлый раз? Домой?

— Нет, я ездил к одним знакомым в Теннесси.

— Ну, а куда вам нужно сейчас?

— Сейчас мне нужно... к одним знакомым в Теннесси.

— Вам нельзя отказать в постоянстве, — сухо сказал управляющий. — Однако, насколько мне известно, вы у нас работаете не на должности коммивояжера.

— И все-таки, — в отчаянии произнес Джордж, — мне обязательно нужно туда съездить.

— Пожалуйста, — согласился мистер Чамберс, — но вам совсем не обязательно возвращаться. Так что не трудитесь.

— И не вернусь.

Джордж и сам удивился не меньше мистера Чамберса, почувствовав, что лицо у него розовеет от радости. Он был счастлив, он ликовал — впервые за эти полгода ничто его не связывает! Его глаза наполнились слезами благодарности, и он пылко схватил мистера Чамберса за руку.

— Спасибо вам, — сказал он с чувством, — я и не хочу возвращаться. Я, наверное, сошел бы с ума, если бы вы позволили мне вернуться. Но я как-то не мог сам уйти с работы, и я вам очень благодарен, что вы все решили за меня.

Он великодушно махнул рукой, пояснив: «Вы должны мне за три дня, но это не важно», и кинулся прочь из кабинета. Мистер Чамберс звонком вызвал стенографистку и спросил, не замечала ли она в последнее время за О'Келли каких-нибудь странностей. Он занимал свой

пост много лет, уволил на своем веку много людей, и принимали они это по-разному, но чтобы его за это благодарили — такого еще не было никогда.

II

Ее звали Джонкуил Кэри, и когда, увидев Джорджа, она в нетерпении бросилась по платформе ему навстречу, ее лицо потрясло его своей свежестью и бледностью. Ее руки уже протянулись его обнять, а рот приоткрылся для поцелуя, как вдруг она слегка отстранила его и чуть смущенно оглянулась. За ее спиной стояли двое юношей, помоложе Келли.

— Знакомься — это мистер Крэдок и мистер Холт, — весело объявила она. — Да ты с ними знаком, вспоминаешь?

Итак, вместо поцелуя любви — светская болтовня: Джордж огорчился и встревожился, заподозрив в этом какой-то скрытый смысл; он расстроился еще сильнее, когда выяснилось, что они поедут к Джонкуил в автомобиле одного из молодых людей. Это каким-то образом ставило его в невыгодное положение. По дороге Джонкуил щебетала, поворачиваясь то к переднему, то к заднему сиденью, воспользовавшись полумраком, он попытался ее обнять, но она быстро отстранилась, только вложила свою руку в его.

— Куда мы едем? — шепнул он. — Я что-то не узнаю улицу.

— Это новый бульвар. Джерри как раз сегодня купил автомашину, и он хочет по дороге продемонстрировать мне ее.

Через двадцать минут они вышли из автомобиля у дома Джонкуил, но теперь ее глаза уже не сияли счастьем, как на вокзале, и Джордж почувствовал, что эта поездка вторглась в первую радость свидания и разрушила ее. Он так мечтал об этой встрече, и вот все испорчено из-за какой-то чепухи, с горечью подумал он, сухо прощаясь с Крэдоком и Холтом. Но потом на душе у него стало легче, потому что Джонкуил привычно обняла его под тусклой лампой в холле, высказывая в разных выражениях — а лучше всего, когда без слов, — как скучала о нем. Ее взволнованность успокаивала, внушала надежду, что все будет хорошо.

Они сели на диван, захваченные близостью друг друга, шепча отрывочные ласковые слова и позабыв обо

всем остальном. К ужину вышли родители Джонкуил, они были ему рады. Они к нему хорошо относились в первое время его жизни в Теннесси, год с лишним тому назад,—проявляли большой интерес к его работе в строительной фирме. Когда он решил пожертвовать ею и поехать в Нью-Йорк искать места, где можно было бы быстрее встать на ноги, они сокрушались, что он прерывает неплохо начатую карьеру, но понимали его и были готовы дать согласие на помолвку. За столом они спросили, как у него дела в Нью-Йорке.

— Все идет отлично,—с воодушевлением ответил он.— Меня повысили... прибавили жалованье.

Говоря так, он чувствовал себя глубоко несчастным, зато они все уверяли, что страшно рады за него.

— Видно, что вас там ценят,—сказала миссис Кэри.— Иначе вам бы не удалось отпроситься дважды за три недели.

— А я сказал: придется вам меня отпустить. Я сказал: не отпустите—увольюсь,—поспешил объяснить Джордж.

— Только лучше бы вам откладывать деньги,—мягко упрекнула миссис Кэри.— А то ведь вы тратите на эти поездки весь свой заработок.

Ужин кончился—они с Джонкуил снова остались наедине, и она снова прильнула к нему.

— Милый, я так рада, что ты здесь,—вдохнула она.— Хорошо бы ты никогда больше не уезжал.

— Ты соскучилась?

— Да, очень.

— А скажи... у тебя часто бывают в гостях другие мужчины? Вроде тех двух мальчиков?

Вопрос удивил ее. Черные бархатные глаза округлились.

— Конечно. Все время. Я ведь тебе писала, милый.

Ну, разумеется. Когда он только приехал в этот город, ее уже окружала дюжина поклонников; они по-юношески восхищались ее экзотической хрупкостью, а кое-кто из них замечал, что ее красивые глаза смотрят трезво и снисходительно.

— По-твоему, я нигде не должна бывать?—резко спросила Джонкуил, откидываясь на спинку дивана и словно бы сразу оказавшись за много-много миль.— Так и должна всю жизнь сидеть в четырех стенах?

— Это как же понять?—испугался он.— Ты хочешь сказать, у меня никогда не будет денег, чтобы жениться на тебе?

— Джордж, ты слишком торопишься с выводами.

— Ничего подобного, ты именно это и сказала.

Джордж решил оставить скользкую тему. Надо избегать всего, что может испортить этот вечер. Он попытался снова ее обнять, но она неожиданно воспротивилась:

— Жарко. Я принесу вентилятор.

Включив вентилятор, они снова сели на диван, но Джордж был так взвинчен, что невольно бросился прямо в запретную область.

— Когда ты станешь моей женой?

— А ты уже готов к тому, чтобы я стала твоей женой?

Вдруг у него сдали нервы, и он вскочил.

— Да выключи ты этот чертов вентилятор! — закричал он. — Он меня бесит. Он не воздух гонит, а наше с тобой время. Я хочу быть здесь счастливым и забыть о времени и о Нью-Йорке...

Он опустился на диван так же неожиданно, как вскочил. Джонкуил выключила вентилятор и, положив его голову к себе на колени, стала гладить по волосам.

— Давай посидим вот так, — мягко сказала она. — Посидим тихонечко, вот так, и я буду тебя баюкать. Ты устал, мой родной, ты издергался, но теперь твоя любимая позаботится о тебе.

— Я не желаю сидеть тихонечко, — возразил он, резко выпрямляясь. — Вовсе я не хочу сидеть тихонечко. Я хочу, чтобы ты целовала меня. Только это меня успокаивает. И потом, кто из нас издергался? По-моему, не я, а ты. А я совсем не издергался.

В доказательство он встал с дивана, пересек комнату и плюхнулся в кресло-качалку.

— И как раз теперь, когда я уже могу на тебе жениться, ты пишешь, что издергалась, ты шлешь мне такие письма, словно собираешься порвать со мной, и заставляешь меня мчаться сюда...

— Не приезжай, если не хочешь.

— Но я хочу!

Ему казалось, что он рассуждает хладнокровно и логично и что она нарочно сваливает вину на него. С каждым словом они все больше удалялись друг от друга, но он был не в силах ни остановиться, ни говорить спокойно: голос выдавал его тревогу и боль.

Потом Джонкуил горько расплакалась, и он вернулся на диван и обвил ее рукой. Теперь уже он утешал ее, он притянул ее голову к себе на плечо и нашептывал ей «их» привычные словечки, и она мало-помалу успокаивалась,

лишь порой вздрагивала у него в объятиях. Больше часа просидели они так, а за окном в вечернем воздухе таяли последние аккорды роялей. Джордж сидел, не двигаясь, не думая, не надеясь,—предчувствие катастрофы словно бы одурманило его. Часы будут тикать и тикать, пробьют одиннадцать, двенадцать, потом миссис Кэри тихо окликнет их, перегнувшись через перила лестницы, а дальше он видел только завтра и конец всему.

III

Конец наступил в самое жаркое время следующего дня. Правду друг о друге угадали оба, но она первая решилась признать это вслух.

— Не стоит тебе дальше мучиться в этой конторе,—начала она с несчастным видом.—Ведь она тебе противна, ты никогда там ничего не добьешься, и сам отлично это знаешь.

— Не в том дело,—упрямо возразил он.—Противно мне мучиться одному. Если бы ты решилась, вышла за меня, поехала со мной, я бы всего добился, но не сейчас, когда в мыслях у меня только одно: как ты здесь без меня.

Прежде чем ответить, она долго молчала, не обдумывая—ей уже все было ясно,—а просто оттягивая, ведь она знала, какими жестокими покажутся ему ее слова. Наконец она заговорила:

— Джордж, я люблю тебя всем сердцем, я едва ли полюблю другого. Если бы ты мог жениться два месяца назад, я бы вышла за тебя... Но сейчас я уже поняла, что это не самое разумное...

Он стал иступленно обвинять ее—она что-то скрывает, у нее есть другой!

— Никого у меня нет.

Это была правда. Но роман с Джорджем требовал от нее очень большого напряжения душевных сил, и в обществе молодых людей вроде Джерри Холта, имевших то преимущество, что они не играли никакой роли в ее жизни, она находила разрядку.

Джордж, однако, не желал смириться. Он схватил ее в объятия и попытался поцелуями буквально вынудить у нее согласие на немедленный брак. Потерпев неудачу, он оплакал себя в длинном монологе и остановился, лишь увидев, что этим только вызывает у нее презрение.

Он грозился уехать, хотя совсем не собирался уезжать, а когда она сказала, что сейчас ему и правда лучше уехать, заявил, что никуда не поедет.

Она сначала была опечалена, а потом уже только снисходительна.

— Да уходи же! — закричала она наконец так громко, что миссис Кэри испуганно сбежала по лестнице.

— Что случилось?

— Я уезжаю, миссис Кэри, — произнес он прерывающимся голосом.

Джонкуил вышла из комнаты.

— Ну что вы так убиваетесь, Джордж. — Миссис Кэри понимающе и беспомощно моргала глазами: ей было жаль юношу, но она радовалась, что эта маленькая драма уже, можно сказать, позади. — Знаете, что я вам посоветую? Съездите-ка на недельку домой, к маме. А решение это, в конце концов, видимо, самое разумное...

— Прошу вас, замолчите! — закричал он. — Пожалуйста, не надо ничего говорить!

Вернулась Джонкуил — она скрыла и грусть и волнение под пудрой, румянами и шляпкой.

— Я вызвала такси, — ни к кому не обращаясь, сказала она. — До поезда покатаемся по городу.

Она вышла на улицу. Джордж надел плащ и шляпу и с минуту постоял в холле — он был без сил: куса не мог проглотить с самого Нью-Йорка. Подошла миссис Кэри, нагнула к себе его голову, поцеловала в щеку, и он почувствовал себя смешным и жалким, понимая, что в сцене разрыва он тоже играл смешную и жалкую роль. Надо было уехать вчера вечером — сдержанно и гордо расстаться навсегда.

Целый час бывшие возлюбленные ездили на такси по городу, выбирая малолюдные улицы. Он держал ее за руку и в лучах солнца постепенно успокаивался, запоздало убеждаясь, что тут ничего и нельзя было ни сделать, ни сказать.

— Я вернусь, — пообещал он ей.

— Знаю, — ответила она, пытаясь выразить голосом веселую уверенность. — И мы будем иногда писать друг другу.

— Нет, — сказал он. — Писать мы не будем. Этого я не вынесу. Просто в один прекрасный день я вернусь.

— Я никогда не забуду тебя, Джордж.

На вокзале она пошла с ним в кассу брать билет.

— Кого я вижу! Джордж О'Келли и Джонкуил Кэри!

Это была их знакомая пара, они встречались еще в те времена, когда Джордж здесь работал, и при виде их Джонкуил, кажется, обрадовалась. Бесконечные пять минут общего разговора, а потом поезд, оглушительно гудя, въехал под крышу вокзала, и Джордж, с гримасой плохо скрытого отчаяния, сделал движение обнять Джонкуил. Она неуверенно шагнула к нему, остановилась в нерешительности и быстро подала ему руку, будто прощалась с не очень близким приятелем.

— До свиданья, Джордж,— сказала она.— Счастливого пути.

— До свиданья, Джордж. Приезжайте еще и непременно дайте нам знать.

Онемев, почти ослепнув от боли, он подхватил свой чемоданчик и как в тумане поднялся в вагон.

Поезд лязгает на переездах, набирает скорость на широких пространствах пригородов, а солнце опускается все ниже. Может быть, и она сейчас поглядит на заходящее солнце, остановится, оглянется, вспомнит; а наутро его образ поблекнет, станет для нее прошлым. Эта ночь навсегда окутает тьмой солнце, и деревья, и цветы, и смех — весь мир его юности.

IV

Прошло больше года, и вот в сырой сентябрьской день молодой человек с лицом, загорелым до цвета потускневшей меди, сошел с поезда в одном городе в Теннесси. Он тревожно огляделся и, казалось, почувствовал облегчение, убедившись, что его никто не встречает. Взяв такси, он отправился в лучшую в городе гостиницу и не без гордости записал в книге для приезжающих: «Джордж О'Келли, проездом из Куско (Перу)».

Поднявшись к себе, он посидел у окна, глядя на знакомую улицу. Потом снял телефонную трубку и назвал номер; руки у него чуть-чуть дрожали.

— Можно попросить мисс Джонкуил?

— Я вас слушаю.

— Это...— Он преодолел едва заметную вибрацию в голосе и продолжал дружески просто: — Это Джордж О'Келли. Ты получила мое письмо?

— Да. Я так и думала, что ты приезжаешь сегодня.

Ее голос, ровный и спокойный, взволновал его, но разве такого он ожидал? С ним говорила чужая женщина,

невозмутимая, светски-любезная — не более того. Ему захотелось бросить трубку и перевести дух.

— Давно я тебя не видел. Кажется... больше года?

Ему удалось высказать это как мысль, только что пришедшую в голову. На самом деле он знал сколько, с точностью до одного дня.

— Буду очень рада тебя повидать.

— Ну так я приеду через час примерно.

Он повесил трубку. Так вот оно, мгновение, предвкушением которого двенадцать долгих месяцев была заполнена каждая его свободная минута... Он представлял себе, как застанет ее замужем, или помолвленной, или любящей другого, — не представлял одного: что его возвращение будет ей безразлично.

Он пережил неповторимое время. По общему признанию, он добился замечательных для молодого инженера успехов: ему подвернулось два редкостных случая, один в Перу, откуда он возвращался, другой — как следствие первого — в Нью-Йорке, куда он сейчас направляется. Он сделал рывок из бедности в мир неограниченных возможностей.

Он посмотрелся в зеркало на туалетном столике. Загорел дочерна, но тем романтичнее, и всю последнюю неделю, когда у него появилось время думать о таких вещах, это его очень радовало. Он вообще нравился самому себе — настоящий мужчина, сильный и отважный. Бровь обгорела, колено в эластичном биндаже, и по молодости лет он отлично замечал, какой интерес вызывала у многих попутниц на пароходе необычность его облика.

Одет он, правда, ужасно. Костюм ему сшил за два дня портной-грек в Лиме. Джордж, опять-таки по молодости лет, не преминул извиниться за это перед Джонкуил в своем письмеце, которое было весьма лаконично: еще оно содержало лишь настойчивую просьбу, чтобы Джонкуил его ни в коем случае не встречала.

Джордж О'Келли, прибывший из Куско (Перу), выждал у себя в номере ровно полтора часа, пока солнце не оказалось точно над головой. А тогда, свежесбрившись, припудрившись тальком, чтобы выглядеть все же человеком белой расы — в последнюю минуту тщеславие одержало верх над романтикой, — он взял такси и поехал к хорошо знакомому дому.

Он тяжело дышал, но приписал это простому возбуждению, а не чувству. Он здесь, она не замужем — чего ему

еще нужно? Он даже не знал толком, что хочет ей сказать. Но все равно ни на что на свете не променял бы этого события в своей жизни. Ведь в конечном счете только ради женщины и нужны победы, и если уж он не может сложить свои трофеи к ее ногам, ему хотелось хоть одно мгновение подержать их у нее перед глазами.

Дом как-то внезапно вырос рядом, и на первый взгляд показался Джорджу странно нереальным. Ничего не изменилось — однако изменилось все. Дом маленький, обшарпанный — очарование не парит облаком над крышей, не струится из окон второго этажа. На звонок ему открыла незнакомая цветная служанка. Мисс Джонкуил сейчас спустится. Он нервно облизал губы, прошел в гостиную, и ощущение нереальности стало еще острее. Оказывается, это просто-напросто комната, а не заколдованный чертог, где он провел те незабываемые мучительные часы. Он сел в кресло и удивился, что это просто-напросто кресло, а потом понял, что только его воображение в те прежние времена смещало пропорции, расцветчивало будничные предметы.

Но тут отворилась дверь и вошла Джонкуил... и комната словно бы поплыла у него перед глазами. Он все же успел забыть, как она хороша, и теперь чувствовал, что бледнеет и что голос отказывает ему.

Она была в бледно-зеленом, на прямых темных волосах короной — золотая лента. И тут же его глаза встретились с теми прежними бархатными глазами, и он сжался от страха. ее красота сохранила способность причинять ему боль

Он поздоровался, оба сделали несколько шагов, встретились и обменялись рукопожатием. Потом сели в разных углах комнаты и оттуда разглядывали друг друга.

— Вот ты и вернулся, — сказала она, а он ответил столь же банально:

— Я проездом, решил заехать повидаться.

Он избегал смотреть на ее лицо, думая, что так быстрее справится с дрожью в голосе. Говорить полагалось ему, но сказать было вроде бы нечего, разве что тут же начать хвастаться. У них и раньше было не в обычае болтать просто так, а уж в таких обстоятельствах, как сейчас, и подавно не заговоришь о погоде.

— Это становится смешно, — вырвалось вдруг у него в приливе смущения. — Я сижу как дурак и не знаю, о чем говорить. Тебе в тягость мое присутствие?

— Нет.— Ответ был сдержанный, неопределенно-грустный. Это огорчило Джорджа.

— Ты помолвлена? — резко спросил он.

— Нет.

— Ты кого-нибудь любишь?

Она покачала головой.

— Вот как...

Он откинулся на спинку кресла. Еще одна тема, кажется, исчерпана, и разговор опять пошел не так, как он задумал.

— Джонкуил,— снова начал он, на этот раз мягче.— После всего, что было между нами, мне захотелось вернуться и увидеть тебя. Как бы ни сложилась у меня жизнь, я никогда не буду любить другую, как любил тебя.

Эта маленькая речь была из тех, которые он подготовил заранее. На пароходе она казалась ему очень удачной — в ней было обещание помнить ее всю жизнь и вместе с тем никакой ясности насчет его нынешних чувств. Но здесь, где прошлое обступало его, стояло у него за спиной, тяжело наполняло атмосферу, эти слова звучали ходульно и избито.

Она выслушала его молча, не шелохнувшись, не сводя с него глаз, в которых читалось все, что угодно... а может быть, и ничего.

— Ты меня больше не любишь? — спросил он ровным голосом.

— Нет.

Когда чуть позже вошла миссис Кэри и завела разговор о его успехах — местная газета напечатала о нем заметку, — он был весь в смятении чувств. Ясно было ему только, что эта девушка по-прежнему нужна ему и что прошлое иногда возвращается. Но теперь он проявит себя мужчиной, сильным и осмотрительным... а там будет видно.

— Ну, а сейчас,— продолжала миссис Кэри,— прошу вас, зайдите вдвоем к той даме, которая разводит хризантемы. Она говорила мне, что непременно хочет вас увидеть — она читала про вас в газете.

Они отправились к той даме, которая разводит хризантемы. Шли по улице, и, как прежде, на каждый его шаг приходилось два ее коротких шажка — еще одно волнующее воспоминание. Дама оказалась очень милой, а хризантемы были огромные, изумительно красивые — белые, розовые, желтые, и в таком изобилии, точно стоял июль. У дамы было два цветника, соединенных калиткой; обойдя с гостями первый, хозяйка впереди них прошла во второй.

И тут кое-что произошло. Джордж отступил, пропуская Джонкуил, но она все стояла и смотрела на него. И дело даже не в том, как она — без улыбки — смотрела на него, а скорее в самом молчании. Они увидели глаза друг друга, и оба быстро перевели дух, а потом прошли в калитку. Вот и все.

Вечерело. Они поблагодарили хозяйку и отправились домой — шли медленно, задумчиво, бок о бок. За обедом тоже были молчаливы. Джордж вкратце рассказал мистеру Кэри о том, как все сложилось у него в Южной Америке, и сумел дать понять, что теперь перед ним открывается зеленая улица.

Кончился обед, и они с Джонкуил остались одни в комнате, которая видела начало их любви и ее конец. Как давно это было и как невыразимо грустно! Так мучиться и страдать, как он страдал тогда на этом самом диване, он в жизни уже не будет. Никогда он не будет таким слабым, и усталым, и несчастным, и бедным. И однако же тот мальчик, пятнадцать месяцев назад, был чем-то богаче его. Верой? Пылкостью? Самое разумное... Они сделали самое разумное. Ценой юности он приобрел силу, из отчаянья выковал успех. Но вместе с юностью жизнь унесла непосредственность его любви.

— Выходи за меня замуж, — спокойно сказал он.

Джонкуил покачала темноволосой головкой.

— Я вообще не выйду замуж.

Он кивнул.

— Завтра утром я еду в Вашингтон.

— Вот как?

— Надо. К первому я должен быть в Нью-Йорке, а до того хотел побывать в Вашингтоне

— Всё дела?

— Н-нет. — Он притворился, что ему неприятно говорить. — Я должен там кое с кем встретиться. С кем-то, кто очень поддержал меня, когда я, помнишь, был так... выбит из колен.

Сплошная выдумка. Никто не ждал его в Вашингтоне. Но он зорко наблюдал за Джонкуил, и, конечно же, она чуть заметно вздрогнула, на секунду закрыла глаза.

— Мне пора идти, я только хочу рассказать тебе, что произошло со мной с тех пор, как мы расстались, и... раз уж это, может быть, наша последняя встреча... посиди у меня на коленях, как, помнишь, в те прежние времена. Если бы у тебя был другой, я бы не просил, впрочем... как знаешь.

Она кивнула и села к нему на колени, как той ушедшей весной. Он остро ощутил ее голову на своем плече, все ее такое знакомое тело. Непроизвольно чуть было не сжал ее в объятиях, и потому откинулся на спинку дивана и заговорил, глядя в пространство, обдумывая каждое слово.

Он рассказал ей, как в Нью-Йорке, после двух недель отчаяния, поступил на интересную, хоть и не очень денежную, работу на строительстве в Джерси-Сити. Потом возник этот перуанский вариант, и поначалу он вовсе не казался таким уж блестящим. Должность самого младшего инженера в группе американских специалистов. Но из всей группы до Куско добрались живыми только десять человек, из них восемь — геодезисты и землемеры. Через десять дней умирает от желтой лихорадки начальник экспедиции. Изумительная удача, счастливый случай, которым не воспользовался бы только дурак, фантастический случай...

— Не воспользовался бы только дурак? — с невинным видом переспросила она.

— И дурак воспользовался бы, — продолжал он. — Грандиозная удача. Итак, я телеграфирую в Нью-Йорк..

— А оттуда, — снова перебила она, — телеграфируют в ответ, что разрешают тебе воспользоваться случаем?

— Разрешают?! — Он все так же сидел, откинувшись на спинку. — Приказывают! Нельзя терять времени...

— Ни минуты?

— Ни минуты.

— Даже на то, чтобы... — Она сделала паузу.

— На что?

— ...посмотреть на меня.

Он вдруг повернул голову, а она потянулась к нему, и рот у нее был полураскрыт, как цветок.

— На это, — прошептал он ей в губы, — у меня всегда есть время, масса времени...

Масса времени — его жизнь и ее. Но, целуя ее, он на миг осознал, что той весны ему не вернуть, сколько ни нищи, хоть целую вечность. И пусть теперь он имеет право прижать ее к себе с такою силой, что мускулы вздуваются на руках, — она его желанная и драгоценная добыча, он ее завоевал, — но не будет неуловимого шепота в сумерках, шепота в ночи...

— Что ж, — сказал он себе, — ничего не поделаешь. Прошла весна, прошла. Какой только любви не бывает в жизни, но нельзя два раза любить одинаково.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Когда Джона Эндроса одолевали мысли о старости, он утешался тем, что его жизнь будет продолжаться в ребенке. Мрачные фанфары вечного забвенья звучали не так громко, стоило ему услышать топот маленьких ног или голосок, лепечущий в телефонную трубку детские несурезицы. Разговаривал же он с дочкой по телефону ежедневно в три, когда жена звонила ему из пригорода в контору, и постепенно эти звонки стали для него одним из самых ярких событий дня.

До старости ему было еще далеко, но всю свою жизнь он карабкался вверх по обрывистым кручам и, одержав нелегкую победу над бедностью и слабым здоровьем, остался в свои тридцать восемь лет с весьма скромным запасом иллюзий. Даже дочь принесла ему не одни радости. Из-за нее наступил перерыв в их пылкой близости с женой, из-за нее им приходилось жить за городом, расплачиваясь за свежий воздух нескончаемыми трудностями с прислугой и выматывающей каруселью поездов.

Маленькая Эди привлекала его в основном как воплощение начинающейся жизни. Он любил сажать ее к себе на колени и, поглаживая мягкую душистую головку, разглядывал синие, как утреннее небо, глаза. Но, отдав эту дань, он без сожаления отсылал ребенка к няне. Сама живость девочки уже через десять минут казалась ему несносной; Джон выходил из себя, когда в доме что-нибудь разбивали, а однажды в воскресенье, когда Эди куда-то запрятала пикового туза и сорвала партию в бридж, он устроил такой скандал, что жена расплакалась.

Он понимал, что ведет себя глупо, и ему было стыдно. Ведь такие инциденты в порядке вещей: не держать же девочку все время наверху, в детской, когда она, по

словам жены, день ото дня становится все более «самостоятельным человеком».

Эди было два с половиной года, и сегодня, например, ее пригласили на детский праздник. Эту новость Джон узнал по телефону от жены, Эдит-старшей, а дочка в подтверждение неожиданно громко крикнула ему в левое ухо: «Я пойду на плаздки».

— Милый, как вернешься, загляни к Марки, ладно? — продолжала жена. — Тебе будет интересно. Я наряжу Эди в новое розовое платье...

В трубке послышался треск, и все смолкло: очевидно, телефон сдернули на пол. Джон рассмеялся и решил уехать с работы пораньше: мысль о детском празднике, к тому же не у себя дома, показалась ему забавной.

«Вот будет светопреставление! — весело думал он. — Десяток мамаш, и каждая только и видит, что своего ребенка. Малыши бьют посуду, набрасываются на торт, а мамы возвращаются домой в полной уверенности, что остальным детям все-таки далеко до их собственных».

У него сегодня было прекрасное настроение — никогда еще все в жизни так хорошо не складывалось. Он сошел на своей станции, отмахнулся от навязчивого таксиста и в холодных декабрьских сумерках зашагал по дороге, отлого поднимавшейся к его дому. Было только шесть, но луна уже горделиво сияла в небе, серебра сахаристый снежок на газонах.

Он шел, полной грудью вдыхая морозный воздух, его радость с каждым шагом ширилась, а детский праздник все больше занимал воображение. Джон пытался представить себе Эди среди ее сверстников, да и это взрослое розовое платье, думал он, видимо, преобразит ее. Он прибавил шаг, прошел мимо своего дома, в окне которого все еще цвела мерцающими шарами осыпавшаяся рождественская елка, и свернул на соседнюю дорожку. Марки жили в доме рядом.

Когда он уже поднялся по кирпичным ступенькам и позвонил, он услышал голоса и обрадовался, что не опоздал. Затем вскинул голову и прислушался: голоса были не детские — в доме говорили по меньшей мере трое, говорили громко, сердито, и один из голосов, сорвавшийся сейчас в истерическом всхлипе, явно принадлежал его жене.

«Что-то стряслось», — мелькнуло у него в голове.

Джон толкнул дверь, она оказалась незапертой, и он пошел.

Гостей пригласили на половину пятого, но Эдит Эндрос, мудро рассудив, что впечатление от нового платья будет сильнее, когда наряды других детей уже помнутся, решила прийти с дочерью в пять. Они застали праздник в самом разгаре. Четыре маленькие девочки и девять мальчиков, вымытые, завитые и разодетые со всем старанием, на какое способно гордое и ревнивое материнское сердце, танцевали под патефон. Правда, одновременно танцевали всего два-три малыша, но поскольку остальные сновали взад и вперед, бегая к мамам за одобрением, казалось, что танцуют сразу все.

При появлении Эдит и ее дочери музыку на время заглушил хор восклицаний, среди которых чаще всего слышалось «прелесть», а виновница этих восторгов, маленькая Эди, застенчиво озиралась по сторонам и теребила подол розового платья. Девочку не целовали — в наш гигиенический век это не принято, — ее просто пустили по комнате от мамыши к мамаше, и каждая подержалась за розовую ручку и проворковала: «Какая прелесть». Потом ее одобрили, легонько подтолкнули, и она тут же включилась в общее веселье.

Эдит-старшая задержалась у дверей поговорить с миссис Марки, но одним глазом следила за фигуркой в розовом. Миссис Марки она недолюбливала — особа явно вульгарная, да еще задирает нос, но так как ее Джон и Джо Марки были в приятельских отношениях и по утрам вместе ездили в город, женщины старательно создавали видимость сердечной симпатии. При встречах они осыпали друг друга ласковыми упреками: «Что же вы к нам не заходите?» — и строили планы «как-нибудь вместе пообедать и выбраться в театр», однако дальше разговоров дело не шло.

— Крошка Эди очень мила, — сказала миссис Марки, улыбаясь и облизывая губы. Эту привычку Эдит находила в ней особенно отвратительной. — Такая большая, просто не верится.

У Эдит мелькнула мысль, нет ли в слове «крошка» намек на то, что Билли Марки весит на пять фунтов больше Эди, хотя он на несколько месяцев и моложе. Она взяла предложенную ей чашку чая, под села на диван к двум другим гостям и с жаром принялась рассказывать о последних успехах и проделках своего ребенка, в чем, само собой, и заключалась для нее основная цель сегодняшнего вечера.

Прошел час. Танцы успели наскучить, и детишки перешли к более серьезным развлечениям. Они всей гурьбой

ворвались в столовую, и, обогнув большой стол, повисли на кухонной двери, откуда были сняты экспедиционным корпусом мамаш. Но едва их увели, как они снова бросились в столовую, к той же двери. Тут со всех сторон послышалось: «Вспотели»,— и над белыми лобиками замелькали белые платочки. Мамы пытались утихомирить детей, но с криком «Туда!», «Хочу туда!» они упрямо выдирались с колен и вновь бежали в так поллюбившуюся им столовую.

Эта суматоха закончилась, когда принесли сладкое: большой торт с двумя свечами и блюдечки сванильным мороженым. Билли Марки, смешливый рыжий крепыш с кривоватыми ногами, задул свечи и любопытным пальчиком надавил на сахарную глазурь. Угощение роздали, и дети принялись за еду—жадно, но вполне благопристойно—да и вообще весь вечер они вели себя на редкость хорошо. Это были современные дети, их кормили и укладывали спать по часам, поэтому они редко капризничали и выглядели здоровыми и румяными; тридцать лет назад подобный праздник не прошел бы столь мирно.

После угощения гости стали понемногу расходиться. Эдит с беспокойством глянула на часы—скоро шесть, а Джона все нет. А ей так хотелось, чтобы он увидел, какая Эди вежливая, умненькая, как достойно она ведет себя с другими детьми, и на платье всего одно пятно: кто-то толкнул ее в спину, когда она ела мороженое.

— Сокровище мое,—шепнула она дочери, порывисто привлекая ее к себе.—Ты знаешь, что ты сокровище? Знаешь?

Эди засмеялась.

— Гав-гав,—сказала она вдруг.

— Где гав-гав?—Эдит оглянулась.—Здесь нет никакой гав-гав.

— Гав-гав,—повторила девочка.—Хочу гав-гав.

Эдит посмотрела в ту сторону, куда тянулся маленький палец.

— Это не гав-гав, родная, это мишка.

— Мишка?

— Да. Только это мишка Билли. Ты же не хочешь чужого мишку, правда?

Но Эди хотела.

Она выскользнула из рук матери, подбежала к Билли Марки, который крепко прижимал к себе игрушку, и остановилась, глядя на него с непроницаемым выражением; Билли засмеялся.

Эдит-старшая снова посмотрела на часы, на этот раз с досадой.

Почти все гости ушли; кроме Эди и Билли, оставались только двое малышей, да и то один из них лишь потому, что залез под стол. А Джон так и не появился. Эгоист, ни капли гордости за ребенка! Другие мужья, человек пять-шесть, все же нашли время зайти за своими женами и хоть минутку полюбовались на детей.

Раздался вопль. Эди завладела мышкой, выдернув его из рук Билли, а когда тот полез отнимать игрушку, небрежно свалила его на пол.

— Эди! — крикнула мать, сдерживая смех.

Джо Марки, красивый, широкоплечий мужчина лет тридцати пяти, поднял сына и поставил его на ноги.

— Хорош, нечего сказать, — заметил он шутливо. — Позволил девчонке повалить себя. Хорош!

— Он не ушиб головку? — В дверях появилась встревоженная миссис Марки, только что распрощавшаяся с предпоследней мамашей.

— Нет-ет, — протянул Марки. — Он ушиб совсем другое место, да, Билли? Ты кое-что другое ушиб, да?

Билли уже забыл про то, что упал, и бросился отбивать свое добро. Он вцепился в лапу мышки, торчавшую из-под рук Эди, и что есть сил дергал за нее, но безуспешно.

— Не дам, — решительно сказала Эди.

Воодушевленная первой, почти случайной победой, она выпустила игрушку из рук, схватила Билли за плечи и сильно толкнула.

На этот раз он хлопнулся не так удачно: голова его с гулким звуком ударилась о голый пол за краем ковра, и, глубоко втянув воздух, он зашелся истошным ревом.

В комнате поднялась суматоха. Охнув, Марки поспешил к сыну, но жена опередила его и сама подхватила ребенка на руки.

— Билли, маленький, — застонала она. — Какая ужасная шишка! Отшлепать надо эту девчонку!

Эдит, которая в тот же миг метнулась к дочери, услышала это замечание, и ее губы твердо сжались.

— Эди, — прошептала она скорее по обязанности. — Как тебе не стыдно, негодница?

Но девочка неожиданно откинула голову и рассмеялась. Это был громкий смех, смех победительницы, в нем звучали ликование, вызов, презрение. К несчастью, он оказался еще и заразительным. Не успев осознать,

щекотливости положения, Эдит тоже засмеялась, не звонко, но достаточно внятно, с теми же интонациями, что и дочка. И тут же осеклась.

Миссис Марки вспыхнула, а Джо, который ощупывал одним пальцем затылок мальчика, бросил на Эдит хмурый взгляд.

— Быстро же она вздулась, эта шишка,— сказал он укоризненно.— Пойду наверх за примочкой.

Но миссис Марки уже не владела собой.

— Ребенку больно. Что же здесь смешного, хотела бы я знать?— спросила она дрожащим голосом.

Между тем Эди-маленькая с любопытством глядела на мать. Она заметила, что мама рассмеялась в ответ на ее смех, и ей захотелось проверить, всегда ли так бывает. И сейчас она вновь откинула голову и засмеялась.

От этого второго взрыва веселья с Эдит сделалась форменная истерика. Прижимая к губам платок, она давилась от хохота, не в силах удержаться. Но дело тут было не только в нервах: она сознавала, что по-своему поддерживает дочь, смеется с ней заодно.

Вдвоем они как бы бросали вызов всему свету.

Пока Марки бегал в ванную за примочкой, его жена мерила шагами комнату, качая на руках ревушего сына.

— Ради бога, уходите!— вдруг взорвалась она.— У ребенка разбита голова, и если у вас не хватает совести помолчать, то уж лучше уходите!

— Вот как,— сказала Эдит, тоже закипая.— В жизни не видела, чтобы из мухи...

— Уходите!— вне себя крикнула миссис Марки.— Вон отсюда! Чтобы духу вашего здесь не было. Не желаю видеть ни вас, ни вашу хулиганку.

Взяв дочь за руку, Эдит уже быстро шла к дверям, но тут остановилась и повернулась к миссис Марки с перекошенным от негодования лицом.

— Не смейте оскорблять ребенка!

Миссис Марки ничего не ответила и продолжала ходить по комнате, бормоча что-то утешительное себе самой и Билли.

Эдит расплакалась.

— Я уйду,— всхлипывала она.— Первый раз встречу такую грубую, вульгарную особу. Даже хорошо, что нашему ребенку досталось... Так ему и надо, толстому дурачку...

Джо Марки как раз сбегал по лестнице и услышал последнюю фразу.

— Миссис Эндрос,—сказал он резко,—разве вы не видите, что ребенок сильно ушибся! Держите себя в руках!

— Мне... мне держать себя в руках?—воскликнула Эдит срывающимся голосом.—Вы это своей жене скажите. В жизни не встречала такой вульгарной особы!

— Джо, ты слышал? Она меня обзывает!—Миссис Марки трясло от ярости.—Выгони ее отсюда. Не захочет уйти сама, возьми за шиворот и выстави.

— Не смейте ко мне прикасаться!—закричала Эдит.—Сейчас найду пальто и уйду.

Ничего не видя от слез, она шагнула в сторону передней. Именно тогда дверь отворилась, и появился встревоженный Джон Эндрос.

— Джон!—крикнула Эдит, кидаясь к нему.

— Что тут случилось? Послушайте, что происходит?

— Они... они меня выгоняют,—жаловалась она, судорожно прижимаясь к мужу.—Он хотел схватить меня за шиворот и выставить на улицу. Где мое пальто?

— Неправда,—поспешно возразил Марки.—Никто не собирался вас выгонять.—Он повернулся к Джону.—Никто не думал ее выгонять,—повторил он.—Она...

— То есть как это «выгонять»?—оборвал его Джон.—Что все это значит?

— Пойдем, Джон!—рыдала Эдит.—Пойдем домой! Это же грубые, вульгарные люди!

— Послушайте, вы!—лицо Марки потемнело.—Повторяете все время одно и то же. Прямо как ненормальная.

— Они называли Эди хулиганкой!

Второй раз за вечер Эди выбрала самую неподходящую минуту, чтобы выразить свои чувства. Сбитая с толку и напуганная криками взрослых, она так заревела, словно и впрямь была оскорблена до глубины души.

— Как это понимать?—взорвался Джон.—Ты что же, оскорбляешь своих гостей?

— Уж если кто кого оскорбляет, так это твоя жена нас!—твердо ответил Марки.—А каша заварилась из-за твоей дочери.

Джон презрительно фыркнул:

— И ты ее обругал? Что же, молодец! Поздравляю.

— Не надо, Джон, перестань,—умоляла Эдит.—Найди лучше мое пальто.

— Ты явно не в себе,—желчно продолжал Эндрос,—если срываешь зло на беззащитном ребенке.

— Чертовщина! Надо же все так перевернуть! — заорал Марки. — Если твоя супруга хоть на минуту замолчит...

— Не ори! Я-то не женщина и не ребенок...

Тут в ссоре наступил небольшой антракт. Пока Эдит шарила по креслу в поисках пальто, миссис Марки следила за ней злыми горящими глазами. Вдруг она положила Билли на диван, где он сразу перестал реветь и сел, прошла в переднюю и, быстро отыскав пальто, без единого слова сунула его Эдит. Затем вернулась к дивану, взяла сына на руки и, покачивая его, снова уставилась на Эдит злыми горящими глазами. Весь антракт длился не больше полуминуты.

— Твоя жена приходит к нам и давай кричать, какие мы, видите ли, вульгарные, — разъярился Марки. — Если уж мы такие вульгарные, черт подери, так и нечего сюда ходить. А сейчас убирайтесь, да поживей.

Джон снова презрительно хмыкнул.

— Ты не просто вульгарный. Ты еще и хам, особенно с беззащитными женщинами и детьми.

Нашупав ручку, он рванул дверь:

— Идем, Эдит.

Жена взяла дочь на руки и вышла, а Джон, еще раз смерив Марки презрительным взглядом, двинулся следом.

— Нет, постой! — Марки шагнул вперед; его слегка трясло, а на висках вздулись вены. — Думаешь, тебе это сойдет? Не на того напал.

Джон молча ступил за порог, оставив дверь открытой.

Эдит, все еще всхлипывая, шла к дому. Он проводил ее глазами до поворота и обернулся в сторону освещенного крыльца, откуда по скользким ступеням осторожно спускался Марки. Джон снял пальто, шляпу и кинул их в сторону, в снег. Потом, слегка скользнув по обледенелой дорожке, шагнул навстречу.

При первом же ударе оба поскользнулись и тяжело грохнулись, попытались подняться и опять утащили друг друга на землю. Более надежным оказался неглубокий снег газона, и, отступив от дорожки, они снова сошлись, яростно размахивая кулаками и превращая снег под ногами в грязное месиво.

Полная луна и янтарная полоса света из распахнутой двери позволяли им отчетливо видеть друг друга, и дрались они молча, так что в тишине безлюдной улицы были слышны лишь усталые судорожные выдохи

и глухие удары, когда один из них валился в грязь. Несколько раз они, поскользнувшись, падали вместе, и тогда продолжали молотить кулаками, лежа на снегу.

Десять, пятнадцать, двадцать минут длилась эта нелепая драка под луной. В какую-то минуту передышки оба по молчаливому уговору стащили с себя пиджаки и жилеты, и теперь мокрые рваные рубашки мотались на их спинах лоскутами. Ободранные, в крови, они настолько обессилели, что держались на ногах, только когда подпирали один другого — достаточно было малейшего движения, просто попытки замахнуться, и они вновь оказывались на четвереньках.

Но кончили они драться не потому, что выбились из сил, и не потому, что драка была бессмысленной — сама эта бессмысленность как раз и не давала им остановиться. Их остановило иное: катаясь в очередной раз по земле, они вдруг слышали на улице шаги. Ухитрившись кое-как отползти в тень, они замерли и лежали рядом, не двигаясь, не дыша, словно мальчишки, играющие в индейцев. Когда шаги затихли, оба, шатаясь, поднялись на ноги и как пьяные уставились друг на друга.

— Будь все проклято, — хрипло выдавил Марки. — С меня хватит.

— С меня тоже, — сказал Джон Эндрос. — Сыт по горло.

Они еще раз взглянули друг на друга — теперь уже с угрюмой подозрительностью, как бы боясь, что один из них захочет продолжать драку. Марки, у которого были разбита губа, сплюнул кровь, тихо выругался и, подобрал пиджак с жилетом, принялся старательно вытряхивать снег, словно для него только и заботы было, как бы они не намокли.

— Может, зайдешь умыться? — вдруг спросил он.

— Нет, спасибо, — ответил Джон. — Нужно идти. Жена, наверно, беспокоится.

Он тоже поднял пиджак, жилет, потом шляпу и пальто. Потному, насквозь мокрому, ему казалось невероятным, что каких-нибудь полчаса назад все это было на нем надето.

— Что ж... спокойной ночи, — проговорил он нерешительно. Внезапно они шагнули навстречу друг другу с протянутой рукой. Рукопожатие не было простой формальностью: Джон даже обнял Марки за плечи и несколько раз тихонько похлопал по спине.

— У тебя все в порядке? — спросил он, тяжело дыша.

— Вроде бы. А как ты?

— В порядке.

— Ладно,—сказал Джон через минуту.— Прощай, я пойду.

Он перебросил одежду через руку и, слегка прихрамывая, побрел домой. Луна светила все так же ярко, когда он, оставив позади чернеющий круг истоптанной грязи, медленно шел по газону. В полумиле, на станции, прогромыхал семичасовой поезд.

— Да вы оба спятили,—причитала Эдит.— Я думала, ты остался все уладить и помириться. Поэтому и ушла.

— Разве тебе хотелось, чтобы мы помирились?

— Нет, конечно! Знать их больше не желаю. Но я думала, ты именно для того и остался.

Джон спокойно сидел в горячей ванне, а жена прижигала ему йодом ссадины на шее и спине.

— Я все-таки вызову врача,—настаивала она.— Вдруг у тебя что-нибудь отбито.

Он покачал головой.

— Не выдумывай. Не хватало еще, чтобы по всей округе пошли сплетни.

— Ума не приложу, как все это вышло.

— Я тоже.— Он невесело усмехнулся.— Опасная, видно, штука, эти детские праздники.

— Слушай,—радостно спохватилась Эдит.— У меня ведь к завтрашнему обеду есть бифштексы.

— Ну и что?

— Приложишь к глазу. Вот повезло — чуть было не заказала телятину.

Спустя полчаса, полностью одетый, только без воротничка, который не застегивался на распухшей шее, Джон стоял перед зеркалом, осторожно двигая руками и ногами.

— Надо бы привести себя в форму,—задумчиво проговорил он.— Видно, старею.

— Чтобы в следующий раз отколотить его?

— Я и так отколотил. Во всяком случае, ему досталось не меньше, чем мне. И никакого следующего раза не будет. Ты брось эту привычку, оскорблять людей. Видишь, назревает ссора — надевай пальто и уходи. Ясно?

— Да, милый,—кратко отозвалась она.— Теперь я понимаю, что вела себя ужасно глупо.

Когда они вышли к лестнице, Джон остановился у двери в детскую.

— Она спит?

— Спит, и еще как крепко. Зайди, если хочешь, погляди,— ну, вроде как попрощаешься на ночь.

На цыпочках они вошли в детскую и склонились над кроваткой. Эди-маленькая, раздумываясь, сцепив розовые ручонки, мирно спала в прохладной темной комнате. Джон перегнулся через перила кровати и осторожно провел рукой по шелковистым волосам.

— Уснула,— удивленно пробормотал он.

— Еще бы не уснуть после такого дня.

— Миссис Эндрос,— донесся с лестницы громкий шепот цветной служанки.— Там внизу мистер и миссис Марки. Спрашивают вас. Мистера Марки так отделали— страсть глядеть, мэм. Лицо— прямо отбивная. А миссис Марки, похоже, шибко сердится.

— Удивительная наглость!— воскликнула Эдит.— Скажите, что нас нет дома. Ни за что на свете к ним не выйду.

— Выйдешь,— твердо, не терпящим возражений тоном сказал Джон.

— Что?

— Ты к ним немедленно спустишься. Более того, как бы ни вела себя эта женщина, ты попросишь прощения за все, что сегодня ей наговорила. А после хоть вообще с ней не общайся.

— Но, Джон, я... я не могу.

— Надо. И подумай, чего ей стоило прийти— наверное, было в сто раз трудней, чем тебе спуститься.

— Мне идти одной? Ты останешься здесь?

— Я через минуту буду.

Джон подождал, пока закрылась дверь, потом нагнулся над кроваткой, взял дочку вместе с одеялом на руки и, крепко прижимая к себе, сел в качалку. Эди пошевелилась, и он затаил дыхание; однако спала она крепко и тут же успокоилась, удобно положив головку на сгиб его локтя. Тогда он склонился и осторожно прикоснулся щекой к светлым волосам.

— Девочка моя,— прошептал он.— Моя маленькая девочка.

Джон Эндрос наконец понял, за что он так отчаянно дрался сегодня вечером. Теперь все это было в нем, останется с ним навсегда, и какое-то время он так и сидел в темноте, медленно раскачиваясь взад-вперед.

МОЛОДОЙ БОГАЧ

I

Начните с отдельной личности, и, право же, вы сами не заметите, как создадите типический образ; начните с типического образа, и, право же, вы не создадите ничего — ровным счетом. Дело в том, что у каждого из нас есть **странности**, причем странности эти, под какой бы личиной мы их ни прятали, куда серьезнее, чем мы хотели бы признать перед другими и даже перед собой. Когда я слышу, как человек уверяет, будто он «обыкновенный, честный, простецкий малый», я несколько не сомневаюсь, что в нем есть заведомое, а возможно даже, чудовищное **извращение**, которое он решил скрыть — а его притязания быть «обыкновенным, честным и простецким» лишь способ напомнить себе о своей постыдной тайне.

Нет в мире ни типических характеров, ни многочисленных повторений. Вот перед нами молодой богач, и я расскажу именно о нем, не о его братьях. С братьями его связана вся моя жизнь, но он был мне другом. Кроме того, возьмись я писать про этих братьев, мне пришлось бы первым делом обличить всю напраслину, какую бедняки возвели на богачей, а богачи на самих себя — они нагородили столько диких нелепиц, что мы, открывая книгу о богачах, неким чутьем угадываем, сколь далека она от действительности. Даже под пером умных и беспристрастных изобразителей жизни мир богачей оказывается фантастическим, как тридевятое царство.

Позвольте мне рассказать об очень богатых людях. Они не похожи на нас с вами. С самого детства они владеют и пользуются всяческими благами, а это не проходит даром, и потому они безвольны в тех случаях, когда мы тверды, и циничны, когда мы доверчивы, так что человеку, который не родился в богатой семье, очень

трудно это понять. В глубине души они считают себя лучше нас, оттого что мы вынуждены собственными силами добиваться справедливости и спасенья от жизненных невзгод. Даже когда им случится нырнуть в самую гущу нашего мира, а то и пасть еще ниже, они все равно продолжают считать себя лучше нас. Они из другого теста. Единственная возможность для меня описать молодого Энсона Хантера — это рассматривать его так, будто он иностранец, и твердо стоять на своем. Если же я хоть на миг приму его точку зрения, дело мое пропащее — мне нечего будет показать, кроме нелепой кинокомедии.

II

Энсон был старшим из шестерых детей, которым предстояло разделить между собой состояние в пятнадцать миллионов долларов, и он достиг сознательного возраста — лет семи? — в начале века, когда бесстрашные молодые девицы уже разъезжали по Пятой авеню в электромобилях. В ту пору для него и для его брата выписали из Англии гувернантку, которая изъяснялась на чистом, ясном, безупречном английском языке, и оба мальчика выучились говорить в точности как она — слова и фразы звучали у них чисто и ясно, без свойственной нам невнятной скороговорки, они говорили не совсем так, как английские дети, но усвоили выговор, модный в светских кругах Нью-Йорка.

Летом всех шестерых детей увозили из особняка на Семьдесят первой улице в большую усадьбу на севере штата Коннектикут. Место было отнюдь не фешенебельное — отец Энсона хотел, чтобы дети как можно дольше не соприкасались с этой стороной жизни. Он был человек до известной степени выдающийся в кругу избранных, составлявших светское общество в Нью-Йорке, особенно для своего времени, которому были присущи снобизм и нарочитая вульгарность позолоченного века, и он хотел, чтобы его сыновья приобрели привычку к сосредоточенности, сохранили физическое здоровье и выросли людьми преуспевающими и готовыми вести правильный образ жизни. Он и его жена старались не спускать с них глаз до тех пор, пока двое старших не уехали в школу, но в роскошных особняках это нелегко — куда проще в тесноте маленьких или средних домов, где протекала моя

юность,—мама всегда могла меня кликнуть, и я постоянно ощущал ее присутствие, ее одобрение или упрек.

Впервые Энсон осознал свое превосходство, когда заметил ту угодливость, проникнутую скрытой неприязнью, какую проявляли к нему жители этого глухого уголка Коннектикута. Родители мальчишек, с которыми он играл, всегда спрашивались о здоровье его родителей и втайне радовались, когда их детей приглашали к Хантерам в гости. Он считал, что все это в порядке вещей, и недовольство всяким обществом, где он не первенствовал — если это касалось денег, положения, власти,—было свойственно ему до конца жизни. Он считал ниже своего достоинства соперничать с другими мальчиками из-за главенства — он ждал, чтобы ему уступили по доброй воле, а когда этого не происходило, он удалялся в круг своей семьи. Семья его вполне удовлетворяла, поскольку на Востоке деньги и по сию пору сохранили силу, какую они имели при феодализме, сплачивая родовой клан. А на снобистском Западе деньги разобщают семьи, создавая избранные «круги».

В восемнадцать лет, когда Энсон уехал в Нью-Хейвен, он был росл и крепок, со здоровым румянцем во все лицо благодаря правильному образу жизни, который он вел в школе. Волосы у него были светлые и смешно топорщились на голове, нос имел сходство с клювом; из-за этих двух черт был он далеко не красавцем, но он обладал изрядным обаянием и уверенно-грубоватыми манерами, и люди из высшего сословия, встречая его на улице, сразу же признавали в нем молодого богача, который учился в одной из лучших школ Америки. Однако именно это превосходство помешало его успехам в университете — независимость характера ошибочно приняли за эгоизм, а нежелание почтительно принять распорядок Йельского университета как бы принижало всех, которые отдавали этому распорядку должное. Поэтому задолго до конца учения он начал готовиться к жизни в Нью-Йорке.

Нью-Йорк был для него родной стихией — там его собственный дом с прислугой, какой «ныне уже не сыщешь», и его семейство, где он благодаря веселому нраву и умению устраивать любые дела вскоре стал играть главенствующую роль, и светские балы, и настоящий мужской мир спортивных клубов, и порой бесшабашные кутежи с лихими девчонками, на каких его одноклассники только глазели из пятого ряда. Его планы на будущее были вполне заурядны — в число их входила даже некая

безупречная воображаемая красавица, на которой он когда-нибудь женится, но они отличались от планов большинства молодых людей тем, что не были подернуты туманной дымкой, которая известна под различными наименованиями, вроде «идеализма» или «иллюзий». Энсон безоговорочно принимал мир грандиозных финансов и грандиозных проказ, разводов и мотовства, снобизма и привилегий. Большинство из нас кончает жизнь компромиссом, он же пошел на компромисс с первого дня своей жизни.

Мы познакомились с ним в конце лета 1917 года, когда он только что окончил Йельский университет и, подобно всем нам, был захлестнут организованно подогреваемой военной истерией. В зеленовато-синей форме морского летчика он прибыл в Пенсаколу, где оркестр в отеле играл «Прости же, моя дорогая», а мы, молодые офицеры, танцевали с девушками. Он всем сразу понравился и, хотя якшался с пьянчугами и был не очень хорошим летчиком, даже наши инструкторы относились к нему с известным уважением. Он подолгу разговаривал с ними уверенным, убедительным голосом, в результате чего ему обычно удавалось выгородить себя или, гораздо чаще, какого-нибудь другого офицера, которому грозили неприятность. Он кутил, развратничал, был неистово жаден до удовольствий и всех нас поверг в удивление, когда вдруг влюбился в несовременную и очень порядочную девушку.

Звали ее Паула Леджендр, и была она темноволосая, строгая красавица родом откуда-то из Калифорнии. Зимой ее семья жила в ближнем пригороде, и она, несмотря на некоторую чопорность, пользовалась необычайным успехом; есть много мужчин, чье самомнение отталкивает их от насмешливых женщин. Но Энсон был не из таких, и я не мог понять, каким образом ее «прямодушие» — именно так можно это охарактеризовать — привлекло его острый и довольно-таки язвительный ум.

Но как бы то ни было, они полюбили друг друга — и он ей покорился. С тех пор он уже не участвовал в вечерних попойках в баре «Де Сото», и всякий раз, как мы видели вместе, они бывали увлечены длинными, серьезными беседами, которые, вероятно, длились уже много недель. Долгое время спустя он рассказал мне, что эти беседы с глазу на глаз не касались какого-либо определенного предмета, а состояли с обеих сторон в незрелых и даже бессмысленных высказываниях — эмоциональном

содержание, которое все более их насыщало, постепенно рождалось не из слов, а из необычайной серьезности. Это был своего рода гипноз. Часто беседы их прерывались, уступая место тому пустому настроению, которое мы называем весельем; когда же им вновь удавалось остаться вдвоем, эти беседы возобновлялись, торжественно, в приглушенной тональности, словно под некий аккомпанемент, который давал обоим единение чувства и мысли. Вскоре они стали досадовать на малейшую помеху, отринув всякое легкомыслие по отношению к жизни и даже весьма умеренный цинизм своих современников. Они были счастливы, лишь беседуя наедине, и серьезность этих бесед озаряла их, подобно янтарному отблеску камня. Но в конце концов возникла помеха, на которую они не могли досадовать,— в их отношения вмешалась страсть.

Как ни странно, Энсон увлекался этими беседами не меньше, чем она, и был столь же глубоко ими захвачен, хотя и сознавал, что сам он часто бывает неискренен. А она — до наивности простодушна. Поначалу он даже презирал это ее простодушие, но под воздействием его любви девушка обрела душевную глубину и так расцвела, что он уже не мог ее презирать. Он понимал, что, если ему удастся проникнуть в уютную, спокойную жизнь Паулы, он будет счастлив. Долгие беседы избавляли их от всякой принужденности — он научил ее кое-чему из того, что сам усвоил от более легкомысленных женщин, и она восприняла это с восторженной готовностью. Однажды после бала они решили пожениться, и он подробно сообщил о ней в письме к своей матери. На другой день Паула сказала ему, что она богата, что у нее есть собственный капитал почти в миллион долларов.

III

С таким же точно успехом они могли бы сказать: «Оба мы нищие; станем же бедствовать вместе», — ничуть не менее заманчивым представлялось им совместное богатство. Они равно чувствовали себя причастными к некой волнующей тайне. И все же, когда Энсон получил в апреле отпуск и Паула с матерью сопровождали его на Север, на нее произвели глубокое впечатление известность его семьи в Нью-Йорке и невообразимая роскошь их жизни. Оставшись впервые наедине с Энсоном

в комнатах, где он играл еще мальчиком, она испытала приятное чувство, словно оказалась в безопасности, под крепкой защитой. Фотографии Энсона в черной шапочке, когда он был первокласником, Энсона верхом на лошади вместе с подружкой некоего таинственного позабытого лета, Энсона среди веселой гурьбы шаферов и подружек невесты на чьей-то свадьбе вызвали у нее ревность к его прошлой жизни, в которой не было ее; а его личное обаяние так непрерываемо утверждало его власть над всем этим, что ее осенила мысль поскорее вступить с ним в брак и вернуться в Пенсаколу его законной женой.

Но о скором браке и речи не было — даже помолвку решено было хранить в тайне до конца войны. Когда она сообразила, что отпуск его истекает через два дня, ее неудовлетворенность выразилась в жажде возбудить у него такое же нетерпение, какое испытывала она сама. В тот вечер им предстояло обедать в загородной гостинице, и она твердо решила настоять на своем.

В отеле «Риц» поселилась и двоюродная сестра Паулы, девушка суровая и озлобленная, которая любила Паулу, но относилась к ее многообещающей помолвке без зависти, а поскольку Паула была еще не одета, эта двоюродная сестра, которая сама не была приглашена на званый обед, приняла Энсона в гостиной их номера.

Перед этим Энсон, встретившись в пять вечера с приятелями, добрый час выпивал с ними в Йельском клубе. Он вышел из клуба вовремя, и шофер его матери отвез его в «Риц», но он, обычно способный выпить очень много, на сей раз не выдержал, и в жаркой гостиной с паровым отоплением его вдруг развезло. Он сам это сознавал, и ему было одновременно смешно и совестно.

Двоюродной сестре Паулы было двадцать пять лет, но она отличалась удивительной наивностью и не сразу сообразила, в чем дело. Она видела Энсона впервые и была крайне удивлена, когда он промямлил нечто маловразумительное и едва не свалился со стула, но до появления Паулы ей и в голову не пришло, что запах, который, как ей казалось, исходил от вычищенного кителя, в действительности был запахом виски. Зато Паула все поняла, едва переступила порог; единственной ее мыслью было увести Энсона, прежде чем он попадетсся на глаза ее матери, и двоюродная сестра, перехватив ее взгляд, тоже наконец поняла все.

Когда Паула и Энсон спустились к лимузину, который ожидал их у подъезда, там оказались двое незнакомцев,

спавших мертвым сном; то были приятели Энсона, с которыми он и пьянствовал в Йельском клубе, они тоже собрались на званый обед. Он совсем позабыл, что оставил их в автомобиле. По дороге в Хэмстед они проснулись и начали горланить песни. Некоторые песни были непристойны, и, хотя Паула старалась примириться с мыслью, что и Энсон не слишком разборчив в выражениях, она плотно сжала губы от стыда и безглаголивости.

А ее двоюродная сестра, которая осталась в отеле, смущенная и взволнованная, пораздумав немного, вошла в спальню миссис Леджендр со словами:

— Ну не смешон ли этот человек?

— Кто смешон?

— Да вот... этот мистер Хантер. Право, он вел себя так смешно.

Миссис Леджендр бросила на нее пристальный взгляд.

— Что же в нем смешного?

— Да ведь он назвался французом. А я и не знала, что он француз.

— Какие глупости. Ты что-то напутала.— Она улыбнулась.— Это была шутка.

Двоюродная сестра Паулы упрямо покачала головой.

— Нет. Он сказал, что воспитывался во Франции. И еще сказал, что не знает по-английски и поэтому не может со мной объясняться. Он и впрямь не мог!

Миссис Леджендр с досадою отвернулась, а ее племянница добавила задумчиво:

— Возможно, все дело в том, что он был пьян,— и вышла из комнаты.

Странный ее рассказ был сущей правдой. Энсон, обнаружив, что голос у него хриплый, а язык едва ему повинуется, прибег к хитроумной уловке и заявил, что не говорит по-английски. Много лет спустя он любил рассказывать про этот случай и неизменно при этом хохотал, громко и заразительно.

В ближайший час миссис Леджендр пять раз пыталась позвонить в Хэмстед по телефону. Когда наконец это удалось, она вынуждена была ждать добрых десять минут, прежде чем по проводам донесся до нее голос Паулы.

— Джо сказала мне, что Энсон был нетрезв.

— О нет...

— О да. Джо положительно утверждает, что он нетрезв. Он сказал ей, будто он француз, упал со стула, и вообще было очень заметно, что он действительно нетрезв. Я не хочу, чтобы он провожал тебя домой.

— Мама, все будет в порядке! Пожалуйста, не волнуйся насчет...

— Но как же я могу не волноваться! Ведь это ужасно. Дай слово, что ты не позволишь ему себя проводить.

— Я постараюсь, мама...

— Я решительно требую, чтобы он тебя не провожал.

— Хорошо, мама. До свидания.

— Смотри же, Паула, непременно сделай, как я говорю. Попроси кого-нибудь другого отвезти тебя домой.

Паула неторопливо отняла трубку от уха и положила на рычаг. Лицо ее покраснелось от бессильной досады. Энсон храпел в спальне наверху, а званый обед в нижней зале медленно подвигался к концу.

Перед этим, за час езды на автомобиле, Энсон несколько протрезвел. В Хэмстед он приехал просто веселее обычного. Паула надеялась, что вечер все же не испорчен окончательно, но два коктейля, непредусмотрительно выпитые перед обедом, довершили катастрофу. Он обратился к обществу с громогласной и вызывающей речью, которая длилась добрых четверть часа, а потом умолк и свалился под стол — совсем как в старой кинокомедии, но, в отличие от кино, это было отвратительно и ничуть не забавно. Ни одна из молодых девиц, сидевших за столом, словом не обмолвилась об этом происшествии — все сочли за лучшее обойти его молчанием. Дядя Энсона и еще двое мужчин отнесли его наверх, а вскоре Паулу вызвали к телефону.

Через час Энсон проснулся со смятением в душе, глаз его заволакивал туман, сквозь который он не сразу различил дядю Роберта, стоявшего у дверей.

— ...Я говорю, полегчало тебе?

— Что?

— Полегчало тебе, старина?

— Мне ужасно плохо, — ответил Энсон.

— Постараемся влить в тебя еще бромо-зельцер. Попробуй выпить, тебе полезно поспать.

Энсон с трудом спустил ноги на пол и встал.

— Я уже в порядке, — сказал он глухим голосом.

— Ты не спеши.

— Если ты дашь мне стаканчик коньяку, я, пожалуй, спущусь вниз.

— Ну нет...

— Да, это самое лучшее. Я уже в порядке... Наверно, я всех там шокировал.

— Они знают, что тебе стало нехорошо, — сказал дядя с упреком. — Но пускай это тебя не беспокоит. Вот

Шайлер даже не добрался сюда. Упал замертво в гардеробной клуба «Линкс».

Безразличный ко всем мнениям, кроме мнения Паулы, Энсон попытался спасти остаток вечера, но, когда он, приняв холодную ванну, появился в зале, большинство гостей уже разъехалось.

Паула тотчас встала, чтобы ехать домой.

В лимузине они вновь поговорили всерьез, как бывало. Она призналась, что ей давно известно о его пристрастии к спиртному, но такого она не ожидала, и теперь, пожалуй, можно считать, что они не подходят друг для друга. Их понятия о жизни слишком различны, ну и все прочее. Когда она высказалась, Энсон заговорил в свою очередь, причем совершенно трезво. Но Паула сказала, что должна хорошенько подумать; сегодня она не может принять никакого решения; она несколько не сердится, но глубоко огорчена. И она не позволила ему сопровождать ее в отель, но прежде чем выйти из автомобиля, наклонилась и печально поцеловала его в щеку.

На другой день Энсон имел долгий разговор с миссис Леджендр в присутствии Паулы, которая молча слушала. Было условлено, что Паула некоторое время поразмыслит об этом случае, и если мать и дочь сочтут за благо, они приедут к Энсону в Пенсаколу. Он со своей стороны принес извинения, искренне, но с достоинством,—на том дело и кончилось: имея в руках все козыри, миссис Леджендр не сумела использовать свое преимущество. Он не дал никаких обещаний, не стал унижаться, а лишь произнес несколько сентенций о жизни, благодаря чему оставил за собой несомненное моральное превосходство. Когда через три недели они вернулись на Юг, ни Энсон, довольный таким оборотом дела, ни Паула, счастливая тем, что они снова вместе, не сознавали, что психологический момент упущен безвозвратно.

IV

Он покорял и привлекал ее, но в то же время возбуждал в ней тревожное чувство. Смущенная тем, что он держался солидно и при этом всячески покровительствовал своим прихотям, был чувствителен и при этом грубо циничен—нежная душа Паулы не могла вместить эти контрасты,—она теперь видела в нем

двух разных, сменяющих друг друга людей. Когда она видела его наедине, или на официальных приемах, или с подчиненными ему солдатами, она бесконечно гордилась его сильной, обаятельной личностью, его блестящим, проникновенным, отечески отзывчивым умом. А в другом обществе ей становилось не по себе, когда прежняя благородная независимость являла свой второй лик. Этот лик бывал груб, насмешлив, нарочито пренебрежителен ко всему, кроме наслаждений. Иной раз это вызывало отвращение и даже толкнуло ее на встречи с одним старым поклонником, но тщетно — после четырех месяцев чарующей живости Энсона все остальные мужчины казались ей бесцветными и худосочными.

В июле он получил приказ отбыть за границу, и связывавшие их нежность и страсть достигли предела. Паула подумывала о свадьбе в самый канун его отъезда — она отказалась от этой мысли лишь потому, что теперь от него всегда пахло коктейлями, но после расставания буквально заболела от горя. Когда он уехал, она стала писать ему длинные покаянные письма, сожалея о днях любви, которые они упустили, выжидая напрасно. В августе аэроплан Энсона был сбит и упал в Северное море. Целую ночь Энсон плавал по волнам, а потом его подобрал эсминец и доставил в госпиталь с крупозным воспалением легких. На родину его отправили уже после того, как было подписано перемирие.

И вот, когда они вновь обрели утерянные возможности и перед ними не стояли никакие материальные препятствия, подспудные сплетения характеров разделили их, как стена, иссушали их поцелуи и слезы, не давали им понять друг друга, заглушили сокровенное общение их душ, и, наконец, прежняя близость стала возможной лишь в письмах, на расстоянии. Однажды некий светский хроникер битых два часа дожидался в доме Хантером подтверждения их помолвки. Энсон эту помолвку отрицал; и все же в утреннем выпуске газеты на первой полосе появился репортаж — их «постоянно видели вместе в Саутгемптоне, в Хот-Спрингс и в Таксидо-Парке». Но серьезные беседы переросли в затянувшуюся ссору и дело едва не расстроилось совсем. Энсон напилился вдрызг и не пришел на свидание, после чего Паула потребовала от него, чтобы он держался в определенных рамках. Его отчаянье оказалось бессильным перед его гордостью и знанием самого себя: помолвка была окончательно расторгнута.

«Любовь моя,— писали они теперь друг другу,— единственная любовь моя, когда я просыпаюсь среди ночи и сознаю, что, в конце концов, это можно было предотвратить, мне хочется умереть. Я просто не в состоянии больше жить на свете. Быть может, летом, когда мы увидимся, то обсудим положение вещей и примем иное решение — в тот день мы были так взволнованы и огорчены, и мне страшно подумать, что придется прожить без тебя всю свою жизнь. Ты ссылаешься на пример других. Но разве ты не знаешь, что другие для меня попросту не существуют, только ты...»

Однако Паула, разъезжая по восточным штатам, порой упоминала в письмах про свои развлечения, желая разжечь его любопытство. Но Энсон был проницателен. Когда он находил в ее письме упоминание о каком-нибудь мужчине, его уверенность в ней только крепла, смешиваясь с легким презрением,— он всегда был выше подобных глупостей. И все же он не терял надежды когда-нибудь на ней жениться.

Меж тем он с головой окунулся в суету и блеск послевоенного Нью-Йорка, вступил в маклерскую контору и в пять или шесть клубов, танцевал до поздней ночи и вращался разом в трех мирах — в своем собственном мире, в мире выпускников Йельского университета и в том полусвете, который одним концом упирается в Бродвей. Но ежедневно и неизменно он посвящал восемь часов усердной работе в конторе на Уолл-стрит, где сочетание влиятельных семейных связей, острого ума и бьющей через край физической энергии почти сразу же помогли ему выдвинуться. У него была поистине редкостная голова, как бы с перегородками внутри; порой он являлся в контору, проспав ночью менее часа, но это случалось редко. К 1920 году его доход, состоящий из фикса и комиссионных, уже превышал двенадцать тысяч долларов.

По мере того как университетские традиции отодвигались в прошлое, он становился все более заметной личностью среди своих однокашников в Нью-Йорке — заметнее, чем некогда в университете. Жил он в роскошном особняке и имел возможность открывать молодым людям доступ в другие роскошные особняки. Более того, жизнь его уже была, видимо, полностью устроена, тогда как большинству приходилось начинать все сначала. Они стали обращаться к Энсону, когда искали развлечения или покровительства, и он шел навстречу, охотно помогая другим и улаживая их дела.

Теперь из писем Паулы исчезли упоминания о мужчинах, они были проникнуты нежностью, ранее им несвойственной. Из разных источников до него дошли сведения, что у нее появился «серьезный поклонник», Лоуэлл Тэйер, богатый и видный бостонец, и хотя Энсон все еще был уверен, что она любит только его, но при мысли, что он может ее потерять, ему становилось не по себе. Кроме одного короткого дня, она не была в Нью-Йорке без малого пять месяцев, и чем шире распространялись слухи, тем сильнее желал он с нею увидеться. В феврале он взял отпуск и поехал во Флориду.

Палм-Бич, пышный и изобильный, распростерся между искрящимся сапфиром озера Уэрт, где покачивались на якорях яхты, превращенные в плавучие виллы, и безбрежным бирюзовым простором Атлантического океана. Громады отелей «Волнолом» и «Королевская пальма» вздымались, как два горба, над светлой песчаной поверхностью, а вокруг разместились танцевальный зал, игорный дом Брэдли да с десятков дамских магазинов и галантерейных лавок, где заламывали цены втрое выше, чем в Нью-Йорке. На решетчатой веранде «Волнолома» сотни две женщин двигались направо, потом налево, кружились, скользили по полу, выполняя знаменитые в те годы гимнастические упражнения, именуемые «шимми», и две тысячи браслетов со звоном скользили под музыку, через такт, то вверх, то вниз по двум сотням рук.

Поздно вечером в клубе «Вечнозеленая поляна» Паула, Лоуэлл Тэйер, Энсон и случайно подвернувшийся четвертый партнер с увлечением играли в бридж. Энсону показалось, что ее милое сосредоточенное лицо бледно и устало — она ведь начала выезжать четыре или даже пять лет назад. А он знал ее три года.

— Две пики.

— Не угодно ли сигарету?.. Ах, прошу прощения. Я пас.

— И я.

— Шесть в пиках.

В зале было более десятка карточных столиков, над которыми плавал густой табачный дым. Энсон поймал взгляд Паулы и упорно не отпуская его, даже когда Тэйер это заметил...

— Какую масть объявили? — спросил Энсон небрежно.

Нежная роза с Вашингтон-сквер, —

пели молодые люди, сидевшие по углам, —

*Вянет в подвале, страшнее пещер,
Где свет дневной безотраден и сер...*

Дым клубился, как туман, и едва распахивалась дверь, в залу врывались вихри сырого воздуха. Миловидные девушки мелькали у столиков, разыскивая мистера Конан Дойля среди англичан с самыми английскими замашками

— Это же ясно как день.

— ...ясно как день.

— ...как день.

После окончания роббера Паула внезапно встала из-за стола и заговорила с Энсоном тихим, взволнованным голосом. Едва взглянув на Лоуэлла Тэйера, они вышли за дверь, спустились по длинной каменной лестнице и через минуту уже шли, рука в руке, по залитому лунным светом берегу.

— Счастье мое, счастье мое...

Они обнялись жарко, иступленно, под покровом вечерней темноты... Потом Паула отстранилась, чтобы губы его могли сказать то, что ей так хотелось услышать,—она чувствовала, как слова эти готовы были вырваться наружу, когда они поцеловались еще раз... И опять она высвободилась из его объятий и слушала, но он вновь привлек ее к себе, и тут она поняла, что он не сказал ничего, только: «Счастье мое! Счастье мое!» — тем глухим, печальным шепотом, от которого ей всегда хотелось плакать. Покорно, безропотно она подчинилась ему, смирив свои чувства, слезы струились по ее лицу, а душой она непрестанно взывала: «Сделай мне, о Энсон, дорогой, сделай же мне предложение!»

— Паула... Паула!

Слова эти терзали ей сердце, словно грубые руки, и Энсон, почувствовав, что она вся дрожит, понял, что надо умерить пылкость. Незачем говорить что-либо еще, подвергать их неведомым жизненным превратностям. К чему это, если он может просто держать ее вот так и ждать—еще год или всю жизнь? Он ведь заботился о них обоих, и о ней больше, чем о себе. На мгновение, когда она вдруг сказала, что ей пора возвращаться в отель, он заколебался, подумав сперва: «В конце концов, сейчас самый подходящий момент», а потом: «Нет, лучше повременить—ведь она моя...»

Он совсем забыл, что Паула тоже внутренне опустошена после трехлетнего напряжения. Ее чувства навсегда капнули в ночь.

На другое утро он вернулся в Нью-Йорк, испытывая какую-то тревожную неудовлетворенность. В конце апреля совершенно неожиданно он получил из Бар-Харбор телеграмму, в которой Паула сообщала о своей помолвке с Лоуэллом Тэйером и о том, что свадьба состоится в Бостоне, теперь же. То, в свершение чего он никогда не мог поверить, все же свершилось.

В тот день Энсон с утра накачался виски, потом поехал в контору и работал там без малейшего перерыва — он боялся, что, если прервется, произойдет что-то ужасное. Вечером он, как обычно, ушел из дома, никому не сказав о полученном известии; он был сердечен, весел, внимателен. Но в одном он оказался бессилён — целых три дня, где бы он ни был, в чьем бы обществе ни проводил время, он иногда вдруг закрывал лицо руками и плакал, как ребенок.

V

В 1922 году Энсон вместе с младшим компаньоном съездил за границу для проверки кое-каких займов в Лондоне, а это означало, что ему предстоит стать совладельцем фирмы. Ему исполнилось двадцать семь лет, он был уже несколько грузен, хотя и не толст, и выглядел старше своих лет. Старики и молодежь любили его и оказывали ему всяческое доверие, а мамыши бывали спокойны, отдавая своих дочерей на его попечение, потому что он имел привычку, придя в дом, общаться с самыми пожилыми и патриархальными членами семейства. «Мы с вами, — словно говорил он, — люди солидные. Мы знаем что к чему».

Он инстинктивно и в общем милосердно угадывал слабости мужчин и женщин, вследствие чего, подобно священнику, особенно заботился о соблюдении внешних приличий. Характерно, что каждую неделю он по утрам вел занятия в фешенебельной епископальной воскресной школе — даже когда, после ночного кутежа, едва успевал принять холодный душ и переодеться в черную визитку.

После смерти отца он фактически стал главой семьи и в сущности вершил судьбы младших братьев и сестер. По причине некоторых осложнений власть его не распространялась на отцовское состояние, которым распоряжался дядя Роберт, заядлый лошадиник и добродушный пьянчуга, любивший проводить время с друзьями на ипподроме.

Дядя Роберт и его жена Эдна очень дружили с Энсоном в пору его юности, и дядя был разочарован, когда племянник проявил высокомерное пренебрежение к конному спорту. Он рекомендовал его в клуб, доступный лишь для избранных, поскольку допускали в него только тех, чьи предки «участвовали в созидании Нью-Йорка» (или, другими словами, успели разбогатеть до 1880 года), — и когда Энсон, будучи избран, все же предпочел Йельский клуб, дядя Роберт высказал ему свое неудовольствие. Но когда в довершение ко всему Энсон отказался от услуг консервативной и несколько захудалой посреднической фирмы самого Роберта Хантера, между ними началось серьезное охлаждение. Подобно учителю начальной школы, он выучил племянника всему, что знал сам, и теперь для него не стало места в жизни Энсона.

А в жизни этой было многое множество друзей, причем почти каждому Энсон оказал какую-либо исключительно важную услугу и почти каждого ему случалось сконфузить неожиданным взрывом грубейшей брани или же своим обыкновением пьянствовать всегда и всюду, где только взбредет охота. Он досадовал, когда кто-то другой сбивался с пути, но к собственным порокам всегда относился со спокойным юмором. Порой с ним случались престранные вещи, о которых он потом рассказывал с заразительным смехом.

В ту весну я служил в Нью-Йорке и часто завтракал с ним в Йельском клубе, где состояли и питомцы нашего университета, пока для нас не выстроили собственного клуба. В свое время я узнал из газет о замужестве Паулы, и как-то раз, когда я спросил о ней, что-то побудило его рассказать мне все. После этого случая он часто приглашал меня к себе домой на семейные обеды и держался так, словно нас связывают какие-то особые отношения, словно вместе с его доверием частица этих гложущих душу воспоминаний перешла и ко мне.

Я убедился, что, несмотря на доверчивость матерей, его отношение к девушкам не всегда оказывалось чисто покровительственным. Это уж было заботой девушки — если она не проявит достаточной твердости, пускай пеняет на себя, даже когда имеет дело с ним.

«Жизнь, — объяснял он, — превратила меня в циника»

Под жизнью он разумел Паулу. Иногда, особенно во время попоек, мысли его несколько путались, и он считал, что она бесчувственно его бросила.

Из-за этого «цинизма» или, вернее, сознания, что девицы, легкомысленные от природы, не достойны снисхожденности, и начался его роман с Долли Карджер. В те годы у него были и другие романы, но только история с Долли глубоко затронула его и серьезно повлияла на его отношение к жизни.

Долли была дочерью известного журналиста, который взял жену из высшего общества. Сама Долли состояла в Благотворительном союзе благородных девиц, ее первый бал состоялся в отеле «Плаза», и лишь немногие семьи, вроде Хантеров, могли усомниться, принадлежит ли она к их кругу или нет, потому что портрет ее частенько появлялся в газетах и ей оказывали больше завидного внимания, чем многим девушкам, которых несомненно считали своими. Была она черноволоса с алыми губками и прелестным румянцем, который она весь первый год старалась приглушить серовато-розовой пудрой, потому что румянец был тогда не в моде — предпочтение отдавалось бледности викторианских времен. Она носила строгие черные костюмы, часто стояла, засунув руки в карманы и слегка наклонясь вперед с насмешливо-скромным выражением лица. Она превосходно танцевала, танцы ей нравились больше всего на свете — больше всего, если не считать влюбленностей. С десяти лет она была постоянно влюблена, причем обычно в какого-нибудь мальчика, который не отвечал ей взаимностью. Те же, которые отвечали — а таких было множество, — надоедали ей после первой встречи, тогда как к равнодушным она хранила в сердце самые теплые чувства. Встречаясь с ними, она неизменно возобновляла свои попытки, иногда с успехом, но чаще неудачно.

Этой вечной искательнице недостижимого никогда не приходило в голову, что между мужчинами, отказавшими ей в своей любви, было некое сходство — все они обладали безошибочным чутьем, прозревая ее слабость, слабость не чувства, а характера. Энсон понял это с первой же встречи, когда после замужества Паулы не прошло и месяца. Он очень много пил и целую неделю притворялся, будто влюблен в нее. Потом он внезапно ее бросил и позабыл, чем незамедлительно покорила ее сердце.

Подобно многим девушкам того времени, Долли была слабодушна и безудержно сумасбродна. Пренебрежение к условиям, свойственное поколению чуть постарше ее, было лишь одним из выражений послевоенной склон-

ности молодежи скомпрометировать устаревшие нравы,— у Долли это получалось менее современно и менее ловко, она видела в Энсоне те две крайности, которые привлекают эмоционально неустойчивую женщину,— слепое потворство своим прихотям в сочетании с силой, в которой можно обрести опору. В его характере она ощущала сибаритство наряду с несокрушимой твердостью, и обе эти черты отвечали ее природным наклонностям.

Она предвидела, что ей будет нелегко, но ошиблась в причине — она полагала, будто Энсон и его родные желают, чтобы он сделал более блестящую партию, зато сразу догадалась, что ее преимущество в его неравнодушии к спиртному.

Они встречались на больших молодежных балах, но по мере того как росла ее страсть, стали видаться все чаще и чаще. Подобно всем матерям, миссис Карджер полагала, что Энсон заслуживает полнейшего доверия, отпускала с ним Долли в отдаленные загородные клубы и в гости, не особо допытываясь, что они там делают, и верила рассказам дочери, когда они возвращались поздней ночью. Поначалу, возможно, эти рассказы были правдивы, но вскоре Долли уже не помышляла о браке, ее захлестнул нарастающий поток чувства. Поцелуи на задних сиденьях такси и частных автомобилей уже не удовлетворяли их, и тогда они выкинули престранную штуку.

На время они исчезли из своего прежнего мира и влились в другой, расположенный чуть пониже, где пьянство Энсона и вольный образ жизни Долли были не так заметны, вызывая меньше толков. Мир этот оказался весьма разнороден — несколько товарищей Энсона по университету со своими женами, двое или трое молодых маклеров и перекупщиков акций да горстка людей без определенных занятий, которые недавно окончили курс, имели деньги и жаждали развлечений. Хотя этот мир был не слишком велик и просторен, зато люди здесь предоставляли им свободу, какую едва ли могли позволить самим себе. Более того, мир этот вращался вокруг них и позволял Долли держаться небрежно-снисходительно — удовольствие, которое Энсон, самоуверенный с детства и всю жизнь проявлявший снисходительность, не мог разделить.

Он не был в нее влюблен и не раз прямо говорил ей то в долгую, бурную зиму их романа. Весной он почувствовал усталость, ему захотелось обновить свою

жизнь из какого-либо иного источника — более того, он понимал, что должен либо порвать с ней немедленно, либо пойти на незаконную связь и принять на себя ответственность. Благоклонность ее родных ускорила решение — однажды вечером, когда мистер Карджер скромно постучал в дверь библиотеки, чтобы сказать, что оставил в столовой бутылку хорошего старого коньяка, Энсон почувствовал, что жизнь берет его в тиски. В ту же ночь он написал Долли короткую записку, сообщая, что уезжает в отпуск и, учитывая все обстоятельства, им разумнее больше не видеться.

Это было в июне. Его родные заперли дом и уехали за город, поэтому он временно поселился в Йельском клубе. Я не раз слышал об этом романе с Долли по мере его развития — рассказы, приправленные солеными шуточками, потому что он презирал изменчивых женщин и не отводил им места в общественной системе, в которую верил, — и в тот вечер, когда он мне сказал, что окончательно решил с нею порвать, я очень обрадовался. Мне случалось встречать Долли то тут, то там, и всякий раз я испытывал жалость при виде ее беспомощной борьбы, а также стыд, оттого что я так много про нее знаю, не имея на это никакого права. Она была, что называется, «премиленькая крошка», но чувствовалась в ней некая дерзость, которая не оставляла меня равнодушным. Ее поклонение божеству расточительности было бы не так заметно, будь она хоть немного сдержаннее — она наверняка растратит себя, — но я обрадовался, что гибель ее произойдет не у меня на глазах.

Энсон намеревался оставить прощальную записку у нее дома на следующее утро. Это был один из немногих домов, не пустовавших тогда в районе Пятой авеню, и он знал, что Карджеры, введенные в заблуждение рассказами Долли, отказались от заграничной поездки в угоду дочери. Выходя из Йельского клуба на Мэдисон-авеню, он встретил почтальона и вернулся. Первое же письмо, которое попало к нему на глаза, было надписано рукой Долли.

Он заранее знал содержание — тоскливый и трагический монолог, полный упреков, уже не раз слышанных, бесконечных восклицаний, всяких «если бы я только могла подумать» — всех давних интимных признаний, которые он сделал Пауле Леджендр, казалось, уже сто лет назад. Перелистав несколько счетов, он снова дошел до этого письма и вскрыл конверт. К его удивлению, это была короткая, сухая записка, в которой Долли уведом-

ляла, что не сможет поехать с ним за город на субботу и воскресенье, потому что в Нью-Йорк неожиданно приехал из Чикаго Перри Хэлл. В конце было сказано, что виноват во всем сам Энсон: «...если бы я чувствовала, что ты любишь меня так же сильно, как я тебя, я поехала бы с тобою куда угодно и когда угодно, но Перри так мил и так хочет, чтобы я вышла за него замуж...»

Энсон презрительно усмехнулся—ему уже приходилось иметь дело с подобными обманными посланиями. Более того, он знал, как Долли придумала этот план,—вероятно, сама вызвала своего верного поклонника Перри, рассчитав время его приезда, и даже сочинила записку с расчетом вызвать в нем ревность, но при этом не оттолкнуть его от себя. Как и в большинстве компромиссов, здесь не было ни решительности, ни упорства, а только робкое отчаянье.

Вдруг он рассердился. Он сел в вестибюле и снова перечитал записку. Потом подошел к телефону, позвонил Долли и сказал громким, властным голосом, что получил записку и заедет к ней в пять часов, как и было условлено. Не дослушав до конца ее притворно неуверенный ответ: «Один час я смогу тебе уделить»,—он повесил трубку и отправился к себе в контору. По дороге он изорвал свое письмо в мелкие клочки и швырнул их на мостовую.

Он не ревновал—Долли для него ничего не значила,—но ее трогательная уловка всколыхнула в нем все упорство и самовлюбленность. Это была дерзость со стороны существа, стоявшего ниже его в умственном развитии, и он не мог такого стерпеть. Если ей угодно знать, кто ее повелитель, она скоро узнает это.

Он был у ее порога в четверть шестого. Долли встретила его, одетая так, будто собиралась уходить, и он молча выслушал все ту же тираду: «Я могу уделить тебе не более часа»,—которую она начала по телефону.

— Надень шляпу, Долли,—сказал он,—и пойдем прогуляемся.

Они пошли по Мэдисон-авеню, а потом дальше, по Пятой, была жара, и рубашка на располневшем Энсоне измокла. Он говорил мало, выругал ее, воздержался от любовных нежностей, но не прошли они и шести кварталов, как она уже снова безраздельно принадлежала ему, просила прощения за свою записку, обещала, во искупление вины, совсем не видеться с Перри, обещала решительно все. Она думала: раз он пришел, значит, он уже немножко ее любит.

— Мне жарко,— сказал он, когда они дошли до Семьдесят первой улицы.— На мне зимний костюм. Если я зайду домой переодеться, ты подождешь меня внизу? Всего одну минуту.

Она была счастлива признанием, что ему жарко, всякая интимная подробность о нем наполняли ее восторгом. Когда они подошли к дверям, забранным железной решеткой, и он вынул из кармана ключ, она ощутила неудержимую радость.

В вестибюле было темно, и, когда он поднялся на лифте, Долли приподняла портьеру и взглянула сквозь матовые узоры на дома напротив. Она слышала, как лифт остановился, и, желая подшутить, нажала кнопку вызова. Потом, повинаясь почти сознательному стремлению, вошла в лифт и поднялась на тот этаж, где, по ее соображениям, была его комната.

— Энсон,— окликнула она его с коротким смешком.

— Минутку,— отозвался он из спальни... И после недолгого молчания произнес: — Можешь войти.

Он уже переоделся и застегивал жилет.

— Вот моя комната,— сказал он непринужденно.— Как ты ее находишь?

Она заметила фотографию Паулы на стене и разглядывала ее не отрываясь, так же, как сама Паула пять лет назад разглядывала фотографии девочек, которыми Энсон увлекался в детстве. Она кое-что знала о Пауле, иногда ее мучили обрывки этой истории.

Вдруг она подошла к Энсону, протягивая к нему руки. Они обнялись. За окном, внизу, уже сгущались сумерки, хотя крыша по ту сторону улицы еще была освещена солнцем. Через полчаса в комнате станет совсем темно. Оттого, что случай представился так неожиданно, у них перехватило дыхание, и они еще теснее прижались друг к другу. Это было неминуемо, неизбежно. Не разжимая объятий, они подняли головы — взгляды их одновременно упали на фотографию Паулы, которая смотрела на них со стены.

Энсон неожиданно уронил руки, отошел к письменному столу, вынул связку ключей и стал отпирать ящик.

— Хочешь выпить? — спросил он хрипло.

— Нет, Энсон.

Он налил себе полстакана виски, выпил залпом, потом отворил дверь в холл.

— Пойдем,— сказал он.

Долли мешкала в нерешительности.

— Энсон... я все-таки поеду с тобой за город сегодня вечером. Ведь ты все понимаешь, правда?

— Конечно,— отвечал он резко.

В машине Долли они поехали на Лонг-Айленд, чувствуя близость, какой до тех пор не испытывали. Они заранее знали, чем это кончится,—ведь теперь лицо Паулы уже не будет напоминать им о том, что в их отношениях чего-то недостает, и когда они окажутся наедине в ночной тиши Лонг-Айленда, им это будет безразлично.

Усадьба в Порт-Вашингтоне, где они намеревались провести субботу и воскресенье, принадлежала родственнице Энсона, которая вышла замуж за владельца медных копей из Монтаны. От привратничкой длинная дорога вилась меж посаженных здесь привозных тополей к огромному розоватому особняку в испанском стиле. Энсон уже не однажды бывал здесь.

После обеда они потанцевали в клубе «Линкс». Около полуночи Энсон решил, что его родственники не уедут из клуба раньше двух,—а тогда объяснил кому-то, что Долли устала, он отвезет ее домой, а сам еще вернется. Слегка дрожа от волнения, они сели в автомобиль, взятый у знакомых, и поехали в Порт-Вашингтон. Возле привратничкой Энсон остановил машину и спросил ночного сторожа:

— Ты когда пойдешь в обход, Карл?

— Прямо сейчас.

— Значит, ты будешь здесь к приезду всех остальных?

— Да, сэр.

— Ладно. Слушай же: когда чей-нибудь автомобиль, все равно чей, свернет в ворота, сразу дай мне знать по телефону.— Он сунул Карлу в руку пятидолларовую бумажку.— Ты меня понял?

— Да, мистер Энсон.— Человек старой закалки, он не улыбнулся и не подмигнул. Но Долли все-таки отвернулась.

У Энсона был с собой ключ. Войдя в дом, он наполнил два бокала—Долли свой даже не пригубила,—потом проверил, где стоит телефон, и убедился, что звонок будет хорошо слышен из их комнат; обе были в нижнем этаже.

Через пять минут он постучался к Долли.

— Это ты, Энсон?

Он вошел и притворил за собой дверь. Долли лежала в постели, она нетерпеливо приподнялась, опершись локтем о подушку; он сел рядом и обнял ее.

— Энсон, милый.

Он не ответил.

— Энсон... Энсон! Я люблю тебя... Скажи, что и ты меня любишь. Скажи же — скажи скорей, ну? Даже если это неправда!

Он не слушал. У нее над головой, на стене, висела фотография Паулы.

Он встал и подошел ближе. Рамка тускло поблескивала в троекратно отраженном свете луны — а в ней, словно расплывчатое пятно, виднелось лицо, которое, как он понял, было ему незнакомо. Сдерживая подступающие рыдания, он отвернулся и с отвращением посмотрел на худенькую девушку, лежавшую в постели.

— Все это вздор, — сказал он глухо. — Сам не знаю, как это взбрело мне в голову. Я не люблю тебя, так что ты уж лучше подожди, пока кто-нибудь другой тебя полюбит. А я тебя совсем не люблю, понятно?

Голос изменил ему, и он поспешно вышел из комнаты. Вернувшись в гостиную, он непослушными руками наливал себе выпить, как вдруг парадная дверь отворилась и вошла его родственница.

— Что я слышу, Энсон, Долли нездоровится? — начала она озабоченно. — Мне сказали...

— Пустое, — перебил он ее, повысив голос, так чтобы Долли услышала его из своей комнаты. — Просто она устала. Она уже легла.

Долго после этого Энсон верил, что милостивый господь иногда вмешивается в человеческие дела. Но Долли Карджер, которая всю ночь пролежала без сна, вперив взгляд в потолок, с тех пор уже никогда ни во что не верила.

VI

Осенью, когда Долли вышла замуж, Энсон был в Лондоне, куда уехал по делам. Как и Паула, она вступила в брак неожиданно, но это подействовало на него иначе. Сперва история показалась ему забавной, и при мысли о ней хотелось смеяться. Потом это стало его удручать — он почувствовал себя стариком.

Во всем этом было что-то однообразное — а ведь Паула и Долли принадлежали к разным поколениям. Он чувствовал себя подобно сорокалетнему мужчине, который узнал, что дочь его старой возлюбленной вышла

замуж. Он послал поздравительную телеграмму, как некогда Пауле, но теперь поздравления его были искренни, — в то, что Паула найдет свое счастье, он никогда не верил.

Вернувшись в Нью-Йорк, он стал одним из хозяев фирмы, и в связи с возросшей ответственностью у него теперь оставалось гораздо меньше досуга. Отказ страховой компании выдать ему полис на страхование жизни произвел на него такое впечатление, что он целый год не пил и утверждал, что здоровье его заметно укрепилось, хотя, вероятно, скучал по дружескому застолью, где он еще в двадцать лет в духе Бенвенуто Челлини повествовал о своих похождениях, так много значивших в его жизни. Но он по-прежнему посещал Йельский клуб. Он был там выдающейся личностью, знаменитостью, и склонность его ровесников, вот уже семь лет как вышедших из университета, примкнуть к более трезвым кругам при нем заметно слабела.

Он в любой день находил время и душевные силы, чтобы оказать помощь всякому, кто об этом просил. То, что он прежде делал из гордости и чувства превосходства, превратилось в привычку и пристрастие. А что-нибудь случалось всегда — то неприятности у младшего брата в Нью-Хейвене, то ссора друга с женой, которую нужно было уладить, то предстояло пристроить на работу одного и помочь выгодно поместить деньги другому. Но особенно успешно он помогал преодолевать трудности недавно сочетавшимся супружеским парам. Молодоженов он обожал, и дома их были для него едва ли не священные, — он знал историю их любви, советовал, где и как жить, помнил по именам их детей. К юным женам он относился с осторожностью: никогда не злоупотреблял тем доверием, которое мужья неизменно ему оказывали, — что было весьма странно, если учесть его нескрываемую распущенность.

Он стал вчуже радоваться счастливым бракам и почти как же сильно печалился о тех, которые не удавались. Что ни год, на его глазах рушились браки, которые он сам, возможно, породил. Когда Паула развелась с мужем и почти сразу же вышла за другого бостонца, он целый день разговаривал со мною только о ней. Ему уж никогда не полюбить так, как он любил Паулу, но теперь, уверял он, она ему безразлична.

— Я никогда не женюсь, — сказал он в заключение. — Слишком много я насмотрелся на такие дела и знаю, что

счастливый брак — величайшая редкость. К тому же я слишком стар.

Но он все-таки верил в брак. Как все отпрыски счастливого, безоблачного союза, он верил истово, ничто из того, что ему довелось видеть, не могло поколебать этой веры, весь его цинизм при этом словно сдувало ветром. Но не менее искренне он верил в то, что он слишком стар. В двадцать восемь лет он хладнокровно примирился с мыслью о браке без романтической любви; он решительно остановил свой выбор на девушке из Нью-Йорка, принадлежавшей к его кругу, миловидной, умной, достойной, безупречной во всех отношениях — и попробовал в нее влюбиться. Слова, которые он говорил Пауле с полнейшей искренностью, а другим девушкам — с подлинным изяществом, теперь он вообще не мог вымолвить без улыбки или достаточно убедительно.

— Когда мне стукнет сорок, — говорил он друзьям, — я созрею для женитьбы. И тогда я найду себе какую-нибудь хористочку, как все прочие.

Однако же он упорно стремился преуспеть в своем намерении. Мать хотела, чтобы он женился при ее жизни, и теперь это было ему вполне по средствам — он приобрел постоянное место на бирже и имел двадцать пять тысяч годовых. Перспектива была приятная: если его друзья — а он по большей части проводил свободное время с теми, кого знал во времена Долли, — по вечерам замыкались в домашнем кругу, он уже не радовался своей свободе. Порой он думал, что, пожалуй, зря не женился на Долли. Ведь даже Паула не любила его так страстно, а теперь он все более убеждался, как редко на протяжении одной жизни можно встретить истинное чувство.

В то самое время, когда им начало овладевать такое настроение, до него дошла тревожная весть. Его тетушки Эдна, которой было под сорок, открыто вступила в связь с совсем молодым человеком, запойным пьяницей и заядлым распутником по имени Кэри Слоун. Об этом знали все, кроме Энсонова дяди Роберта, который вот уже пятнадцать лет долгие часы проводил за разговорами в клубе и безоглядно верил своей жене.

Весть эта достигала ушей Энсона вновь и вновь, порождая в нем все более сильную досаду. Былая привязанность к дяде частично воскресла в его душе, причем чувство это было не просто личным, а как бы знаменовало возврат к семейной солидарности, на которой жи-

дилась вся его гордость. Чутьем он угадал самое существенное, а именно, что нужно охранить дядю от удара. Только теперь ему впервые довелось непрошено вмешаться в чужие дела, но он хорошо знал характер Эдны и чувствовал, что успешней справится с этим, нежели окружной судья или сам дядя Роберт.

Дядя в это время находился в Хот-Спрингс. Энсон добрался до первоисточника слухов, убедился, что ошибки быть не может, а затем позвонил Эдне и пригласил ее позавтракать с ним на другой день в ресторане отеля «Плаза». Что-то в его тоне, вероятно, ее испугало, потому что она согласилась не сразу, но он настоял на своем, предлагая отложить разговор на любой срок, так что в конце концов она уже не могла найти предлога для отказа.

Она пришла в назначенное время в вестибюль «Плазы», очаровательная, хотя уже слегка поблекшая сероглазая блондинка в мантии из русских соболей. Пять массивных колец с бриллиантами и изумрудами холодно сверкали на ее тонких пальцах. Энсону пришло в голову, что лишь благодаря практической сметке его отца, а не дяди Роберта, были нажиты эти роскошные меха и драгоценности, целое богатство, которое поддерживало ее угасающую красоту.

Хотя Эдна сразу почувствовала в нем враждебность, прямота его захватила ее врасплох.

— Эдна, я изумлен твоим поведением в последнее время,— сказал он твердо и без обиняков.— Сначала я просто отказывался верить.

— Чему именно?— спросила она резко.

— Незачем притворяться передо мною, Эдна. Я говорю о Кэри Слоуне. Помимо всех прочих соображений, я считаю, что ты не вправе так поступать с дядей Робертом...

— Послушай, Энсон,— начала она сердито, но он перешел к повелительному тону:

— ...и с твоими детьми. Ты уже восемнадцать лет как жмуем, и в твоём возрасте пора бы поумнеть.

— Ты не смеешь так со мной разговаривать. Ты..

— Нет, смею. Дядя Роберт всегда был моим лучшим другом.— Энсон волновался не на шутку. Он был искренне огорчен за дядю и троих малолетних братьев и сестер. Эдна встала, не притронувшись к своему коктейлю.

— Трудно придумать что-либо глупее...

— Хорошо, если тебе не угодно меня слушать, я поеду к дяде Роберту и расскажу ему правду— все равно

рано или поздно он об этом узнает. А затем я отправлюсь к старому Мозесу Слоуну.

Эдна снова тяжело опустилась на стул.

— Говори потише,— взмолилась она. Глаза ее затуманились слезами.— У тебя такой громкий голос. Право, ты мог бы выбрать не такое людное место, чтобы предъявить мне эти безумные обвинения.

Он промолчал.

— Ах, я знаю, ты никогда меня не любил,— продолжала она.— И вот теперь ты пользуешься какой-то нелепой сплетней, чтобы лишить меня единственного интересного знакомства, какое у меня появилось за всю мою жизнь. Что я тебе сделала, чем навлекла на себя такую ненависть?

Энсон по-прежнему выжидал. Он знал, что сейчас она начнет взывать к его рыцарским чувствам, к состраданию и, наконец, к его несравненной житейской мудрости,— а когда он вытерпит все эти излияния, она пустится на откровенность, и тогда между ними произойдет решительная схватка. Молчаливый, непроницаемый, постоянно прибегая к своему испытанному оружию, которым было его праведное негодование, он запугал ее, довел до неистовства еще до того, как кончился завтрак. В два часа она вынула зеркальце и носовой платок, утерла со щек следы пролитых слез и припудрила морщинки на лице. Она согласилась принять его у себя дома в пять вечера.

Когда он приехал, она лежала в шезлонге, покрытом на летнее время кретоном, и в глазах ее, казалось, еще стояли слезы, которые он вызвал за завтраком. А потом он осознал, что у холодного камина стоит мрачный, встревоженный Кэри Слоун.

— Что это вам взбрело в голову?— сразу же напустился на него Слоун.— Насколько я понял, вы пригласили Эдну в ресторан и стали угрожать ей, ссылаясь на какую-то пустую сплетню.

Энсон сел.

— У меня есть основания полагать, что это не просто сплетня.

— Я слышала, вы намерены преподнести ее Роберту Хантеру и моему отцу.

Энсон кивнул.

— Либо вы все прекратите, либо я так и сделаю,— сказал он.

— А какое, черт побери, вам до этого дело, Хантер?

— Не надо сердиться, Кэри,— всполошилась Эдна.— Надо только объяснить ему, как нелепо...

— Прежде всего это порочит мое доброе имя,— перебил ее Энсон.— Вот и все, что касается вас, Кэри.

— Эдна не член вашей семьи.

— Совсем напротив, смею заверить!— Он сердился все больше.— И этот дом, и эти кольца, которые она носит, достались ей благодаря редкому уму моего отца. Когда дядя Роберт женился на ней, у нее гроша ломаного за душою не было.

Все разом поглядели на кольца так, словно они играли важную роль в создавшемся положении.

— Думается мне, что перед нами не единственные кольца на свете,— сказал Слоун.

— Ах, это уже нелепо!— вскричала Эдна.— Энсон, да выслушаешь ли ты меня наконец? Я узнала, с чего началась вся эта глупая история. Я уволила горничную, а она пошла прямо к Чиличевым— эти русские всегда выпрашивают разные подробности у слуг, а потом вкладывают в них лживый смысл.— Она сердито стукнула кулаком по столу.— И это после того, как Роберт отдал им наш лимузин на целый месяц прошлой зимой, когда мы уезжали на юг...

— Понимаете?— спросил Слоун с живостью.— Горничная дала маху. Она знала, что мы с Эдной друзья, и насилетничала Чиличевым. А у них в России считается, что если мужчина и женщина...

Он стал распространяться на эту тему и даже подверг анализу общественные отношения у кавказских народностей.

— Если дело обстоит так, лучше всего объяснить это дяде Роберту,— сказал Энсон сухо,— чтобы, когда слухи дойдут до него, он уже знал, что это неправда.

Держась той же тактики, которую он применил к Эдне еще во время завтрака, он стал терпеливо слушать. Он достоверно знал, что они виноваты и вскоре перейдут черту, разделявшую объяснение и самооправдание, и обвинят себя сами гораздо неоспоримей, чем это удалось бы ему. Около семи вечера они предприняли отчаянный шаг и сказали всю правду— пренебрежение со стороны Роберта Хантера, пустая жизнь 'дны, случайный флирт, из которого вспыхнула пламенная страсть,— но, подобно многим правдивым историям, эта, к счастью, была стара, как мир, и ее одряхлевшее тело беспомощно билось о непроницаемую броню воли 'нсона. Угроза пойти к отцу Слоуна обрекла их на беспомощность, поскольку старик, перекупщик хлопка

из Алабамы, ныне удалившийся на покой, был закоренелым фундаменталистом и держал сына в руках, определив ему весьма скудное содержание и пригрозив, что, стоит Кэри оступиться, и он перестанет выплачивать это содержание раз и навсегда.

Они пообедали во французском ресторанчике, где продолжили пререкания—был миг, когда Слоун даже пригрозил насилием, а чуть позже оба уже молили его хоть немного повременить. Но Энсон оставался непоколебим. Он видел, что Эдна слабеет и нельзя никак допустить, чтобы дух ее укрепило хотя бы краткое возобновление их страсти.

В два часа в маленьком ночном клубе на Пятьдесят третьей улице нервы Эдны наконец не выдержали и она стала просить отвезти ее домой. Слоун весь вечер неумеренно пил, потом слюняво расчувствовался, опершись локтями о стол, и даже всплакнул, закрыв лицо руками. Энсон тотчас поставил им свои условия. Слоун должен на полгода покинуть город не позже чем через двое суток. Когда он вернется, роман не будет возобновлен, но к концу года Эдна может, если на то будет ее желание, попросить у Роберта Хантера развод и прибегнуть к обычной в подобных случаях процедуре.

Тут он помолчал, созерцая их безмолвные лица перед тем, как сказать последнее, решающее слово.

— Конечно, есть и другой путь,—произнес он, растягивая слова,—если Эдна готова бросить своих детей, я решительно ничем не могу помешать вам бежать вдвоем куда угодно.

— Я хочу домой!—снова взмолилась Эдна.—Ах, неужто тебе мало того, что ты сделал с нами за один-единственный день?

На улице было темно, лишь с Шестой авеню впереди струился тусклый, мерцающий свет. И в этом свете любовники последний раз взглянули друг другу в лицо, сознавая, что время упущено и у них неостанет сил отвлечь вечную разлуку. Слоун вдруг кинулся прочь и скрылся в конце улицы, а Энсон тряхнул за плечо спящего шофера такси.

Время близилось к четырем утра; после поливки по тротуарам Пятой авеню, в призрачном свете, неспешно струилась вода, и две ночные шлюхи, словно бесплотные тени, маячили у темного фасада церкви святого Фомы. Вот промелькнула ограда пустынного Центрального парка, где Энсон так часто играл мальчишкой, а дальше шли

поперечные улицы под возрастающими номерами, которые значили не меньше названий. Это мой город, думал он, здесь мое семейство процветает вот уже полтора столетия. Никакие перемены не могут повлиять на прочность его положения, поскольку всякая перемена сама по себе неизбежно укрепляет ту связь, посредством которой он и все, носящие его фамилию, достигли единения с духом Нью-Йорка. Находчивость и сила воли — ведь, будь он менее тверд, угрозы его не значили бы ровным счетом ничего — смыли пятно, едва не покрывшее позором имя его дяди, репутацию всей семьи и даже этой дрожащей женщины, что сидит рядом с ним в автомобиле.

Наутро труп Кэри Слоуна нашли на нижнем уступе опоры под мостом Куинсборо. Во тьме, охваченный смятением, он принял чернеющий внизу уступ за темную воду, но через мгновение ему было уже все равно — разве только он надеялся умереть с последней мыслью об Эдне и выкрикнуть ее имя, беспомощно барахтаясь в воде.

VII

Энсону в голову не пришло обвинить себя в этом происшествии — стечение обстоятельств, которое привело к такому концу, отнюдь от него не зависело. Но правый неизбежно страдает наряду с виноватым, и он обнаружил, что его самая старая и в известном смысле очень дорогая для него дружба оборвалась. Он так и не узнал, какую лживую историю преподнесла мужу Эдна, но в доме дяди его больше не принимали.

В самый канун Рождества миссис Хантер переселилась в рай для избранных чад епископальной церкви, и Энсон официально стал главою семьи. Незамужняя тетка, уже много лет жившая у них, вела хозяйство и по мере сил пыталась блюсти добродетель младших сестер. Все дети были менее самостоятельны, чем Энсон, и не обладали особыми достоинствами или недостатками. Смерть миссис Хантер ненадолго отсрочила выезд в свет одной дочери и замужество другой. Помимо того, смерть ее нанесла им всем серьезный урон, поскольку теперь уверенному финансовому превосходству Хантеров пришел конец.

Во-первых, капитал уже дважды пострадал от налога на наследство и вскоре подлежал разделу между шестью наследниками, а потому не мог более считаться истинно

солидным. Энсон замечал за своими младшими сестрами склонность уважительно отзываться о семьях, которые каких-нибудь двадцать лет назад никому не были известны. Его чувство первенства не находило у них отклика,— порой они проявляли пошлый снобизм, но и только. Во-вторых, им осталось прожить в коннектикутской усадьбе последнее лето; слишком громкие протесты раздавались в семье: «Кому охота губить лучшие месяцы года в этом захолустье?» Он уступил с крайней неохотой — осенью дом будет продан, а на следующее лето они арендуют усадьбу поменьше в округе Уэстчестер. Это был шаг вниз от дорогостоящей простоты, которую так ценил его отец, и, сочувствуя семейному бунту, он все же был недоволен: при жизни матери он ездил туда на субботу и воскресенье, по крайней мере, два раза в месяц — даже в самый разгар летних увеселений.

Однако он и сам был неотделим от этих новых веяний, и безошибочный инстинкт еще в двадцать лет отвратил его от пустых, мертвых обрядов этого бесплодного, праздного класса. Он не понимал этого ясно, ему еще казалось, что в обществе существует некая норма, установленный образец. Но нет никакой общественной нормы, и едва ли была когда-либо истинная норма в Нью-Йорке. Те немногие, которые все еще любой ценой рвались проникнуть в избранный круг, достигнув цели, обнаруживали, что этот круг — фикция или же, что еще тревожнее, что он подчинен той богеме, от которой они когда-то бежали.

В двадцать девять лет Энсона, как ничто другое, томило одиночество. Он не сомневался, что уже никогда не женится. Свадьбам, где он был шафером или распорядителем, не было числа — дома у него целый ящик был набит галстуками, которые он надевал по случаю той или иной свадьбы, — эмблемами романтических браков, которые не продолжались и года, между людьми, которые навсегда ушли из его жизни. Булавки для галстуков, золотые карандашники, запонки — подарки от целого поколения женихов — побывали в его шкатулке и затерялись, но с каждым разом ему становилось все труднее вообразить себя самого на месте жениха. За сердечным сочувствием к чужому счастью он скрывал, что в собственное счастье уже не верит.

И сейчас, на пороге тридцатилетия, он был глубоко удручен тем, что эти свадьбы, особенно в последнее время, отнимали у него друзей. С огорчением замечал он,

как рвутся многие дружеские связи. Товарищи по университету — а именно к ним он был особенно привязан и в их среде чаще всего проводил досуг — исчезали один за другим. В большинстве своем они погрязли в семейных заботах, двое умерли, один жил за границей, еще один переехал в Голливуд, где сочинял сценарии для фильмов, которые Энсон неизменно смотрел.

Однако в большинстве они жили за городом, каждый день ездили по сезонному билету на службу и вели сложную семейную жизнь, тяготеющую к какому-нибудь местному клубу, и конец своей дружбы с ними он ощущал особенно остро.

На заре их супружеской жизни он всем был нужен; они спрашивали у него совета насчет своих скудных финансов, он рассеивал их сомнения, стоит ли заводить ребенка, имея всего две комнаты с ванной, а главное — он воплощал в их глазах огромный внешний мир. Но теперь денежные затруднения остались позади и ребенок, рождения которого ожидали с таким страхом, претворился во всепоглощающую семью. Они всегда были рады повидать старину Энсона, но к его приходу наряжались и стремились щегольнуть перед ним своей нынешней значительностью, а свои заботы оставляли при себе. Он стал им не нужен.

За несколько недель до дня его тридцатилетия женился последний из его давних и близких друзей. Энсон был, как обычно, шафером, как обычно, подарил новобрачным серебряный чайный сервиз и, как обычно, проводил их в свадебное путешествие. Дело было в пятницу, в жаркий майский день, и, уходя с пристани, он сообразил, что наступает суббота и до утра понедельника он совершенно свободен.

— Куда же идти? — спросил он себя.

В Йельский клуб, разумеется; до обеда — партия в бридж, потом четыре-пять крепких коктейлей у кого-нибудь из соседей, а потом — развеселый приятный вечер. Он жалел, что там не будет сегодняшнего жениха — они всегда умели столько вместить в такие вечера; умели привлекать женщин и избавляться от них, умели уделить всякой девушке по заслугам от своего утонченного гедонизма. Их обычаи сложились давно: определенных девушек возили в определенные места и, развлекая их, тратили умеренную сумму; выпивали, но не слишком много, впрочем, и немало, а утром, в определенное время, вставали и отправлялись по домам. При этом

избегали студентов, попрошайек, возможных невест, драк, излияний чувств и неблагоразумных поступков. Вот так это и делалось. Все прочее считали пустым развратом.

Наутро ни о чем не приходилось сожалеть — не было принято никаких бесповоротных решений, а если случилось хватить лишнего, то, не говоря ни слова, на несколько дней зарекались пить и ждали, пока скука и истрепанные нервы не потребуют нового кутежа.

Вестибюль Йельского клуба был безлюден. В баре три молодых человека, видимо только-только окончивших курс, взглянули на него мельком и безо всякого интереса.

— Привет, Оскар, — сказал он бармену. — Мистер Кэхилл сегодня не заглядывал?

— Мистер Кэхилл уехал в Нью-Хейвен.

— А... вот как?

— На футбол. Туда многие едут.

Энсон снова вернулся в вестибюль, поразмыслил немного, потом вышел на улицу и направился к Пятой авеню. Из широкого окна клуба, где он состоял членом, но не бывал уже пять лет, на него глядел какой-то седоволосый человек с водянистыми глазами. Энсон поспешно отвернулся — вид этого старца, сидящего здесь в покорном безделье, в гордом одиночестве, подействовал на него угнетающе. Он остановился, повернул назад и, перейдя Сорок седьмую улицу, пошел к дому, где жил Тик Уорден. Тик с женой некогда были его близкими друзьями — он часто заходил к ним с Долли Карджер в разгар своего романа с нею. Но потом Тик пристрастился к спиртному, и его жена всюду говорила, что Энсон дурно на него влияет. Слова эти дошли до Энсона со значительными преувеличениями, а когда дело наконец разъяснилось, хрупкое очарование дружеской близости уже было нарушено.

— Мистер Уорден дома? — осведомился он.

— Они уехали за город.

Он сам не думал, что это его так огорчит. Они уехали за город и не дали ему знать. Года два назад он точно знал бы день и час их отъезда, пришел бы выпить с ними на прощанье и условился их навестить. А теперь вот они взяли и уехали.

Энсон посмотрел на часы и решил было провести субботу и воскресенье в домашнем кругу, но оставался лишь местный поезд, который будет тащиться по этой нестерпимой жаре три часа. А завтрашний день провести

за городом и воскресенье тоже — право, ему вовсе не улыбалось играть на веранде в бридж с благовоспитанными юнцами, а после обеда танцевать в захолустной гостинице, ничтожном подобии развлекательного заведения, которое его отец когда-то ценил не по заслугам.

— Нет уж... — сказал он себе. — Нет.

Он был горделивый, видный собою молодой человек, уже несколько располневший, но иных следов беспутная жизнь на нем не оставила. Он мог бы показаться неким столпом — порой отнюдь не столпом общества, порой не иначе, как таковым, — столпом закона, церкви. Несколько минут он неподвижно стоял на тротуаре перед жилым домом на Сорок седьмой улице; пожалуй, впервые в жизни ему решительно нечего было делать.

Потом он бодро зашагал по Пятой авеню, словно вдруг вспомнил, что у него там назначено важное свидание. Необходимость притворяться есть одна из немногих черт, которые объединяют нас с собаками, и, думается мне, Энсон в тот день походил на породистого пса, которого постигло разочарование у знакомой двери. Он отправился к Нику, некогда знаменитому бармену, который прежде часто обслуживал дружеские вечеринки, а теперь продавал безалкогольное шампанское в подвальных лабиринтах отеля «Плаза».

— Ник, — спросил он, — куда все подевались?

— Умерли, — отвечал Ник.

— Приготовь мне коктейль из виски с лимоном. — Энсон протянул через стойку пинтовую бутылку. — А знаешь, Ник, девушки стали не те: у меня была одна крошка в Бруклине, так она на прошлой неделе вышла замуж и мне даже не сообщила.

— Да неужели? Ха-ха-ха, — сказал Ник уклончиво. — Стало быть, поднесла сюрприз.

— Вот именно, — сказал Энсон. — А накануне я с ней развлекался.

— Ха-ха-ха, — отозвался Ник. — Ха-ха-ха.

— Помнишь, Ник, ту свадьбу в Хот-Спрингс, когда я заставил официантов и весь оркестр распевать «Боже, храни короля»?

— Где это было, мистер Хантер? — спросил Ник задумчиво и с сомнением. — Кажется, на...

— В следующий раз они снова предложили свои услуги, а я никак не мог припомнить, сколько им заплатил, — продолжал Энсон.

— ...кажется, на свадьбе мистера Тренхолма.

— Такого я не знаю,— отрезал Энсон. Его не на шутку обидело, что чья-то незнакомая фамилия вторглась в его воспоминания; Ник это заметил.

— Не-е...— поправился он.— Я ошибся. Это был кто-то из ваших — Брейкинс... то бишь Бейкер...

— Бяка Бейкер,— подхватил Энсон с живостью.— А когда все было кончено, они затолкали меня в катафалк, завалили цветами и увезли.

— Ха-ха-ха,— отозвался Ник.— Ха-ха-ха.

Но Ник не мог долго разыгрывать старого, верного слугу семьи, и Энсон снова поплелся в вестибюль. Он осмотрелся, встретился глазами с незнакомым портье за конторкой, взглянул на цветок, оставшийся от утренней свадьбы в медной плевательнице. Потом вышел и медленно побрел напрямик, через Колумбус-Серкл, в ту сторону, где садилось кроваво-красное солнце. Вдруг он круто повернул назад, снова вошел в отель и скрылся в телефонной будке.

Позднее он говорил, что в тот день трижды пытался дозвониться до меня и решительно до всякого из своих знакомых, кто мог оказаться в Нью-Йорке,— до мужчин и женщин, с которыми не виделся много лет, и до некой натурщицы, подружки студенческих лет, чей выцветший номер сохранился в его записной книжке — с Центральной телефонной станции ему сообщили, что коммутатор давно уже ликвидирован. Наконец в своих поисках он преодолел даже городскую черту и имел несколько неприятных разговоров с норовистыми дворецкими и горничными. Такого-то нет, он уехал на прогулку, купаться, играть в гольф, отплыл в Европу еще на прошлой неделе. Прикажете передать, кто звонил?

Ему нестерпима была мысль провести этот вечер вне общества — заветные планы на праздный миг теряют всякую прелесть, когда поневоле остаешься в одиночестве. Конечно, всегда можно отыскать подходящих девиц, но те, которых он знал, вдруг куда-то исчезли, а провести вечер в Нью-Йорке с незнакомой продажной женщиной даже не приходило ему в голову — он счел бы это постыдным — тайной утехой, достойной какого-нибудь коммивояжера в чужом городе.

Энсон оплатил счет за разговоры — телефонистка безуспешно пыталась пошутить по поводу огромной суммы — и вторично в этот день покинул отель «Плаза», чтобы идти куда глаза глядят. У вращающейся двери стояла боком к свету женщина, очевидно, беременная, когда дверь поворачивалась, на плечах ее колыхалась

тонкая бежевая накидка, и всякий раз она нетерпеливо оглядывалась, словно устала ждать. При первом же взгляде на нее что-то мучительно знакомое потрясло его до глубины души, но только приблизившись к ней на пять шагов, он понял, что перед ним Паула.

— Господи, это же Энсон Хантер!

Сердце его заколотилось.

— Господи, это же Паула...

— Нет, это просто поразительно. Я никак не могу поверить, Энсон!

Она схватила его за обе руки, и непринужденность этого движения показывала, что воспоминания, связанные с ним, утратили для нее горечь. Но не для него — он ощутил, как прежнее чувство вновь закрадывается в душу, как возвращается та нежность, с какой он относился к ее упорной вере, которую боялся омрачить.

— Мы проводим лето в Райе. Питу пришлось приехать по делам сюда, на Восток, — ты, конечно, знаешь, что я теперь миссис Питер Хэгerti, — ну так вот, мы взяли с собой детей и арендовали дом здесь, поблизости. Ты непременно должен к нам навеститься.

— А можно? — спросил он напрямик. — Когда?

— Когда хочешь. А вот и Пит.

Дверь повернулась, пропуская рослого мужчину лет тридцати со смуглым лицом и аккуратными усиками. Безупречная осанка выгодно отличала его от Энсона, чья полнота была особенно заметна под узкой визиткой.

— Напрасно ты стоишь, — сказал Хэгerti жене. — Давайте-ка присядем вон там.

Он указал на кресла в вестибюле, но Паула медлила.

— Лучше я поеду домой, — сказала она. — Энсон, и почему бы... почему бы тебе не пообедать у нас сегодня? Правда, мы только-только устраиваемся, но если тебя это не смущает...

Хэгerti сердечно поддержал приглашение.

— Останетесь у нас ночевать.

Их автомобиль ожидал у подъезда отеля, и Паула утомленно опустилась на шелковые подушки.

— Мне так много нужно тебе сказать, — проговорила она, — что это, кажется, безнадежно.

— Я хочу знать, как ты живешь.

— Ну, — она улыбнулась Хэгerti, — это тоже разговор долгий. У меня трое детей — от первого брака. Старшему пять лет, потом четыре и три. — Она опять улыбнулась. — Как видишь, я не теряла времени, правда?

— Все мальчики?

— Мальчик и две девочки. А потом—потом много было всякого, год назад в Париже я развелась и вышла замуж за Пита. Вот и все—могу только добавить, что я бесконечно счастлива.

В Райе они подъехали к большому дому близ Приморского клуба, и навстречу выбежали трое темноволосых худеньких ребятишек,—они вырвались от английской гувернантки и с невнятными криками бросились к автомобилю. Рассеяннo и с трудом Паула обняла каждого по очереди, но они приняли эту ласку сдержанно, поскольку им, видимо, было велено не виснуть на маме. Даже рядом с их свежими личиками кожа Паулы ничуть не казалась увядшей—при всей ее физической вялости она выглядела моложе, чем в день их последней встречи в Палм-Бич семь лет назад.

За обедом она была немногословна, а потом, слушая радио, лежала на диване с закрытыми глазами, и Энсон уже подумывал, не стеснительно ли его присутствие в столь позднее время. Но в девять часов Хэгерти встал и любезно сказал, что оставит их ненадолго вдвоем; тогда она понемногу разговорилась и стала рассказывать о своем прошлом.

— Первый мой ребенок,—сказала она,—та старшая девчушка, которую мы зовем Милочкой,—я чуть не умерла, когда узнала, что мне предстоит ее родить, вели Лоуэлл был для меня совсем чужим. Мне даже не верилось, что у меня может быть ребенок. Я написала тебе письмо, но тут же его изорвала. Ах, Энсон, ты так душно со мной поступил.

Снова между ними началось прежнее общение, которое то сближало, то разделяло их. В душе Энсона вдруг ожили воспоминания.

— Ведь ты, кажется, был помолвлен?—спросила она.—С девушкой по имени Долли, не помню ее фамилии.

— Я никогда не был помолвлен. Собирался один раз, но никогда не любил никого, кроме тебя, Паула.

— Полно тебе,—отозвалась она. И продолжала молчу ле короткого молчания:—Теперь я впервые жду ребенка с радостью. Понимаешь, я влюблена—наконец-то.

Он не ответил, потрясенный ее предательской забывчивостью. Должно быть, она заметила, что это «наконец-то» задело его за живое, а потому добавила:

— Ты меня тогда очаровал, Энсон, ты мог сделать со мной все, что угодно. Но мы никогда не были бы счастли

вы. Я слишком глупа для тебя. Я не люблю все усложнять, как ты.— Паула снова помолчала.— Ты никогда не обзаведешься семьей,— сказала она.

Эти слова поразили его, как удар в спину,— из всех обвинений этого он никогда не заслуживал.

— Я мог бы обзавестись семьей, будь женщины иными,— сказал он.— Если бы я не видел их насквозь, если бы женщины не терзали нас за других женщин, если бы у них была хоть капля гордости. Если бы только я мог уснуть на время и проснуться в кругу настоящей семьи— да ведь я для этого и создан, Паула, женщины всегда это чувствовали, потому-то я им и нравился. Просто я уже не могу выносить все, что этому предшествует.

Хэгерти вернулся около одиннадцати; когда они выпили виски, Паула поднялась и сказала, что ей пора спать. Она подошла к мужу?

— Где ты был, дорогой?— спросила она.

— Мы выпили по стаканчику с Эдом Сондерсом.

— Я беспокоилась. Думала, может, ты сбежал от меня. Она прильнула головой к его груди.

— Он такой милый, правда, Энсон?— спросила она.

— Необычайно,— отозвался Энсон со смехом.

Она подняла лицо и взглянула на мужа.

— Ну, я готова,— сказала она. Потом обернулась к Энсону.— Хочешь увидеть наш семейный гимнастический трюк?

— Да,— сказал он, притворяясь заинтересованным.

— Ладно. Алле-гоп!

Хэгерти легко подхватил ее на руки.

— Это называется наш семейный акробатический номер,— сказала Паула.— Он относит меня наверх. Ну разве не мило с его стороны?

— Да,— сказал Энсон.

Хэгерти слегка наклонил голову и коснулся щекою лица Паулы.

— И я его люблю,— сказала она.— Я тебе уже говорила об этом, правда, Энсон?

— Да,— сказал он.

— Он самый славный на свете,— ведь правда, мой дорогой? Ну, спокойной ночи. Алле-гоп! Видишь, какой сильный?

— Да,— сказал Энсон.

— Я там положила тебе пижаму Пита. А теперь сладких тебе сновидений— увидимся за завтраком.

— Да,— сказал Энсон.

Старшие компаньоны фирмы настаивали, чтобы Энсон уехал на лето за границу. Вот уже целых семь лет он, в сущности, не отдыхал, говорили они. Он засиделся на месте, надо переменить обстановку. Но Энсон упорно отнекивался.

— Если я уеду,—заявил он,—то не возвращусь никогда.

— Но это же глупо, старина. Вернешься через три месяца, и всю твою хандру как рукой снимет. Будешь здоров, как прежде.

— Нет.—Он упрямо качал головой.—Если я прерву работу, то уже больше к ней не вернусь. Прервать работу означает сдать, а это конец всему.

— Давай все же рискнем. Если хочешь, уезжай на полгода,—мы не боимся, что ты нас покинешь. Без работы жизнь будет тебе не мила.

Они взяли на себя все хлопоты, связанные с поездкой. Ведь они любили Энсона — его любили все, — и свершившаяся с ним перемена нависла над фирмой, как туча. Рвение, с которым он брался за всякое дело, уважительность к равным и подчиненным, неизменная заразительная бодрость — за последние четыре месяца нервное перенапряжение заглушило эти черты, и они сменились унылой суетливостью сорокалетнего человека. При заключении всякой сделки он стал теперь лишь помехой и бременем.

— Если я уеду, то не вернусь никогда,—твердил он.

За три дня до его отплытия Паула Леджендр-Хэгерти умерла в родах. Я тогда часто его видел, потому что мы собирались плыть вместе, но впервые за долгие годы нашей дружбы он ни словом не обмолвился мне о своих чувствах, и сам я не замечал в нем ни малейших признаков душевного волнения. Больше всего его заботило, что ему уже тридцать лет — во всяком разговоре он искал случая напомнить об этом, а потом умолкал, словно полагая, что слова эти сами направят мысль собеседника в нужное русло. Подобно его компаньонам, я был поражен произошедшей в нем переменой и порадовался, когда «Париж» вышел в океан, разделяющий континенты, и его заботы остались позади.

— Не выпить ли нам? — предложил он.

Мы вошли в бар уверенно и твердо, как всегда бывали в день отъезда, и заказали четыре «мартини». После

первого коктейля он вдруг преобразился — неожиданно протянул руку и хлопнул меня по колену с веселым оживлением, какого я не замечал за ним уже много месяцев.

— Ты обратил внимание на ту девушку в красном берете? — спросил он. — У нее румяные щечки, и провожали ее двое полицейских сыщиков.

— Она хорошенькая, — согласился я.

— Я справился по списку у помощника капитана и узнал, что она здесь без сопровождающих. Сейчас обрабатую стюарда. Вечером мы с ней пообедаем.

Вскоре он меня покинул, а через час уже прогуливался с ней по палубе и говорил ей что-то своим громким, звучным голосом. Ее красный берет ярким пятном выделялся на фоне зеленовато-серого моря, и время от времени она вскидывала голову с улыбкой, выражавшей удовольствие, любопытство и предвкушение чего-то нового. За обедом мы пили шампанское и славно повеселились — а потом Энсон играл в бильярд с заразительным увлечением, и несколько пассажиров, видевших нас вместе, спросили у меня, кто он такой. Когда я уходил спать, он и девушка болтали и смеялись на диванчике в баре.

В пути я видел его реже, чем мне хотелось бы. Он пробовал сколотить компанию из четверых, но для меня дамы не нашлось, и мы с ним встречались только за столом. Правда, иногда он пил коктейли в баре и рассказывал мне про девушку в красном берете и про все перипетии их знакомства, приукрашая их, по своему обыкновению, причудливыми и забавными подробностями, и я радовался, что он снова стал самим собой или, по крайней мере, таким, каким я его знал и понимал. Думается мне, он бывал счастлив, только когда какая-нибудь женщина в него влюблялась, тянулась к нему, как железные опилки к магниту, помогая ему проявить себя, что-то ему суля. Не знаю, что именно. Быть может, это сулило ему, что на свете всегда будут женщины, готовые пожертвовать самой светлой, самой свежей и чудесной порой своей жизни, лишь бы охранить и уберечь то чувство превосходства, которое он лелеял в душе.

НА УЛИЦЕ, ГДЕ ЖИВЕТ СТОЛЯР

Автомобиль остановился на перекрестке Шестнадцатой улицы и какого-то грязноватого переулка. Женщина вышла, а мужчина с маленькой девочкой остались внутри.

— Я скажу ему, что больше двадцати долларов платить не собираюсь,— заявила дама.

— Ну, будь по-твоему. А эскизы у тебя с собой?

— Ах, да,— женщина нагнулась, чтобы достать сумочку с заднего сиденья,— ну, вот, теперь все в порядке.

— Dites qu'il ne faut pas avoir les forts placards,— попросил мужчина,— ni le bon bois¹.

— Ладно.

— Опять вы по-французски,— протянула девочка.

— Et il faut avoir un bon по высоте. L'un des Murphy était comme ça².

Он показал рукой ядра на полтора от земли. Женщина вошла в подъезд, в котором, судя по вывеске «Шкафы, ларцы, шкатулки», жил столяр, и стала подниматься по лестнице.

Не зная, чем занять себя, мужчина и девочка начали рассматривать прохожих, улицу. Красные кирпичные дома. Тишина. Покой. Вдалеке возились какие-то негры да изредки проезжали автомобили. Стоял солнечный ноябрьский день.

— Знаешь что,— вдруг сказал мужчина,— а я тебе люблю.

— Я тебя тоже,— откликнулась девочка и благомыслительно улыбнулась.

¹ Скажи ему, чтобы было не слишком грубо... дерево можно найти похуже (фр.)

² Главное, чтобы хватило по высоте. Тот, что заказывал Мюрфи, был вот такой (фр.)

— Посмотри-ка,— вновь обратился к ней мужчина,— видишь домик на той стороне?

— Девочка взглянула — за магазином примостилась квартирка, и, хотя на окнах были занавески, чувствовалось, что в комнате кто-то есть. На одном окне то и дело хлопала незакрепленная створка ставни. Ни мужчине, ни девочке бывать здесь раньше не доводилось.

— За этими шторками томится принцесса,— сказал мужчина,— так просто ее не увидишь. Великий Людоед сторожит ее день и ночь. Ты ведь помнишь Великого Людоеда?

— Помню.

— Принцесса — красавица, ни в сказке сказать, ни пером описать, волосы до пят — словно чистое золото.

И они стали внимательно наблюдать за домом. В окне промелькнула чья-то фигурка в желтом платье.

— Вот и сама принцесса. Великий Людоед приказал всем глаз с нее не спускать. Он и короля с королевой упрятал в глубокое подземелье. И не видать принцессе свободы, пока принц не найдет три... — Мужчина запнулся.

— Три чего? Ну же, папа?

— Три... Смотри-ка, она опять показалась в окне

— Три чего?

— Три... три волшебных камешка. Они и помогут принцу вызволить короля с королевой.

Он зевнул.

— А дальше что?

— Дальше? Он подъедет к этому дому, постучит три раза в каждое окно, и принцесса вновь будет на свободе

Наверху, в окне мастерской показалось лицо дамы.

— Мне придется подождать,— крикнула она.— Вы только посмотрите, какой денек выдался!

— Расскажи еще, папа,— попросила девочка,— а зачем Людоед держит ее под стражей?

— Он гневается, потому что его не пригласили на крестины. Но не бойся, принц уже нашел один камешек в комодике с воротничками президента Кулиджа. Сейчас он отправился за вторым в Исландию. Стоит ему увидеть волшебный камешек, и комната, где томится принцесса, сразу озаряется голубым светом. Ух ты, гляди-ка.

— Где, папочка, где?

— Ты отвернулась, а в комнате полыхнул голубой свет. Выходит, принц отыскал и второй камешек.

— Ух ты,— воскликнула девочка,— опять голубой свет. Значит, и третий камешек есть.

Увлеченный игрой, мужчина опасливо огляделся, голос его звучал возбужденно.

— Ты только посмотри, кого я вижу! — воскликнул он. — К нам идет сам Великий Людоед. Он, конечно, переделся, притворился маленьким мальчиком, его и не узнать — помнишь, как Момби из «Страны Оз»?

— Помню.

Мальчуган, ни дать ни взять мальчик с пальчик, шагая непомерно широко, подошел к двери и постучал. Ему не открыли, но это, казалось, не смутило его. Он вытащил из кармана кусочек мела и принялся рисовать прямо на двери.

— Он чертит колдовские знаки, — прошептал мужчина, — чтобы принцесса никогда не смогла переступить этот порог. Ему, наверное, уже сообщили, что принц освободил короля с королевой и спешит сюда.

Мальчонка подождал еще немного, потом подошел к окну и кого-то позвал. Прошла минута, другая, окно распахнулось, выглянула женщина и что-то сказала, но слово отнесло ветром.

— Она говорит Людоеду, что принцесса сидит за семью замками, — пояснил мужчина.

— А посмотри-ка, что Людоед делает, — сказала девочка, — он и под окнами чертит колдовские знаки, и на тротуаре, как ты думаешь, зачем?

— Чтобы никогда не видеть принцессе света вольного. Ради этого он и плясать начинает. Все колдует.

Шагая семимильными шагами, Великий Людоед удалился. Двое прохожих перешли улицу и скрылись из вида.

— Кто это, папа?

— Королевские солдаты. Вся армия собирается сейчас на рыночной площади. Они поведут осаду этого дома. Ты знаешь, что такое «вести осаду»?

— Знаю. А вон те прошли — они тоже солдаты?

— Да, тоже. А старичок поодаль — по-моему, сам король. Он нарочно весь скрючился, чтобы свита Людоеда его не узнала.

— А эта дама кто?

— Ведьма, она с Людоедом заодно.

Вновь хлопнула, закрываясь, и тут же медленно открылась створка ставни.

— Это борются феи Зла и Добра, феи-невидимки. Злые закрывают ставни, чтобы ни одна душа не знала о принцессе, а добрые им не дают.

— Добрые побеждают.

— Верно,—он взглянул на дочку,—ах ты, моя добрая фея.

— Ага. Смотри, смотри, папочка, а это кто?

— Бравый гвардеец короля.

Мимо шел приказчик ювелирного магазина Мюллера, и вид у него был далеко не бравый.

— Слышишь, трубят сигнал. Значит, все в сборе. Уже начинают бить в барабан.

— А вон королева. Посмотри, папочка, правда ведь?

— Нет, это фея — мисс «Телевидение»

Он снова зевнул. Вспомнились приятные события вчерашнего дня. Некоторое время он сидел неподвижно, задумавшись. Затем взглянул на дочку и понял, что ей сейчас очень-очень хорошо. Милая шестилетняя девчушка. Он поцеловал ее.

— Смотри, человек тащит кусок льда — это тоже солдат короля. Он положит лед на голову Людоеда, и все его дурные помыслы замерзнут.

Девочка проводила взглядом человека со льдом. Прохожих было мало. Вот негр в ярко-желтом плаще, такие только негры и носят, прокатил тележку с надписью «Ковры, портьеры Дэлла». Снова со стуком закрылась и открылась створка ставни на окне.

— Пляди-ка, папа, а добрые опять побеждают

И взрослый человек вдруг понял, что день этот запомнится ему надолго: тихая улочка, ласковое осеннее солнышко и сказка, разыгрывающаяся перед глазами дочурки, сказка, которую он придумал, но вкус и аромат которой ощутить ему уже не дано. Он потерял о щеку дочки и, чтобы сделать ей приятное, поселил в сказку еще одного мальчика и хромого калеку.

— Ненаглядная моя,—не удержался он.

— Ты это уже говорил,—рассеянно отозвалась девочка. Ее больше занимал дом напротив. Мужчина на мгновение закрыл глаза, стараясь представить все, как видит дочка. Но, увы — для него эти старые занавески не откроются. Негры-прохожие, ребятишки да солнечная погода — вот и все, что напоминало ему о собственном детстве. Из мастерской вышла дама.

— Ну, как? — спросил мужчина.

— Все в порядке. Il dit qu'il a fait les maisons de poupée pour les Du Ponts. Il va le faire¹.

¹ Он сказал, что делал кукольные домики для Дюпонов. Сделает и нам (фр.).

— Combien? ¹

— Vingt cinq ². Извини, что так долго.

— Посмотри, папочка. Вон еще солдаты.

Автомобиль тронулся. Когда они проехали несколько миль, мужчина сказал:

— Пока ты там сидела, на улице творились удивительные вещи.

И он вкратце рассказал ей о Принцессе и Великом Людооде.

— Жаль, что мы не дождались, пока ее освободят.

— А вот и дождались,—возразила дочка,—ее освободили на соседней улице. И во дворе лежит мертвый Людоод. Короля с королевой и принца тоже убили. Королевой теперь станет принцесса.

Мужчина пожалел, что его любимых героев так быстро, оптом списали.

— Но ведь они главные. Без них нельзя.

— А вот выйдет принцесса замуж, тогда муж и будет главным.

Дальше они ехали молча, каждый думал о своем. Даму занимал кукольный домик—она выросла в бедности, и таких игрушек у нее никогда не было; мужчина с удовлетворением думал о том, что скоро у него будет миллион долларов; а маленькая девочка вспоминала о необычайных происшествиях на грязной улочке, которая осталась далеко позади.

1928

¹ Сколько? (фр.).

² Двадцать пять (фр.).

ПОСЛЕДНЯЯ КРАСАВИЦА ЮГА

I

После Атланты, так тщательно и театрально воплотившей обаяние Юга, мы недооценили Тарлтон. Там было чуть жарче, чем во всех других местах, где нам пришлось побывать,—двенадцать наших новобранцев в первый же день сомлели на солнце Джорджии; когда под палящим зноем видишь стада коров, проплывающие по деловым улицам под гиканье негров-гуртовщиков, невольно теряешь ощущение реальности: хочется пошевелить рукой или ногой, чтобы убедиться, что ты жив.

Поэтому я жил в лагере, а рассказывать мне о тарлтонских девушках предоставил лейтенанту Уоррену. Это было пятнадцать лет назад, и я позабыл уже свои ощущения, помню лишь, что жизнь текла день за днем, лучше, чем сейчас, и что сердце мое было пусто, потому что там, на Севере, та, чей образ я лелеял целых три года, выходила замуж. Я видел об этом в газетах заметки и фотографии. «Романтическая свадьба военного времени», очень богатая и печальная. Я живо ощущал зловещее сияние в небе, под которым это происходило, и, как юный сноб, испытывал скорее зависть, нежели печаль.

Однажды я все же поехал в Тарлтон, чтобы постричься, и встретил там одного славного парня—его звали Билл Ноулз, мы вместе учились когда-то в Гарварде. Раньше он служил в отряде Национальной гвардии, который стоял до нас в этом лагере, но в последний момент перевелся в авиацию и потому застрял в Тарлтоне.

— Рад видеть тебя, Энди,—сказал он с неподобающей серьезностью.—Прежде чем уехать в Техас, я передам тебе все известные мне сведения. Видишь ли, в сущности, здесь всего три девушки...

Я оживился: было нечто мистическое в том, что их оказалось три.

— ...и сейчас я покажу тебе одну из них.

Мы стояли перед аптекой; он ввел меня в помещение и познакомил с особой, которая сразу же мне резко не понравилась.

— Две другие — Эйли Кэлхун и Салли Кэррол Хэппер.

По тому, как он произнес имя Эйли Кэлхун, я догадался, что он к ней равнодушен. Его заботило, что она будет делать в его отсутствие; ему хотелось, чтобы она проводила время спокойно и скучновато.

Сейчас я не колеблясь готов признаться, что подумал тогда об Эйли Кэлхун — какое милое имя! — совсем не по-рыцарски. В двадцать три года не существует понятий вроде «красавица, обещанная другому»; впрочем, если бы Билл попросил меня, я наверняка и совершенно искренне поклялся бы относиться к ней, как к сестре. Но он не попросил; он только страдал, что надо уезжать. Три дня спустя он позвонил мне, что едет завтра утром и хочет сегодня же нас познакомить.

Мы встретились в гостинице и шли к ее дому сквозь дышащие цветами жаркие сумерки. Четыре белые колонны дома Кэлхунов были обращены к улице, веранда за ними казалась темной пещерой, и виноград вился, цеплялся и полз по ее стенам.

Когда мы подошли к дому, на веранду с криком: «Простите, что заставила вас ждать!» — выскочила девушка в белом платье и, завидев нас, добавила:

— Ой, а мне показалось, вы уж десять минут как пришла!..

И вдруг примолкла, потому что скрипнул стул и из темноты веранды возник еще один мужчина — летчик из лагеря Гарри-Ли.

— А, Кэнби! — воскликнула она. — Здравствуйте!

Кэнби и Билл Ноулз застыли, точно ожидая приговора.

— Кэнби, дорогой, я хочу что-то сказать вам по секрету, — прибавила она через секунду. — Вы ведь простите нас, Билл?

Они отошли в сторону. Вскоре послышался сердитый голос лейтенанта Кэнби:

— Ну тогда в четверг, но уж наверняка.

И едва кивнув нам, он двинулся прочь по дорожке, поблескивая шпорами, которыми, по-видимому, подгонял самолет...

— Входите же — я только не знаю, как вас зовут...

Так вот она — чистокровная южанка. Я бы понял это, даже если бы никогда не слушал Рут Дрэпер и не читал Марса Чена. В Эйли была хитреца, подслащенная простодушной говорливой ласковостью, и неизменный холодок — результат бесконечной борьбы с жарой; вид ее наводил на мысль о преданных отцах, братьях, поклонниках, чередой которых уходила вспять, к героическим временам Юга. В голосе ее то слышались интонации, какими отдавали приказания рабам или убивали наповал капитанов-янки, то другие — мягкие, обволакивающие, созвучные в своей непривычной прелести с этой ночью.

Я почти не видел ее в темноте, но когда поднялся уходить — было очевидно, что мне не следует мешкать, — Эйли стояла в оранжевом свете, падавшем из дверного проема. Она была миниатюрная и очень белокурая; лихорадочный румянец излишне накрашенных щек усугублялся запудренным по-клоунски добела носом; но сквозь эту маску она сияла как звезда.

— Когда Билл уедет, я все вечера буду просиживать совсем одна. Может, вы как-нибудь свезете меня на танцы в загородный клуб?

Услышав это патетическое пророчество, Билл усмехнулся.

— Погодите, — задержала меня Эйли, — ваше оружие съехало на сторону.

Она поправила мне булавку в воротничке и подняла на меня глаза — в них было не просто любопытство, взгляд был ищущий, будто она спрашивала. «Возможно ли, что это ты?» Вслед за лейтенантом Кэнби я неохотно шагнул в сразу поскучевшую ночь.

Две недели спустя я сидел с ней на той же веранде, или, вернее, она полулежала в моих объятиях, тем не менее едва меня касаясь, — уж не помню, как это ей удавалось. Я тщетно пытался ее поцеловать, — я уже потратил на это битый час. Мы развлекались, обсуждая мою неискренность. Согласно моей теории, если бы она позволила себя поцеловать, я бы в нее влюбился. Она же утверждала, что я явно неискренен.

В перерыве между двумя такими стычками она рассказала мне о своем брате, который умер, когда учился на старшем курсе в Йеле. Она показала мне его фотографию, — у него было красивое серьезное лицо и живописная прядь на лбу, — и прибавила, что выйдет замуж,

когда встретит кого-нибудь, кто будет ему под стать. Этот семейный идеализм меня обескуражил; при всей моей самоуверенности я не мог тягаться с мертвым.

Другие вечера проходили, как и этот, и, возвращаясь в лагерь, я уносил с собой запах магнолии и смутное разочарование. Я так и не поцеловал ее. Субботними вечерами мы смотрели варьете и ездили в загородный клуб, где редко случалось, чтобы две минуты подряд она протанцевала с одним и тем же кавалером; она брала меня с собой на пикники и шумные вечеринки, но ей никогда не приходило в голову обратить мои чувства в любовь. Теперь я понимаю, что это было бы нетрудно, но она была мудрой девятнадцатилетней особой и, верно, знала, что мы эмоционально несовместимы. И потому она предпочла поверять мне свои тайны.

Мы говорили о Билле Ноулзе. О Билле она подумывала всерьез, потому что — хоть она бы никогда с этим не согласилась — зима, проведенная в нью-йоркской школе, равно как и бал в Йеле, обратили ее взоры на Север. Она сказала, что, пожалуй, не выйдет за южанина. И постепенно я понял, что она сознательно, намеренно старалась быть другой, чем те девицы, которые распевали негритянские песни и резались в кости в барах загородных клубов. Потому-то нас с Биллом — и не только нас — тянуло к ней. Мы распознали ее.

Весь июнь и июль, когда до нас едва доносились далекие слухи о сражениях и ужасах за морем, взгляды Эйли блуждал по танцевальной площадке загородного клуба, что-то отыскивая среди высоких молодых офицеров. Иных она поощряла, всякий раз делая свой выбор с безошибочной проницательностью, — если не считая случая с лейтенантом Кэнби, которого, по ее утверждению, она презирала, но которому тем не менее назначала свидания, «потому что он такой искренний»... и все лето мы делили между собой ее вечера.

Однажды она отменила все свои свидания — Билл Ноулз дал знать, что приезжает в отпуск. Мы обсуждали это событие с научной беспристрастностью, пытаясь предсказать, заставит ли он ее принять решение. Лейтенант же Кэнби, наоборот, вовсе не был беспристрастен, он вел себя неприлично. Он сказал ей, что, если она выйдет замуж за Ноулза, он подыметесь на своем аэроплане на шесть тысяч футов, выключит мотор и отпустит ручку. Он напугал ее — я принужден был уступить ему свое последнее свидание перед приездом Билла.

В субботу вечером она явилась в загородный клуб с Биллом Ноулзом. Они были очень красивой парой, и я снова позавидовал им и загрустил. Они танцевали, а оркестр, состоявший из трех инструментов, играл «Когда ты уедешь» с такой щемящей, тихой грустью, что я и сейчас еще слышу — каждый такт, будто падающая капля, уносит драгоценные минуты тех дней. Я понимал, что уже полюбил Тарлтон, и в волнении озираясь, надеясь: вдруг из недр этой теплой поющей ночи, дарящей одну за другой пары в органди и хаки, явится и мне чье-то милое лицо. То были дни молодости и войны, и вокруг, как никогда, все было исполнено любовью.

Потом мы танцевали с Эйли, и вдруг она предложила выйти и сесть в машину. Странно, сказала она, почему это сегодня ее никто не перехватывает. Может, все думают, что она уже замужем?

— А вы собираетесь?

— Не знаю, Энди. Иной раз, когда он обращается со мной, как со святыней, я просто таю от радости. — Голос ее звучал приглушенно, откуда-то издалека. — А бывает...

Она засмеялась. Ее тело, такое хрупкое и нежное, касалось меня, лицо было обращено ко мне, вот тут-то — хоть Билл Ноулз был в десяти шагах — я наконец мог бы ее поцеловать. Губы наши уже соприкоснулись, но... из-за угла веранды появился какой-то офицер авиации и, взглядевшись в темноту, позвал нерешительно.

— Эйли!

— Да.

— Вы слышали, что сегодня случилось?

— Что? — Она подалась вперед, в ее голосе уже звучала тревога.

— Хорэс Кэнби разбился. Насмерть.

Она медленно поднялась и вышла из машины.

— Вы говорите — насмерть? — произнесла она.

— Да. Что там случилось — неизвестно. Мотор у него...

— О-о-о! — Она закрыла лицо руками, голос донесся сле слышно и хрипло.

Мы смотрели на нее беспомощно; прислонясь головой к машине, она сглатывала бесслезные рыдания. Потом я пошел за Биллом — он стоял в шеренге ожидавших кавалеров, лихорадочно отыскивая глазами Эйли, — и сказал, что она хочет домой.

Я сел на ступеньку крыльца. Кэнби я не любил, но его страшная, бессмысленная смерть была для меня тогда

более реальной, чем гибель тысяч солдат, убитых во Франции. Через несколько минут вышли Эйли с Биллом. Эйли тихонько всхлипывала, но, едва заведя меня, устремилась ко мне и сказала тихой скороговоркой:

— Энди, вы, конечно, никогда никому не расскажете, что я говорила вам вчера о Кэнби. Я имею в виду — что он сказал.

— Конечно.

Она еще на секунду задержала на мне взгляд, будто желая окончательно убедиться, что я не подведу. И в конце концов убедилась. И слегка вздохнула — так странно, что я с трудом поверил своим ушам; брови ее поползли вверх в притворном — иначе это не назовешь — отчаянии

— Энди!

Я в смущении отвел взгляд, поняв, что она обращает мое внимание на то, что невольно приносит мужчинам несчастье.

— Спокойной ночи, Энди! — крикнул Билл, когда они садились в такси.

— Спокойной ночи, — сказал я, чуть не прибавив: «Дурак несчастный».

II

Конечно, мне следовало принять одно из тех прекрасных безоговорочных решений, какие люди принимают в книгах, и с презрением отвернуться от нее. Но случилось иначе: я не сомневаюсь, что стоило ей помянуть меня, и я был бы у ее ног.

Через несколько дней она все сгладила, сказав задумчиво:

— Я знаю, вы считаете, что с моей стороны это было чудовищно — думать о себе в такую минуту, но все так ужасно совпало...

В двадцать три года в одном я был совершенно уверен: есть люди сильные и привлекательные, и они могут делать все, что им заблагорассудится, остальные же обречены на прозябание. Я надеялся, что принадлежу к первым. Я был уверен, что к ним принадлежит и Эйли.

Пришлось пересмотреть и другие о ней представления. Подробно обсуждая с одной девушкой вопрос о поцелуях — в те годы люди все еще больше говорили о поцелуях, чем целовались, — я упомянул, что Эйли поцеловала всего двух или трех мужчин, и то лишь если ей

казалось, что она влюблена. К вящему моему смущению, девушка эта чуть не подавилась от смеха.

— Нет, правда,— уверял я, внезапно поняв, что это неправда.— Она сама мне рассказывала.

— Эйли Кэлхун! О боже! — заливалась девушка.— Да в прошлом году, когда мы весной ездили на вечер в Технологический...

Это было в сентябре. Теперь каждую неделю нас могли отправить за океан, и в качестве подкрепления к нам прибыла группа офицеров из четвертого учебного лагеря. Четвертый лагерь был не похож на три первых — офицеров в нем готовили из рядовых, даже из призывников. У них были странные фамилии без гласных, и, если не считать молодых резервистов, наличие у них какой бы то ни было родословной требовало особых доказательств. К нашей компании присоединился лейтенант Эрл Шон из Нью-Бедфорда, штат Массачусетс — образец такого физического совершенства, какого мне никогда не приходилось встречать. Он был шести футов трех дюймов роста, черноволос, румян, с блестящими темно-кариими глазами. Тяжелодум и явный неуч, но хороший офицер, живой, распорядительный, и с тем легким налетом тщеславия, что так к лицу человеку военному. Нью-Бедфорд я считал глубокой провинцией и этим объяснял грубоватое бахвальство Шона.

Помещений теперь не хватало, и его поселили со мной в одном офицерском домике. Не прошло и недели, как на стене у нас появилась приколоченная гвоздями фотография некой тарлтонской девицы.

— Не какая-нибудь бабенка. Она девушка из общества. Знается здесь со всеми лучшими людьми.

В следующее воскресенье я познакомился с этой дамой в загородном бассейне. Когда мы с Эйли пришли туда, мускулистая фигура Шона в купальном костюме маячила на противоположной стороне бассейна.

— Эй, лейтенант!

Я помахал ему в ответ, и он, улыбаясь и подмигивая, мотнул головой в сторону девушки, стоявшей рядом. Потом, ткнув ее пальцем в ребра, мотнул головой в мою сторону. Таким способом он ее представил.

— Кто это такой с Китти Престон? — спросила Эйли и, когда я объяснил, сказала, что он похож на трамвайного кондуктора, и даже сделала вид, будто разыскивает свой билет.

Через секунду он уже подплывал к нам мощным легантным кролем. Я познакомил его с Эйли.

— Ну как вам моя девушка, лейтенант? — спросил он. — Ведь я говорил вам — она что надо, а?

Он мотнул головой в сторону Эйли — на сей раз, чтобы показать, что его девушка и Эйли вращаются в одном кругу.

— Может, как-нибудь поужинаем вечером все вместе в ресторане?

Я сразу же покинул их, позабавившись тем, как явно Эйли приходила к выводу, что уж это во всяком случае не идеал. Но от лейтенанта Эрла Шона не так-то легко было отделаться. Он окинул веселым безобидным взглядом ее складную легкую фигурку и решил, что Эйли сойдет еще лучше, чем та, другая.

Несколько минут спустя я увидел их вместе в воде. Эйли, как обычно, плыла энергично и быстро, а Шон шумно плескался вокруг нее, заплывая вперед, иногда останавливаясь и глядя на нее восхищенно, как мальчишка на плавающую куклу.

День клонился к закату, а Эрл все не отставал. Наконец Эйли подбежала ко мне и, смеясь, зашептала:

— Он меня преследует. Он думает, что я не уплатила за проезд.

Она быстро обернулась. Перед нами стояла мисс Китти Престон, и лицо ее было страшно возбуждено.

— Эйли Кэлхун, вот уж не думала, что вы на такое способны — пытаться увести у другой девушки мужчину. — Тень страдания перед надвигающейся сценой мелькнула на лице Эйли. — Я думала, вы выше этого.

Голос мисс Престон был тих, но в нем звучала та напряженность, которую скорее чувствуешь, чем слышишь, и я увидел, как милые ясные глаза Эйли заметались в испуге. К счастью, Эрл собственной персоной весело и с невинным видом приближался к нам.

— Если он вам не безразличен, не стоит унижать себя в его глазах, — выпалила Эйли, вскинув голову.

Так она впервые противопоставила традиционную манеру поведения наивному и свирепому собственничеству Китти Престон, или, если хотите, здесь «благовоспитанность» Эйли была противопоставлена «вульгарности» ее соперницы. Она повернулась, чтобы уйти.

— Минутку, детка, — крикнул Эрл Шон. — Мне бы ваш адресок. Может, надумаю позвонить.

Она бросила на него взгляд, которым намерени была показать Китти полную свою незаинтересованность.

— В этом месяце у меня очень много дел по Красному Кресту,— сказала она, и голос ее был так же холоден, как блестящие, зачесанные назад белокурые волосы.— Всего хорошего.

По дороге домой она смеялась. Теперь на лице у нее уже не было написано, что она дала втянуть себя в какую-то унижительную историю.

— Ей ни за что не удержать этого молодого человека,— сказала она.— Ему нужен кто-то новый.

— Видно, ему нужна Эйли Кэлхун.

Эта мысль ее развеселила.

— Он мог бы подарить мне свой компостер вместо клубного значка. Вот смешно-то! Да если мама увидит, что кто-нибудь вроде него входит в наш дом, она просто умрет.

И надо отдать Эйли должное—прошло целых три недели, прежде чем Эрл Шон появился в ее доме, хотя он продолжал свои атаки, а на последних танцах в загородном клубе она даже сделала вид, что рассердилась.

— Он ужасный нахал, Энди,—шепнула она мне.— Но он такой искренний.

Она употребила слово «нахал» не так уверенно, как могла бы применить его к южанину. Она понимала это умом, но слух ее не улавливал различий в голосах янки. Почему-то миссис Кэлхун все же не испустила дух, когда он появился на пороге. Предрассудки родителей Эйли, якобы неискоренимые, были удобным предлогом, исчезшим по ее же воле. Поражены были ее друзья. Эйли, всегда взиравшая на Тарлтон немного сверху вниз, Эйли, чьи кавалеры очень тщательно отбирались из «самых изысканных» офицеров лагеря, Эйли—и лейтенант Шон! Я устал уверять людей, что она просто развлекается; и впрямь, чуть ли не каждую неделю появлялся кто-то новый—то морской офицер из Пенсаколы, то старый друг из Нового Орлеана—но неизменно, в промежутках между ними—Эрл Шон.

Пришел приказ—первой группе офицеров и сержантов отправиться в порт и погрузиться на корабль, отплывавший во Францию. Мое имя стояло в списке. Неделю я провел на полигоне, а когда вернулся в лагерь, Эрл Шон немедленно приступил ко мне:

— Мы устраиваем прощальную вечеринку в офицерской столовой. Вы, я, капитан Крэкер и три девушки.

Мы с Эрлом должны были привезти девушек. Мы шехали за Салли Кэррол Хэппер и Нэнси Ламар

и поехали дальше за Эйли; нас встретил дворецкий и объявил, что ее нет дома.

— Нет дома? — тупо повторил Эрл. — А где же она?

— Это она не сказала; просто сказала, что ее нет дома.

— Что за чертовщина! — воскликнул Эрл. Он шагал по знакомой темной веранде, а дворецкий ждал у двери. Потом Эрла осенило.

— Послушай, — сообщил он мне, — послушай, наверно, она обиделась.

Я ждал. Он строго сказал дворецкому:

— Передай ей — мне надо с ней поговорить.

— Как же передать, когда ее нет дома?

Эрл снова в задумчивости зашагал по веранде. Потом вдруг закивал головой и объявил:

— Она обиделась на одну вещь, когда видела меня в городе.

В нескольких словах он обрисовал мне суть дела.

— Знаешь что, подожди в машине, — сказал я. — Может, мне удастся все уладить. — И когда он неохотно направился к машине, обратился к дворецкому:

— Оливер, скажи мисс Эйли, что я хочу ее видеть.

Немного поворчав, дворецкий пошел исполнять поручение и через минуту принес ответ:

— Мисс Эйли сказала — она ни за что не хочет видеть того, другого джентльмена. Она сказала — зайдите, если вам угодно.

Она была в библиотеке. Я приготовился увидеть воплощенную холодность и оскорбленное достоинство, но лицо у нее было растерянное, взволнованное, измученное. Веки покраснели, будто она не один час тихо и горестно проплакала.

— А, Энди, привет, — сказала она упавшим голосом. — Давно вас не видела. Он ушел?

— Послушайте, Эйли...

— «Послушайте, Эйли!» — закричала она. — «Послушайте, Эйли!» Вы поймите, он заговорил со мной. Он приподнял шляпу. Он стоял в десяти шагах от меня с этой ужасной... этой ужасной женщиной — он держал ее под руку, и он разговаривал с ней, а потом увидел меня и приподнял шляпу. Энди, я не знала, что делать. Пришлось зайти в аптеку и выпить стакан воды, и я так боялась — он войдет следом, что попросила мистера Ричи выпустить меня через черный ход. Я не хочу его видеть никогда, я слышать о нем не хочу!

Я заговорил. Я сказал то, что полагается в таких случаях. Я говорил в течение получаса. Она была непреклонна. Несколько раз пробормотала что-то насчет его «неискренности», и на четвертый раз я задумался: что же она понимает под этим словом. Разумеется, не постоянство; скорее всего — то, как она хотела бы, чтобы к ней относились.

Я встал, намереваясь уйти. И тут — невероятно! — на улице трижды нетерпеливо прогудел автомобиль. Это было потрясающе. Как будто сам Эрл оказался в комнате и напрямик заявил: «Ну и черт с тобой! Я не намерен торчать здесь весь вечер».

Эйли посмотрела на меня с ужасом. И вдруг по лицу ее разлилось какое-то странное выражение — оно промелькнуло и застыло слезливой улыбкой.

— Ну разве он не злодей?! — воскликнула она в беспомощном отчаянии. — Разве он не чудовище?!

— Скорее, — торопливо проговорил я. — Берите накидку. Это наш последний вечер.

Этот последний вечер и сейчас еще жив в моей памяти: мерцание свечей, освещавших грубые столы лагерной столовой; обтрепанные бумажные украшения по стенам, что остались от последней ротной пирушки; и где-то рядом, на улице печальные переборы мандолины, извлекавшей мелодию «Мой дом в Индиане» из вселенской ностальгии уходящего лета. Три девушки, затерявшиеся в этом таинственном городе мужчин, тоже ощущали что-то необычное — какое-то заколдованное непостоянство — будто сидели они на волшебном ковре-самолете, опустившемся в этих южных краях, и каждую минуту ветер мог поднять этот ковер и унести прочь. Мы пили за нас и за Юг. Потом, оставив на столе смятые салфетки, пустые бокалы и немного прошлого, рука об руку вышли на улицу, чтобы погрузиться в лунный свет. Уже прозвучал отбой; было совсем тихо, слышалось только далекое лошадиное ржание, да чей-то назойливый храп, очень нас насмешивший, да поскрипывание кожи — это часовой подходил и сворачивал у караулки. Крэкер в тот вечер дежурил, а мы, остальные, сели в ожидавший нас автомобиль и завезли в Тарлтон девушку Крэкера.

Потом Эйли и Эрл, Салли и я — по двое, отвернувшись друг от друга на широком заднем сиденье и забыв обо всем на свете, шептались, уносясь в широко распростертую тьму.

Мы мчались через сосновые леса, отяжелевшие от лишайника и испанского моха, по незасаженным

хлопковым полям дорогой белой, точно ободок земли. Машину поставили под изломанной тенью мельницы; журчала вода, тревожно вскрикивали птицы, и надо всем плыло сияние — оно стремилось проникнуть всюду: в заброшенные негритянские хижины, в автомобиль, в твердыню сердца. Юг пел для нас. Не знаю, помнят ли они. Я помню: в холодном свете бледные лица, дремотные влюбленные глаза и шепот:

— Тебе хорошо?

— Да, а тебе?

— Тебе правда хорошо?

— Да.

Вдруг мы поняли, что уже поздно и что больше ничего не будет. Мы повернули к дому.

На следующий день наш отряд отбыл в лагерь Милл, но во Францию я так и не попал. Месяц мы мерзли на Лонг-Айленде, со стальными касками на боку погрузились на корабль, а потом снова сошли на берег. Война уже кончилась. Я пропустил войну. Вернувшись в Тарлтон, я попытался демобилизоваться, но я был кадровым офицером и на демобилизацию ушла большая часть зимы. А Эрл Шон демобилизовался одним из первых. Он хотел найти хорошую работу, «пока есть из чего выбирать». Эйли помалкивала, но они уговорились, что он вернется.

К январю лагеря, два года властвовавшие над городком, уже привяли. Только назойливый запах сожженного мусора напоминал о царившей там еще недавно суете. Какая-то жизнь печально теплилась лишь вокруг дивизионной штаб-квартиры, где обретались брюзгливые кадровые офицеры, тоже пропустившие войну.

И вот молодые тарлтонцы потянулись домой с разных концов света — кто в канадской форме, кто на костюмах или с пустым рукавом. Возвратился батальон Национальной гвардии — он маршировал по улицам, и в шеренгах его зияли пробелы — места погибших; а потом герои навсегда спустились на землю с высот романтики, чтобы продавать товары за прилавками местных магазинов. На танцах в загородном клубе среди смокингов, бывало, лишь изредка мелькнет военная форма.

Перед самым Рождеством неожиданно явился Билл Ноулз и на следующий же день уехал: то ли он предъявил ультиматум Эйли, то ли она наконец приняла решение. Я иногда встречался с ней — если она не была занята героями из Саванны и Огасты — но чувствовал, что окон

чательно вышел в тираж (впрочем, так оно и было). Она ждала Эрла Шона, но настолько сомневалась в нем, что ей не хотелось даже говорить об этом. За три дня до того, как я уволился, он приехал.

Первый раз я встретил их на Маркет-стрит, и, кажется, никогда в жизни мне не было так жаль молодую пару; впрочем, думаю, такое случалось в любом городе, где во время войны были лагеря. Во внешнем облике Эрла все, что только можно вообразить, было не в попад. Шляпа — зеленая с торчащим пером; костюм, украшенный разрезами и тесьмой в том фантастически нелепом стиле, с которым покончили впоследствии национальная реклама и кино. Он явно побывал у своего прежнего парикмахера, потому что волосы у него были аккуратно начесаны на розовую выбритую шею. Не сказать чтобы он выглядел обносившимся или бедным, но все это ошеломяло, обдавало вас — то есть, вернее, Эйли — духом танцулек и воскресных пикников фабричного городка. Ведь прежде она никогда не смотрела правде в глаза; а в этой одежде пропадала даже естественная грация этого великолепного тела. Он тут же похвастался своей прекрасной работой: они смогут неплохо просуществовать, пока не «подвернется какой-нибудь легкий заработок». Но, должно быть, он сразу, как только вернулся в ее мир, понял, что дело его безнадежно. Уж не знаю, что сказала Эйли и что там перевешивало — горе или изумление. Но действовала она быстро — через три дня после приезда Эрла мы с ним отбыли одним поездом на Север.

— Ну вот все и кончилось, — сказал он хмуро. — Она прекрасная девушка, но, по мне, чересчур задается. Самое для нее лучшее — выйти за какого-нибудь богатого парня и получить положение в обществе. Терпеть не могу такого зазнайства. — И немного погодя: — Она сказала, чтоб я приехал повидаться через год, но я уже никогда не вернусь — эти аристократические штучки еще ничего, пока у тебя в кармане деньги, только...

«Только все это было не настоящее», — не договорил он. Провинциальное общество, в котором он полгода приращался с таким удовольствием, теперь казалось ему чуждым, поддельным, искусственным.

— Послушай, а ты видел?.. — продолжал он через минуту. — Когда мы сели в поезд, там были две великолепные бабенки, и совсем одни. Что, если мотнуться в соседний вагон и пригласить их пообедать? Я возьму с собой, что в синем.

Пройдя полвагона, он вдруг обернулся.

— Послушай, Энди,—спросил он, хмурясь,—скажи мне одну вещь: как, по-твоему, она раскопала, что я был кондуктором? Ведь я никогда ей об этом не говорил.

— Почему я знаю!

III

Рассказ мой приближается к большой бреши, которую я предвидел с самого начала. В течение шести лет, пока я кончал юридический факультет в Гарварде, строил гражданские самолеты и вкладывал деньги в мостовые, которые крошились под колесами грузовиков, Эйли Кэлхун была для меня не больше, чем именем на рождественской открытке; чем-то, что возникало в моем воображении в теплые ночи, когда я вспоминал магнолию в цвету. Бывало, какой-нибудь знакомый по армейским временам спросит: «А что случилось с той блондинкой, которая пользовалась тогда таким успехом?» — и я не могу ответить. Однажды вечером в нью-йоркском «Монмартре» я столкнулся с Нэнси Ламар и узнал от нее, что Эйли была помолвлена с каким-то человеком из Цинциннати, поехала на Север, чтобы познакомиться с его семьей, и потом расторгла помолвку. Она по-прежнему прелестна, и возле нее постоянно один или два вздыхателя. Но ни Билл Ноулз, ни Эрл Шон так и не вернулись.

И примерно тогда же я услышал, что Билл Ноулз женился на девушке, с которой познакомился на пароходе. Вот и все — маловато для того, чтобы поставить заплату на целые шесть лет.

Как это ни странно, но о поездке на юг я стал подумывать, увидев в сумерках на полустанке в Индиане незнакомую девушку. Какой-то мужчина вышел из нашего поезда, и девушка, вся в пышном розовом органди, обвила его руками и потащила к ожидавшей их машине. У меня защемило сердце. Мне показалось, будто она увлекает его в тот утраченный летний мир, где мне было двадцать три года, где время остановилось, а прелестные девушки, окутанные дымкой воспоминаний, по-прежнему прогуливаются по сумеречным улицам. Мне кажется, поэзия — это мечта северянина о Юге. Но лишь много месяцев спустя я послал Эйли телеграмму и тут же отправился в Тарлтон.

Был июль. ОТЕЛЬ «Джефферсон» казался странно обшарпанным и тесным; из ресторана, который в памяти моей был нерасторжимо связан с офицерами и девушками, вырывалось громкоголосое пение. Я узнал шофера такси, везшего меня к дому Эйли, но его: «И я тоже, лейтенант» прозвучало неубедительно. Я был одним из двадцати тысяч.

Это были странные три дня. Сияние первой молодости недолговечно, и, вероятно, Эйли отчасти его утратила — впрочем, за это я не могу поручиться. Внешне она по-прежнему была так прелестна, что хотелось коснуться ее губ, чтобы почувствовать трепет этого неповторимого обаяния. Нет, перемена была более глубокая.

Сразу же мне стало ясно, что стиль у нее другой. Уже не было в ее голосе тех гордых модуляций, которыми она давала понять, что помнит лучшие, светлые предвоенные дни; им не было места в постоянной сумятице полушутливого-полуотчаянного злословия, характерного для нового Юга. Настоящее, будущее, она, я — все было пущено на потребу этому злословию, — лишь бы оно шло безостановочно, лишь бы не осталось времени подумать. Мы попали на шумную вечеринку к одним молодоженам, и Эйли оказалась в центре ее лихорадочного веселья. А ведь Эйли было не восемнадцать лет; но и теперь, даже в роли бесшабашного клоуна, она была не менее привлекательна, чем раньше.

— А что, об Эрле Шоне были какие-нибудь вести? — спросил я на второй вечер, когда мы ехали танцевать в загородный клуб.

— Нет. — Она вдруг сделалась серьезной. — Я часто о нем думаю. Его...

Она колебалась.

— Что его?

— Я хотела сказать — его я любила больше всех... Только это было бы неправдой. Я никогда по-настоящему его не любила, — ведь иначе уж как-нибудь да вышла бы за него замуж. — Она поглядела на меня вопросительно. — По крайней мере, я не стала бы так скверно с ним обращаться.

— Это было невозможно.

— Конечно, — согласилась она неуверенно. Настроение у нее переменялось; она сказала легкомысленно: — И как только эти янки не обманывали нас, бедных южаночек. Боже мой!

Когда мы приехали в загородный клуб, она, точно хамелеон, растворилась в незнакомой мне толпе. Тан-

цевало новое поколение; в нем было меньше достоинства, чем в том, которое я знал, но никто не казался в большей степени частицей его ленивой, лихорадочной сути, чем Эйли. Возможно, она давно почувствовала, что в своем изначальном стремлении вырваться из провинциальности Тарлтона шла в одиночестве вслед за поколениями, обреченными на то, чтобы не иметь преемников. Не знаю, какую именно битву она проиграла, скрывшись за белыми колоннами своей веранды. Но чего-то она не угадала, что-то пропустила. Ее бурная оживленность, и сейчас собиравшая вокруг нее мужчин, на зависть самым молоденьким и свежим девицам, была признанием поражения.

Я покинул ее дом, как нередко покидал его в том канувшем в небытие июне, ощущая смутное разочарование. И только много часов спустя, уже в гостинице, беспокойно ворочаясь в постели, я понял, в чем дело, в чем всегда было дело: я был глубоко и неизлечимо влюблен в нее. Несмотря на всю нашу несовместимость, она все еще была и всегда будет для меня самой пленительной из всех девушек. Я сказал ей об этом на следующий день. Был один из так хорошо знакомых мне жарких дней; мы сидели рядом в затемненной библиотеке.

— О нет, я не смогла бы за вас выйти,— сказала она почти испуганно.— Я люблю вас совсем не так... *Так* я вас никогда не любила. И вы меня не любили. Я не хотела вам говорить, но через месяц я выхожу замуж. Мы, правда, не объявляем о помолвке, потому что я уже дважды объявляла.— Вдруг ей пришло в голову, что я, может быть, обижен.— Энди, вы ведь просто пошутили, правда? Вы же знаете, что я никогда не смогла бы выйти замуж за северянина.

— Кто он? — спросил я.

— Он из Саванны.

— Вы его любите?

— Конечно.— Мы оба улыбнулись.— Конечно, люблю. Что я, по-вашему, должна сказать?

Теперь уже не было колебаний, как некогда с другими мужчинами. Она не могла позволить себе колебаться. Я зал это, потому что со мной она давно уже не притворялась. Самая эта естественность, как я понял, проистекала из того, что она не считала меня поклонником. Скрываясь под маской инстинктивной благовоспитанности, она всегда знала себе цену и не могла поверить, чтобы

кто-нибудь, не дойдя до полного, безоглядного обожа-
ния, мог по-настоящему полюбить ее. Это она и назы-
вала «быть искренним»; она чувствовала себя в большей
безопасности с людьми, вроде Кэнби или Эрла Шона, не
способными вынести приговор ее мнимо аристократичес-
кому сердцу.

— Ладно,—сказал я, будто она спрашивала моего
разрешения выйти замуж.—Скажите, вы можете для ме-
ня что-то сделать?

— Все, что хотите.

— Поедем в лагерь.

— Но, милый, там ничего не осталось.

— Не важно.

Мы пошли в центр. Шофер такси, стоявшего перед
отелем, повторил ее возражение:

— Да там уже ничего не осталось, капитан.

— Все равно. Поехали.

Через двадцать минут он притормозил на широкой
незнакомой мне равнине, припудренной молодыми
плантациями хлопка и отмеченной редкими группами
сосен.

— Хотите, поедем вон туда, где дымок?—спросил
шофер.—Это новая тюрьма.

— Нет, поезжайте прямо по этой дороге. Я хочу
отыскать место, где я когда-то жил.

Старый ипподром, неприметный в дни величия лаге-
ря, в нынешнем запустении гордо вздымал ввысь свою
полуразрушенную трибуну. Я тщетно пытался сориенти-
роваться.

— Поезжайте по этой дороге, как проедете вон те
деревья, поверните направо, нет—налево.

Он подчинился с презрением знатока.

— Но, дорогой, вы просто ничего не найдете,—сказа-
ла Эйли.—Подрядчики все разрушили.

Мы медленно ехали по краю поля. Может, и здесь...

— Стоп. Я хочу выйти,—сказал я вдруг.

Эйли осталась сидеть в машине; теплый ветер шеве-
лил ее короткие выющиеся волосы, и она была очень
красива.

Может, и здесь. Вот здесь могли быть улицы лагеря
и столовая, где мы в тот вечер ужинали,—вон, через
дорогу.

Шофер смотрел снисходительно, как я, спотыкаясь,
петлял по низенькой, по колено, поросли, отыскивая мою
молодость среди досок, дранки и ржавых банок из-под

томатного сока. Я пробовал определиться по смутно знакомой группе деревьев, но стало темнеть, и я не был до конца уверен, что это те самые деревья.

— Старый ипподром будут приводить в порядок,— слышался из машины голос Эйли.— Тарлтон на старости лет решил принарядиться.

Нет. Пожалуй, это не те деревья. Единственно, в чем я мог быть уверен, это в том, что место, которое когда-то жило такой полной и напряженной жизнью, теперь исчезло—будто и не существовало вовсе—и что еще через месяц исчезнет Эйли, и Юг опустеет для меня навсегда.

ДВЕ ВИНЫ

I

— Смотрите — видали ботиночки? — сказал Билл. — Двадцать восемь монет.

Мистер Бранкузи посмотрел.

— Неплохие.

— На заказ шиты.

— Я и так знаю, что вы франт каких мало. Не за этим же вы меня звали?

— Совсем даже не франт. Кто сказал, что я франт? — возмутился Билл. — Просто я получил хорошее воспитание, не то что иные прочие в театральном мире.

— И еще, как известно, вы красавец писанный, — сухо добавил Бранкузи.

— Конечно. Уж не вам чета. Меня девушки принимают за актера... Закурить есть? И что самое главное, у меня мужественный облик, чего уж никак не скажешь про здешних мальчиков.

— Красавец. Джентльмен. В шикарных ботинках. И везуч как черт.

— А-а, вот тут вы ошибаетесь, — заспорил Билл. — Голова на плечах, это — да. За три года — девять постановок, четыре прошли на «ура», одна провалилась. Ну при чем здесь везение?

Бранкузи надоело слушать, он задумался, уставившись в одну точку невидящими глазами. Сидящий перед ним молодой румяный ирландец всеми порами источал такое самодовольство — не продохнуть. Но пройдет немного времени, и он, как всегда, спохватится, услышит сам себя и, устыдившись, поспешит спрятаться в свое второе «я» — такого утонченно-высокомерного покровителя искусств по образу и подобию ультра-интеллигентов из Театральной гильдии. Между этими двумя ипостасями

Билл Мак-Чесни до сих пор еще не сделал окончательный выбор, такие натуры обычно определяются годам к тридцати.

— Возьмите Эймса, возьмите Гопкинса, Гарриса — любого возьмите, — продолжал разглагольствовать Билл. — Кто из них лучше меня?.. В чем дело? Хотите выпить? — спросил он, видя, что Бранкузи поглядывает на стену, где висел винный шкафчик.

— Я не пью по утрам. Просто там кто-то стучит. Вы б им велели перестать. Слышать не могу, страшно действует на нервы.

Билл встал и распахнул дверь.

— Никого нет... — начал он. — Эй! Вам чего?

— Ой, простите, — ответил женский голос. — Простите, ради бога! Я разволновалась и сама не заметила, что, оказывается, держу в руке карандаш.

— А что вам здесь надо?

— Я к вам. Секретарь говорит, что вы заняты, а у меня к вам письмо от Алана Роджерса, драматурга. Я хотела передать его вам лично.

— Мне некогда. Обратитесь к мистеру Кадорна.

— Я обратилась. Но он был не слишком любезен, а мистер Роджерс говорил...

Бранкузи нетерпеливо пододвинул стул и посмотрел в открытую дверь. Посетительница была очень юная, с копной ослепительных золотых волос и гораздо более волевым лицом, что можно было подумать по ее лепету. У нее был твердый характер, потому что она родилась и выросла в городке Делани, штат Южная Каролина, но откуда было знать об этом мистеру Бранкузи?

— Как же мне быть? — спросила она, без колебаний отдавая свою судьбу в руки Билла. — У меня было письмо к мистеру Роджерсу, а он вот дал мне письмо для вас.

— Ну, и что я должен сделать? Жениться на вас? — взорвался Билл.

— Я хотела бы получить роль в одном из ваших спектаклей.

— Тогда сидите тут и ждите. Я сейчас занят... Где мисс Кохалан? — Он позвонил, с порога еще раз сердито оглянулся на посетительницу и закрыл за собой дверь. Но за это время с ним произошла обычная метаморфоза, и теперь с мистером Бранкузи разговор возобновил человек, который на проблемы театрального искусства смотрит, можно сказать, просто глазами Макса Рейнгардта.

К половине первого он уже ни о чем не помнил, кроме того, что будет величайшим на свете режиссером и что сейчас, за ленчем, он встретится с Солом Линкольном, которому все это втолкует. Он вышел из кабинета и вопросительно посмотрел на мисс Кохалан.

— Мистер Линкольн не сможет с вами встретиться,— доложила она.— Он только что звонил.

— Ах, только что звонил,— в сердцах повторил Билл.— Тогда вычеркните его из списка приглашенных на четверг.

Мисс Кохалан провела черту поперек лежащего перед нею листа бумаги.

— Мистер Мак-Чесни, вы, наверно, про меня забыли? Билл обернулся к посетительнице.

— Да нет,— неопределенно ответил он и добавил, опять обращаясь к секретарше: — Ладно, черт с ним, все равно пригласите его на четверг.

Есть в одиночку ему не хотелось. Он теперь ничего не любил делать в одиночку, ведь для человека известного и влиятельного общество — удивительно приятная вещь.

— Может быть, вы уделите мне две минуты,— снова начала рыженькая.

— Сейчас, к сожалению, не могу.

И вдруг он понял, что таких красивых, как она, не видел никогда в жизни. Он не мог оторвать от нее глаз.

— Мистер Роджерс мне говорил...

— Может, перекусим вместе? — предложил он и, дав мисс Кохалан несколько поспешных и противоречивых указаний, распахнул перед своей дамой дверь.

Они стояли на Сорок второй улице и дышали воздухом для избранных — его было так мало, что могло хватить одновременно лишь на несколько человек. Был ноябрь, театральный сезон начался уже давно. Биллу стоило повернуть голову вправо — и там сияла реклама одного его спектакля, потом влево — и там горели огни другого. Третий шел за углом — тот, что он поставил вместе с Бранкузи и с тех пор зарекся работать на пару.

Они вошли в «Бедфорд-отель», и среди официантов и служителей поднялась суматоха.

— Как тут мило,— любезно, но искренне сказала де-вушка.

— Актерская берлога.— Он кивал каким-то людям.— Привет, Джимми... Билл... Джек, здорово... Это Джек Демпси... Я редко сюда хожу. Больше в Гарвардский клуб.

— Так вы учились в Гарварде? Один мой знакомый...

— Да.

Он колебался. Относительно Гарварда существовали две версии, и неожиданно он выбрал ту, которая соответствовала истине.

— В Гарварде. Меня там считали деревенщиной, никто знаться со мной не хотел, не то что теперь. На той неделе я гостил у одних на Лонг-Айленде — такой фешенебельный дом, боже ты мой, — так там у них двое светских молодчиков, которые в Кембридже меня в упор не замечали, вздумали панибратствовать, я им теперь, видите ли, «старина Билл».

Он еще поколебался и вдруг решил на этом поставить точку.

— Так вам что, работа нужна? — спросил он. Он вдруг вспомнил, что у нее дырявые чулки. Перед дырявыми чулками он пасовал, терялся.

— Да. Иначе мне придется уехать обратно домой, — ответила она. — Я хочу стать балериной, заниматься русским балетом, знаете? Но уроки такие дорогие, вот и приходится искать работу. Заодно, я думала, немного привыкну к сцене.

— Пляски, значит?

— Нет, что вы, классический балет.

— Павлова, например, она разве не пляшет?

— Ну, что вы! — Она ужаснулась, но потом продолжила свой рассказ. — Дома я занималась у мисс Кэмпбелл, вы, может быть, слышали? Джорджия Берримен Кэмпбелл. Ученица Неда Уэйберна. Она просто замечательная! Она...

— Да? — Он слушал рассеянно. — Дело нелегкое. В агентствах от актеров отбою нет, и послушать их всех, так они что угодно могут — до первой пробы. Вам сколько лет?

— Восемнадцать.

— Мне двадцать шесть. Приехал сюда четыре года назад без единого цента в кармане.

— Ну да?

— А теперь могу хоть сегодня прикрыть лавочку, мисс хватит до конца жизни.

— Честное слово?

— В будущем году устрою себе отпуск на год. Живуюсь... Айрин Риккер, слышали про такую?

— Еще бы! Моя любимая актриса.

— Мы помолвлены.

— Правда?

Потом, когда они снова вышли на Таймс-сквер, Билл небрежно спросил:

— А что вы сейчас делаете?

— Работу ищу.

— Да нет же. Вот сейчас.

— Ничего.

— Может, зайдём ко мне, выпьем кофе? Я живу на Сорок шестой улице.

Глаза их встретились, и Эмми Пинкард решила, что в случае чего сможет за себя постоять.

В просторной светлой комнате-студии с огромным диваном в десять футов шириной она выпила кофе, он — виски с содовой, и его рука легла ей на плечи.

— С какой стати я должна вас целовать? — решительно сказала она. — Мы почти незнакомы, и потом вы помолвлены с другой.

— Пустяки. Она не рассердится.

— Так я и поверила.

— Вы — хорошая девушка.

— Во всяком случае, не дура.

— Ну и ладно. Оставайтесь себе хорошей девушкой.

Она поднялась с дивана и стала рядом, свежая и спокойная и ничуть не смущенная.

— Я так понимаю, что теперь мне работы у вас не получить? — беззлобно спросила она.

Он думал уже о другом — о каком-то разговоре, о репетициях — но, поглядев, опять увидел на ней дырявые чулки. И позвонил по телефону:

— Джо, это Нахал говорит... Что, думали, я не знаю, как вы меня называете?... Ладно, ничего... Слушайте, вы уже набрали мне трех девушек для сцены с гостями? Ну, так оставьте место, я вам сейчас пришлю одну южаночку.

И, довольный собою, гордо посмотрел на нее, чувствуя себя самым что ни на есть отличным малым.

— Прямо не знаю, как вас благодарить. И мистера Роджерса, — дерзко добавила она. — До свидания, мистер Мак-Чесни.

Он не снизошел до ответа.

II

Во время репетиций он часто приходил в театр и стоял с умным выражением на лице, будто каждого видел насквозь. На самом же деле, оглушенный собственным успехом, он воспринимал действие на сцене смутно, как в тумане, да и не особенно интересовался. В конце

недели он обычно уезжал на Лонг-Айленд и гостил у своих новоявленных роскошных друзей. Бранкузи величал его не иначе как «светский лев», а он отругивался:

— Ну и что? Разве я не учился в Гарварде? Думаете, я, как вы, у зеленщика в тележке отыскался?

Новые знакомые ценили его за приятную внешность, и за легкий характер, и, конечно, за успех.

И только помолвка с Айрин Риккер омрачала его жизнь. Они давно действовали друг другу на нервы, но ни он, ни она не решались на разрыв. Как двух юных отпрысков двух самых богатых семейств в городе уже одно их исключительное положение часто сводит вместе, так и Билл-Мак-Чесни с Айрин Риккер, оба вознесенные на вершину успеха, не могли не принести друг другу дань взаимного восхищения. Но ссоры, в которых они отводили душу, становились все чаще и ожесточеннее, и конец неотвратимо приближался. Он принял облик рослого красавца Фрэнка Ллуэлина, актера, игравшего в паре с Айрин. Билл быстро понял, к чему идет дело, и взял с ними особый горько-иронический тон; через неделю репетиций отношения в труппе стали натянутыми.

А между тем Эмми Пинкард, у которой теперь хватало денег на крекеры с молоком и был приятель, водивший ее в ресторан, благоденствовала. Приятеля звали Истон Хьюз, он тоже был из Делани и учился в Колумбийском университете на зубного врача. Иногда он приводил с собою и других молодых людей, которые тоже учились на зубных врачей и страдали от одиночества, и за мизерную плату в два-три торопливых поцелуя в такси Эмми всегда могла пообедать. Как-то вечером у актерского подъезда она познакомила Истона с Биллом Мак-Чесни, и с тех пор при встрече с нею Билл всегда разыгрывал ревность.

— Я вижу, этот зубодер опять перебежал мне дорогу? Ну, ладно. Смотрите только, не разрешайте ему давать вам наркоз.

Разговаривали они не часто, но всегда смотрели друг на друга. Он, взглядывая на нее, всякий раз делал сначала большие глаза, словно встретил ее впервые, и только потом спохватывался и принимался ее дразнить. А она, взглядывая на него, видела многое — яркий, солнечный день, толпы народу на улицах; очень хороший новый лимузин у тротуара, и двое очень хорошо одетых людей в него садятся и едут туда, где все как в Нью-Йорке, только это где-то далеко и там еще гораздо веселее.

Часто она жалела, что не поцеловала его тогда, но чаще радовалась, потому что проходили недели, и он забывал про любезности, привязанный, как и все они, к скрипучему колесу работы.

Премьеру назначили в Атлантик-Сити. И здесь настроение у Билла вдруг совсем испортилось, это заметили все. Он был сух с помрежем и язвителен с актерами. А все потому, говорили в труппе, что Айрин Риккер приехала из Нью-Йорка одним поездом не с ним, а с Фрэнком Ллуэлином. Вечером во время генеральной репетиции он сидел рядом с автором в полутемном зале, и вид у него был довольно злобещий; но репетиция шла, он хранил молчание, и только в конце второго акта, когда Ллуэлин остался на сцене вдвоем с Айрин Риккер, вдруг крикнул:

— Еще раз этот кусок! И прошу без глупостей!

Ллуэлин подошел к рампе.

— Что значит «без глупостей»? Так написано в роли.

— Сами знаете. Никакой отсебятины.

— Не понимаю.

Билл вскочил с кресла.

— Никаких перешептываний! Понятно?

— Мы и не перешептывались. Я только спросил..

— Не важно. Повторяем!

Ллуэлин в сердцах повернулся и уже готов был начать сцену, когда Билл вполне внятно произнес:

— Даже пешке надо все-таки делать, что велят.

Ллуэлин обернулся, как будто его дернули.

— Я не намерен терпеть такое обращение, мистер Мак-Чесни.

— Почему? Думаете, вы не пешка? Напрасно. Спектакль ставлю я, а вы обязаны делать, что я приказываю.— Он пошел вперед по проходу.— Если вы и этого не можете, как вас тогда называть?

— Мне не нравится ваш тон!

— Да? Ну и что же с того?

Ллуэлин спрыгнул в оркестровую яму.

— Я не потерплю! — заорал он.

— Да вы что, с ума сошли? — крикнула со сцены Айрин Риккер. Но Ллуэлин размахнулся и одним коротким мощным ударом отбросил Билла в партер. Билл перелетел через ряды кресел, вышиб сиденье и застрял низом головой. Началась паника. Кто-то держал Ллуэлина, автор без кровинки в лице вытаскивал Билла, помреж со сцены орал: «Я убью его, шеф! Расквашу ему жирную

морду!» Ллуэлин тяжело дышал, Айрин Риккер трепетала.

— По местам! — еще в объятиях автора, распорядился Билл, прижимая к лицу платок. — Всем вернуться на свои места! Еще раз последний кусок, и никаких разговоров! Ллуэлин, на сцену!

Никто не успел опомниться, а уже все было готово к возобновлению репетиции. Айрин Риккер тянула Ллуэлина за рукав и что-то торопливо говорила. В зале по ошибке дали свет и тут же опять приглушили. Когда был выход Эмми, она успела заметить, что Билл сидит в зале и лицо его залеплено целой маской окровавленных платков. Она была страшно зла на Ллуэлина. И ведь из-за него все могло расстроиться и пришлось бы возвращаться в Нью-Йорк. Хорошо, что Билл спас спектакль, хотя сам же его чуть не погубил. По своей воле Ллуэлин не бросит сейчас работу, это повредило бы его карьеру. Второй акт доиграли и сразу, без перерыва, приступили к третьему. А когда кончили, Билл уже уехал.

На следующий вечер, во время премьеры, он сидел на стуле в кулисах на виду у всех, кто проходил на сцену или со сцены. Лицо у него распухло, под глазом разлился синяк, но видно было, что ему не до того, и обошлось без язвительных замечаний. Один раз после антракта он вышел в зал, потом вернулся, и тотчас же распространился слух, что от двух нью-йоркских агентств поступили выгодные предложения. Он опять добился успеха — они все добились успеха.

Сердце Эмми захлестнула волна признательности к этому человеку, которому они все стольким были обязаны. Она подошла и поблагодарила его.

— Да, я умею сделать верный выбор, рыжик, — сумрачно ответил он.

— Спасибо вам, что выбрали меня.

И неожиданно для себя самой Эмми опрометчиво добавила:

— Ой, как у вас разбито лицо! Я... по-моему, с вашей стороны было так благородно, что вы не дали вчера всей нашей работе пойти насмарку.

Минуту он испытующе разглядывал ее, потом на его распухшем лице появилось подобие иронической улыбки.

— Вы мною восхищаетесь, детка?

— Да.

— И вчера восхищались, когда я полетел вверх тормашками?

— Зато как быстро вы навели порядок.

— Вот это преданность! В таком дурацком положении и то нашла чем восхищаться.

— Все равно,—восторженно вздохнула она.— Вы держались просто замечательно.

Она стояла перед ним, такая юная, свежая, что ему вдруг захотелось после долгого, трудного дня прижаться распухшей щекой к ее щеке.

С этим желанием и с синяком под глазом он назавтра уехал в Нью-Йорк; синяк рассосался, а желание осталось. Потом они перебрались играть в Нью-Йорк, и, как только он увидел, что вокруг нее теснятся другие мужчины, привлеченные ее красотой, для него весь этот спектакль стал — она, и этот успех — она, и в театр он теперь приезжал ради нее одной. Спектакль играли весь сезон, а когда закрылись, Билл Мак-Чесни слишком много пил и особенно нуждался в участии близкого человека. Неожиданно в начале июня в Коннектикуте они поженились.

III

Двое сидели в баре лондонского «Савоя» и убивали время. Подходил к концу месяц май.

— И симпатичный он парень? — спросил Хабл.

— Очень, — ответил Бранкузи. — Очень симпатичный, очень красивый, и все его любят.

Помолчав, он добавил:

— Вот хочу вытащить его домой.

— Не понимаю, — сказал Хабл. — Разве здешние театры могут сравниться с нашими? Чего он здесь торчит?

— Он водит дружбу с герцогами и графинями.

— А-а.

— На той неделе я его встретил, с ним были три важные дамы: леди Такая-то, леди Сякая-то и леди Еще Какая-то.

— Я думал, он женат.

— Уже три года, — сказал Бранкузи. — Есть ребенок, ждут второго.

Он замолчал, потому что в эту минуту вошел Билл Мак-Чесни. На пороге он демонстративно огляделся по сторонам — у него было очень американское лицо и высоко подложенные плечи.

— Алло, Мак. Познакомьтесь, это мой друг, мистер Хабл.

— Привет.— Билл сел и продолжал разглядывать присутствующих. Хабл вскоре ушел.

— Что за птица?— спросил Билл.

— Так один, только месяц как приехал и титулом не успел обзавестись. Вы вон тут уже полгода болтаетесь.

Билл ухмыльнулся.

— Считаете, что низкопоклонствую? Зато не лицемерю. Мне это по сердцу, нравится мне, понятно? Хорошо бы, и меня тоже звали, скажем, маркиз Мак-Чесни.

— Попробуйте, может, допьетесь и до маркиза,— сказал Бранкузи.

— Еще чего! Откуда вы взяли, что я пью? Вот, значит, теперь какие разговоры обо мне ходят? Послушайте, назовите мне за всю историю театра хоть одного американского продюсера, который имел бы в Лондоне такой успех, как я за неполных восемь месяцев, и я завтра же уезжаю с вами обратно в Америку. Вы только сами скажите...

— Успех имеют ваши старые постановки. А в Нью-Йорке у вас две последние работы провалились.

Билл встал, стиснул зубы.

— А вы кто такой?— мрачно спросил он.— Вы специально из Америки приехали, чтобы так со мной разговаривать?

— Напрасно обижаетесь, Билл. Просто я хочу, чтобы вы вернулись домой. Ради этого я готов что угодно сказать. Выдайте еще три таких сезона, как в двадцать втором и двадцать третьем, и вы обеспечены на всю жизнь.

— Да ну его к черту, этот Нью-Йорк,— хмуро ответил Билл.— Там один день ты король, потом делаешь две промашки, и все начинают болтать, что твоя песенка спета.

Бранкузи покачал головой.

— Не поэтому. Так стали поговаривать, когда мы распеваались с Аронсталем, вашим лучшим другом.

— Тоже мне друг!

— Ну, ближайший сотрудник. И потом...

— Не будем об этом говорить.— Билл посмотрел на часы.— Да, вот что, Эмми, к сожалению, плохо себя чувствует, так что, боюсь, с сегодняшним обедом у нас ничего не выйдет. Обязательно загляните в мою контору перед отъездом.

Пять минут спустя, стоя у табачного ларька, Бранкузи увидел, как Билл снова вошел в вестибюль «Савоя» и спустился в чайную.

«Дипломатом стал, как я погляжу,—подумал о нем Бранкузи.—Раньше, бывало, говорил прямо, что, мол, иду на свидание. Понабрался тут лоску от герцогов и графинь».

Возможно, он слегка обиделся, хотя вообще-то был не из обидчивых. Во всяком случае, он тут же, не сходя с места, заключил, что Мак-Чесни катится по наклонной плоскости, и раз навсегда вычеркнул его из своего сердца, что было вполне на него похоже.

А никаких признаков, что Билл катится по наклонной плоскости, не было. Одна удачная постановка в «Новом Стрэнде», другая—в «Театре принца Уэльского», и еженедельные поступления текли почти так же обильно, как в Нью-Йорке два-три года назад. Разве энергичный, деловой человек не вправе переменить район операций? А человек, который час спустя входил, торопясь к обеду, в свой дом возле Хайд-парка, не достиг еще и тридцати и был полон энергии. Эмми, измученная, беспомощная, лежала на кушетке в верхней гостиной. Он обнял ее и прижал к себе.

— Осталось немножко,—сказал он ей.—Ты очень красивая.

— Не смейся меня.

— Правда. Ты всегда красивая. Не знаю, почему. Наверно, потому что у тебя сильный характер, и это всегда видно, даже когда ты вот такая.

Ей было приятно, что он так говорит; она провела пальцами по его волосам.

— Характер—самое главное в человеке,—продолжал он.—А у тебя его хватит на семерых.

— Ты виделся с Бранкузи?

— Да. Ну его к черту. Я решил не привозить его к обеду.

— Почему?

— Да так... очень разважничался. Говорит о моей ссоре с Аронстале, будто это я во всем виноват.

Она помолчала, поджав губы, потом тихо сказала:

— Ты подрался с Аронстале, потому что был пьян. Он вскочил.

— И ты тоже?..

— Нет, Билл, но ты и теперь слишком много пьешь, ты сам знаешь.

Он знал, но постарался переменить тему, и они спустились к обеду. За столом, разогретый бутылкой красного вина, он вдруг заявил, что с завтрашнего дня вообще не возьмет в рот спиртного, пока она не родит.

— Я ведь захочу — всегда могу перестать пить, разве нет? И если я что сказал, значит, так и будет. Ты видела хоть раз, чтобы я пошел на попятный?

— Не видела.

Они выпили кофе, потом он собрался уходить.

— Возвращайся пораньше, — сказала Эмми.

— Конечно... Что с тобой, детка?

— Ничего. Просто плачу. Не обращай внимания. Да уходи же, ну что ты стоишь, как дурак?

— Но я беспокоюсь, разве не понятно? Не люблю, когда ты плачешь.

— Ну, просто я не знаю, куда ты уходишь по вечерам; не знаю, с кем ты. И эта леди Сибил Комбринк, что все время сюда звонила. Чепуха все, я понимаю, но я просыпаюсь ночью, и мне так одиноко, Билл. Ведь мы всегда были вместе, правда? До недавна.

— Мы и теперь вместе... Что это на тебя нашло, Эмми?

— Это все бред, я знаю. Мы ведь никогда не предадим друг друга, да? Как до сих пор...

— Ну, конечно...

— Возвращайся пораньше или когда сможешь.

Он заехал на минутку в «Театр принца Уэльского», потом пошел в соседнюю гостиницу и позвонил по телефону.

— Нельзя ли попросить ее светлость? Это говорит мистер Мак-Чесни.

Голос леди Сибил ответил не сразу.

— Вот так сюрприз. Я уже несколько недель не имела удовольствия вас слышать.

Тон ее был резок, как удар хлыста, и холоден, как домашний ледник, — такая манера вошла в моду с тех пор, как английские дамы стали подражать своим портретам из английских романов. На него это сначала производило впечатление. Но недолго. Голову он не терял.

— Не было ни минуты свободной, представляете? — ответил он. — Вы на меня не дуетесь, надеюсь?

— Дуюсь? Я вас не понимаю.

— А я боялся, что дуетесь. Даже не прислали мне приглашение на сегодняшний бал. Я считал, раз мы тогда обо всем переговорили и согласились...

— Говорили — вы, и довольно много, — прервала его леди Сибил. — Пожалуй, даже чересчур много.

И неожиданно, к изумлению Билла, повесила трубку.

Подумаешь, британская леди, разозлился он. Скетч под заглавием «Дочь Тысячи Пэров».

Он был задет, это подчеркнутое безразличие подогрело его угасший было интерес. Обычно женщины прощали ему непостоянство, так как знали о его трогательной преданности жене, и сохраняли о нем грустные, но приятные воспоминания. Ничего подобного в голосе леди Сибил он не услышал.

Надо выяснить отношения, сказал он себе. Будь на нем фрак, он мог бы заехать к ней на бал и объясниться. Но ехать домой переодеваться не хотелось. Чем больше он размышлял, тем неотложнее представлялся ему этот разговор; под конец он стал подумывать, что, может быть, стоит поехать прямо так, в чем был; американцам позволялись некоторые вольности в одежде. Впрочем, пока еще было рано, и следующий час он провел в обществе нескольких стаканов виски с содовой, всесторонне обдумывая ситуацию.

Ровно в полночь он поднялся по ступеням к дверям ее особняка в Мэйфэре. Лакеи в гардеробе укоризненно разглядывали его пиджак, а швейцар безуспешно искал его фамилию в списке приглашенных. По счастью в это же время подъехал его добрый знакомый сэр Хамфри Данн и убедил швейцара, что произошло какое-то недоразумение.

Переступив порог, Билл сразу же стал высматривать хозяйку дома.

Леди Сибил, молодая женщина очень высокого роста, была наполовину американка и оттого еще больше англичанка, чем кто бы то ни было. Билла Мак-Чесни она, в каком-то смысле, открыла, скрепив своим именем его репутацию обаятельного дикаря; его измена нанесла удар по ее самолюбию, какого она еще не испытывала с тех пор, как ступила на стезю порока.

Она здоровалась с прибывающими гостями, стоя наверху лестницы рядом с мужем, — Билл никогда раньше не видел их вместе. Он решил подождать и потом подойти к ней в менее торжественной обстановке.

Но гости шли и шли, и ему с каждой минутой становилось все неудобнее. Знакомых вокруг почти не было; к тому же его пиджак явно привлекал внимание. Леди Сибил, конечно, видела его и могла бы помахать рукой, он бы тогда не чувствовал себя так по-идиотски. Но леди Сибил не показывала вида, что знает о его присутствии. Он уже не рад был, что пришел, однако теперь уйти было

бы и вовсе нелепо. Он пробрался к буфетному столу и подкрепился бокалом шампанского.

А когда снова обернулся, она стояла наконец одна. Он устремился было к ней, но его остановил дворецкий:

— Прошу прощения, сэр. У вас есть приглашительная карточка?

— Я друг леди Сибил,— раздраженно ответил Билл и пошел через зал.

Дворецкий догнал его.

— Очень сожалею, сэр, но должен просить вас пройти со мною и выяснить это недоразумение.

— Незачем. Я сейчас пойду поговорю с леди Сибил.

— У меня другие предписания, сэр,— твердо возразил дворецкий.

И не успел Билл опомниться, как ему ловко прижали локти к бокам и проворно провели в какую-то комнатку позади буфета.

Здесь его встретил человек в пенсне, Билл узнал в нем домашнего секретаря Комбринков.

Секретарь, кивнув дворецкому, сказал: «Да, этот самый»,— и Биллу отпустили руки.

— Мистер Мак-Чесни,— произнес секретарь,— вы сочли уместным проникнуть в этот дом без приглашения, и его светлость просит вас немедленно удалиться. Будьте добры передать мне ваш номерок от гардероба.

Тут Билл наконец понял. С его губ сорвалось единственное слово, подходящее, по его мнению, для леди Сибил; в тот же миг секретарь подал знак двум лакеям, и отчаянно отбивающегося Билла поволокли через буфетную, где на него с любопытством оглядывались официанты, потом длинным коридором до дверей— и вытолкали в ночь. Двери захлопнулись; потом еще раз отворились, вслед за ним, надувшись парусом, вылетело его пальто, по ступенькам со стуком скатилась трость.

Он еще стоял там, ошарашенный, потрясенный, когда перед ним затормозило свободное такси, и шофер, приоткрыв дверцу, позвал:

— Эй, хозяин! Голова-то не болит?

— Что?

— Я знаю местечко, где можно опохмелиться. И поздний час не помеха.

Дверца такси захлопнулась за ним, и начался кошмар. Какое-то подпольное ночное кабаре; какие-то чужие люди, неизвестно откуда взявшиеся; потом какой-то

скандал, он пытался расплатиться чеком и вдруг стал громко кричать, что он — Уильям Мак-Чесни, знаменитый режиссер, но никого не мог убедить, ни других, ни самого себя. Сначала было очень важно немедленно связаться с леди Сибил и призвать ее к ответу; потом уже вообще ничего не было важного. Он опять сидел в такси, шофер тряс его за плечи, и перед ним был его собственный дом.

В холле, когда он входил, раздался телефонный звонок, но Билл тупо прошел мимо горничной и расслышал ее голос, только уже поднимаясь по лестнице.

— Мистер Мак-Чесни, это опять из больницы. Миссис Мак-Чесни у них, они звонят каждый час.

Все еще как в тумане, он приложил трубку к уху.

— Говорят из Мидлендской больницы по поручению вашей жены. Она разрешилась сегодня в девять часов утра мертворожденным младенцем.

— Пойдите, — хриплым, ломающимся голосом сказал он. — Я не понимаю.

Но потом он все же понял: у Эмми родился мертвый ребенок и она зовет его. На подкашивающихся ногах он снова вышел на улицу искать такси.

В палате стоял полумрак. Постель была скомкана. Эмми подняла голову и увидела Билла.

— Это ты, — сказала она. — Господи, я думала, тебя нет в живых. Где ты был?

Он упал на колени возле кровати, но Эмми отвернулась.

— От тебя разит, — сказала она. — Противно.

Но пальцы ее остались у него на волосах, и он долго, не двигаясь, стоял перед ней на коленях.

— Между нами все кончено, — чуть слышно говорила она. — Но как было жутко, когда я думала, что ты умер. Все умерли. Пусть бы и я умерла.

Ветром откинуло штору на окне, он поднялся поправить ее, и Эмми увидела его в ясном свете утра — бледного, страшного, в мятом костюме, с разбитым лицом. На этот раз она чувствовала озлобление против него, а не против его обидчиков. Чувствовала, что его образ уходит из ее сердца и на этом месте возникает пустота, и вот его уже нет для нее, и она даже может простить, может его пожалеть. И все — за какую-то минуту.

Она упала у больничного подъезда, пытаясь одна выйти из такси.

Когда Эмми оправилась физически и душевно, ею овладело неотступное желание учиться балету — давняя немеркнущая мечта, которую заронила в ней мисс Джорджия Берримен Кэмпбелл из Южной Каролины, манила, точно светлый путь, уводящий назад, к ранней юности и к нью-йоркским дням радости и надежды. Под балетом она понимала ту изысканную совокупность извилистых поз и формализованных пируэтов, которая родилась в Италии несколько столетий назад и достигла расцвета в России в начале нынешнего века. Она хотела приложить силы к тому, во что могла верить, ей представлялось, что танец — это возможность для женщины выразить себя в музыке; вместо сильных пальцев тебе дано гибкое тело, чтобы исполнить Чайковского и Стравинского; и ноги в «Шопениане» могут быть не менее выразительны, чем голоса в «Кольце Нибелунгов». В низших своих проявлениях балет — это номер в цирковой программе между акробатами и морскими львами; в высших — Павлова и Искусство.

Как только они устроились в нью-йоркской квартире, она с головой погрузилась в работу. Занималась неутомимо, как шестнадцатилетняя девочка, — по четыре часа в день у станка, позиции, антраша, пируэты, арабески. Это стало основным содержанием ее жизни, и единственное, что ее беспокоило, — не поздно ли? Ей было двадцать шесть, и приходилось наверстывать за десять лет, но у нее было пластичное тело прирожденной балерины — и это прелестное лицо...

Билл поощрял ее занятия; он собирался, когда она выучится, создать для нее первый настоящий американский балет. По временам он даже немного завидовал ее увлеченности; его собственные дела после возвращения на родину шли не блестяще. Во-первых, он нажил себе много врагов еще в годы своей самоуверенной молодости; ходили преувеличенные рассказы о том, как он много пьет, как груб с актерами и как с ним трудно работать.

Не в его пользу было и то, что он никогда не мог отложить денег и для каждой новой постановки вынужден был искать финансовую поддержку. А кроме того, он был на свой лад настоящим тонким художником, что и не побоялся доказать рядом некоммерческих постановок, но поскольку за ним не стояла Театральная гильдия, все потери он должен был возмещать из собственного кармана.

Успехи тоже были; но давались они теперь труднее — или это было обманчивое впечатление, просто сказывался нездоровый образ жизни. Он все собирался поехать отдохнуть, собирался поменьше курить, но в театральном мире была такая конкуренция, с каждым днем появлялись новые деятели, пользующиеся славой непогрешимых, да и не привык он к размеренной жизни. Он любил работать запоями, в чаду вдохновения и черного кофе, как принято в театре, но после тридцати лет за это приходится дорого платить. Так получилось, что он постепенно стал все больше опираться на Эмми, на ее физическое здоровье и душевные силы. Они постоянно были вместе, и если его все же смущало, что он нуждается в ней больше, чем она в нем, то ведь и у него еще все могло перемениться к лучшему — в будущем месяце, в следующем сезоне.

Однажды ноябрьским вечером Эмми возвращалась из балетной школы, помахивая своей серенькой сумочкой, низко надвинув шляпу на отсыревшие волосы, — вся во власти приятных мыслей. Она знала, что уже несколько недель люди приходят в студию специально, чтобы посмотреть на нее. Она была готова для выступлений. Когда-то с такой же настойчивостью и так же долго она трудилась над своими отношениями с Биллом, и тогда это кончилось срывом и болью, но теперь ей не от кого было опасаться предательства, здесь она полагалась только на себя. И она с замиранием сердца говорила себе: «Неужели вот оно? Неужели я наконец буду счастлива?»

Она торопилась. Были кое-какие обстоятельства, которые ей хотелось обсудить с Биллом.

Билла она застала уже в гостиной и позвала с собой наверх, чтобы поговорить, пока она будет переодеваться. Сразу, не оглянувшись на него, начала рассказывать.

— Ты только послушай! — Она говорила громко, чтобы льющаяся в ванну вода не заглушала ее голоса. — Поль Макова хочет, чтобы я в этом сезоне танцевала с ним в «Метрополитен-опера». Но окончательно еще не решено, имей в виду, поэтому — секрет, даже я ничего не знаю.

— Замечательно.

— Вот только, может быть, для меня лучше был бы дебют за границей? Во всяком случае, Донилов говорит, я готова. Ты как считаешь?

— Не знаю.

— Ты, кажется, не особенно в восторге?

— Мне тоже нужно тебе кое-что сказать. Потом. Ты продолжай.

— Все, мой милый. Если ты по-прежнему думаешь поехать на месяц в Германию, как ты говорил, Донилов берется устроить мне дебют в Берлине, но я, пожалуй, предпочла бы начать здесь и танцевать с Полем Макова. Представь себе...— Она не договорила, вдруг ощутив сквозь толстую кожу своего довольства всю его отрешенность.— Теперь расскажи, что там у тебя.

— Я был сегодня у доктора Кирнса.

— И что он сказал?— Душа ее еще пела. Что Билл мнителен, ей было давно известно.

— Я ему рассказал про сегодняшнее кровотечение, и он опять повторил то же, что в прошлом году: что это у меня, вернее всего, лопнул какой-то сосудик в горле. Но раз я кашляю и волнуюсь, лучше на всякий случай сделать просвечивание и удостовериться. И мы удостоверились. Левого легкого у меня, в сущности, уже нет.

— Билл!

— Зато на правом, к счастью, ни одного затемнения. Она слушала, вся похолодев.

— Сейчас мне это очень некстати,— продолжал он ровным голосом,— но ничего не поделаешь. Он говорит, что надо поехать на зиму в Адирондакские горы или в Денвер, в Денвер, он считает, лучше. И тогда через каких-нибудь полгода это должно пройти.

— Ну, конечно, мы обязательно...— Она осеклась.

— Тебе, по-моему, незачем ехать— тем более, у тебя открываются такие возможности.

— Глупости, конечно, я поеду,— поспешно возразила она.— Твое здоровье важнее. Мы ведь всюду ездим вместе.

— Право же, не стоит.

— Чепуха.— Она постаралась, чтобы ее голос звучал твердо и решительно.— Мы всегда были вместе. Разве я смогла бы здесь жить без тебя? Когда тебе велено ехать?

— Чем раньше, тем лучше. Я зашел к Бранкузи, хотел выяснить, не перекупит ли он ричмондскую постановку. Но он не выразил особого восторга.— Билл стиснул зубы.— Правда, ничего другого у меня сейчас пока не будет, но нам хватит, мне еще следует и за...

— Как стыдно, что от меня тебе нет никакой помощи!— перебила его Эмми.— Ты работаешь, как вол, а я все это время на одни уроки тратила по двести

долларов в неделю. Еще смогу ли я когда-нибудь зарабатывать такие деньги, неизвестно.

— Конечно, через полгода я буду опять совершенно здоров — так он говорит.

— Разумеется, милый! Мы поставим тебя на ноги. Надо все устроить и немедленно ехать.

Она обняла его за плечи и поцеловала.

— Вот я какая дрянная. Должна была видеть, что моему любимому худо.

Он по привычке полез за сигаретой, но не донес руки до кармана.

— Забыл — придется бросать курить.

И вдруг сумел подняться над собою:

— Нет, детка, я решил, поеду один. Ты там с ума сойдешь от скуки, а я только буду терзаться, что из-за меня ты лишилась своих танцев.

— Об этом не думай. Главное — тебя вылечить.

Так они спорили целую неделю, и при этом оба говорили все, кроме правды: что ему очень хочется, чтобы она с ним поехала, а она всей душой жаждет остаться в Нью-Йорке. Она успела разведать, что думает ее учитель Донилов, и, как выяснилось, он считал промедление для нее пагубным. Другие ученицы балетной школы строили планы на зимний сезон, и она готова была умереть, до того ей не хотелось уезжать, и полностью скрыть от Билла свои терзания ей не удавалось. У них возникла было мысль ехать все-таки в Адирондакские горы и чтобы Эмми прилетала туда аэропланом на субботу и воскресенье, но Билл тем временем начал температурить, и врач решительно предписал ему Запад.

Конец всем спорам в один ненастный воскресный вечер положил он сам — в нем взяло верх то чувство простой и человеческой справедливости, которое в свое время покорило Эмми, которое теперь, в беде, делало из него фигуру почти трагическую, как делало его в общепитом славным малым в дни успеха, несмотря на все его неспособное фанфаронство.

— Это дело — мое, и только мое, детка. Я сам виноват, что довел себя до этого, характера не хватило — характер в нашей семье весь у тебя, — и теперь никто меня не спасет, если я не спасу себя сам. А ты три года грудилась, перед тобой открылись возможности, которые ты честно заслужила, если ты теперь уедешь, ты мне до конца жизни не простишь, — он усмехнулся. — А этого я не вынесу. И потом там плохо для маленького.

И она сдалась, уступила, с болью — и с облегчением. Потому что мир ее работы, в котором она существовала без Билла, оказался для нее теперь гораздо важнее, чем малый мир, где они были вместе. В нем простор для радости был шире, чем простор для сожаления в мире прежнем.

А через два дня он уже уезжал, поезд отходил в пять часов, билет лежал в кармане, и они в последний раз сидели вдвоем и говорили о будущем. Она опять настаивала на том, чтобы ехать вместе, и была искренна; прояви он хоть минутную слабость, и она бы за ним последовала. Но с ним под влиянием несчастья произошла перемена, он выказал твердость, какой за ним много лет не водилось. Быть может, разлука действительно пойдет ему на пользу.

— До весны! — говорили они друг другу.

На вокзале, при маленьком Билли, Билл большой сказал:

— Терпеть не могу этих кладбищенских расставаний. Попрощаемся здесь. Мне еще до отправления надо позвонить из поезда.

За шесть лет они и двух ночей кряду не провели врозь, не считая того времени, что Эмми была в больнице; не считая эпизода в Англии, они всегда пользовались славой самой нежной и преданной пары, хотя Эмми с первых дней чувствовала что-то ненадежное и угрожающее в такой рекламе. И когда Билл один прошел на перрон, Эмми была рада, что ему нужно позвонить, что он там сейчас сидит и ведет деловой разговор.

Она была хорошая женщина; она вышла за человека, которого любила всем сердцем. И на Тридцать третьей улице ей теперь показалось, будто вокруг нее пустыня; квартира, за которую он платил, тоже без него опустеет; а вот она, Эмми, осталась здесь, и ей будет хорошо.

Она прошла несколько кварталов и остановилась. Что я делаю, говорила она себе. Ведь это ужасно. Предаю его, как самая последняя дрянь. Оставила его в несчастье, а сама что же, поеду обедать с Дониловым и Полем Макова, который мне нравится, потому что он красивый и у него глаза и волосы одного цвета? А Билл там в поезде один-одинешенек.

И она вдруг рывком повернула маленького Билли назад. Ей так ясно представилось, как Билл сидит в купе, бледный и усталый и такой одинокий без своей Эмми.

— Я не должна, не могу предать его, — твердила она себе, и жалость волна за волной захлестывала ей сердце.

Но только жалость — ведь он-то предал ее, ведь он тогда в Лондоне делал все, что хотел.

— Бедный, бедный Билл!

В нерешительности она стояла посреди тротуара, с последней, беспощадной ясностью понимая, как скоро она все это забудет и найдет себе оправдание. Она нарочно заставляла себя думать про Лондон, и тогда ее совесть успокаивалась. Но разве не дурно вспоминать это, когда Билл там в поезде один? Еще не поздно, еще можно успеть на вокзал, сказать ему, что она едет с ним. Но она все стояла на месте, и жизнь билась в ней, билась за нее. Тротуар был узок, из театра в это время хлынула толпа людей, подхватила ее с маленьким Билли и увлекла.

А Билл в поезде разговаривал по телефону до самой последней минуты, оттягивая возвращение в свое купе, потому что знал почти наверняка, что ее там не будет. Поезд уже тронулся, когда он вернулся, и действительно — в купе было пусто, только чемоданы в сетке и какие-то журналы на диванах.

И тогда он понял, что она для него потеряна. Он не обманывался — этот Поль Макова, и месяцы работы бок о бок, и одиночество — нет, то, что было, никогда не вернется. Он все думал и думал об этом, просматривая журналы, и постепенно ему стало представляться, что Эмми словно бы нет в живых.

«Она была замечательная женщина, — думал он о ней. — Редкостная. С характером».

Он прекрасно сознавал, что во всем виноват сам и что здесь сработал некий закон равновесия. Сознавал и то, что теперь, уехав, он снова уравнился с нею, стал не хуже ее; теперь наконец они квиты.

Несмотря на все, даже на свое горе, он испытывал облегчение оттого, что отдался во власть посторонних, высших сил; а от слабости и неуверенности — этих свойств, которые всегда были ему противны, — не так уж сграшно казалось, даже если там, на Западе, его ждет смерть. В конце, он знал, Эмми все равно придет, чем бы она ни была занята и какой бы выгодный ангажемент ни получила.

1930

ОПЯТЬ ВАВИЛОН

I

— А мистер Кемпбелл где? — спрашивал Чарли.

— Уехал в Швейцарию. Мистер Кемпбелл сильно болеет, мистер Уэйлс.

— Это грустно. Ну, а Джордж Хардт?

— Вернулся в Америку, работает.

— А где Кокаинист?

— На той неделе заходил к нам. Мистер Шеффер, друг его, этот определенно в Париже.

Полтора года — и всего двое из длинного перечня знакомых имен. Чарли набросал в записной книжке адрес и вырвал листок.

— Увидите мистера Шеффера, передайте ему, — сказал он. — Тут адрес моих родных. Я еще не решил, где остановиться.

Париж опустел, но это было не так уж худо. Настораживало гнетущее, непривычное затишье в баре отеля «Риц». Американский дух исчез — теперь здесь невольно хотелось держаться вежливым гостем, не хозяином. Бар вновь отошел к Франции. Чарли ощутил затишье сразу, едва только вылез из такси и увидел, что швейцар, которому в такой час обыкновенно вздохнуть было некогда, судачит у служебного входа с *chasseur*¹.

Он двинулся по коридору, и лишь одинокий скучающий голосок долетел до него из дамской комнаты, когда-то полной щебетанья. Свернув в бар, он прошел пятнадцать шагов до стойки по зеленому ковру, глядя по старой привычке прямо перед собой, сел, поставил ногу на опору, а уж тогда повернулся, осмотрелся кругом,

¹ Посыльным (*фр.*)

и лишь чей-то одинокий взгляд, оторвавшись от газеты, вспорхнул навстречу ему из угла. Чарли спросил, нет ли старшего бармена Поля, который в те дни, когда на бирже еще играли на повышение, приезжал на работу в собственном несерийной модели автомобиле—хоть, правда, из понятной щепетильности оставлял его за углом. Но Поль был сегодня в своем загородном доме, и новости рассказывал Аликс.

— Нет, хватит,—сказал Чарли,—я нынче соблюдаю меру.

Аликс поздравил его.

— А года два назад вы крепко налегали.

— Теперь—кончено,—уверил его Чарли.—Точка. Держусь полтора с лишним года.

— Каково сейчас в Америке?

— Я в Америке не был уж сколько месяцев. Веду дела в Праге, представляю кой-какие предприятия. Туда обо мне не дошли слухи.

Аликс улыбнулся.

— Помните, когда Джордж Хардт давал холостяцкий ужин, что здесь было?—сказал Чарли.—А кстати, что с Клодом Фессенденом, где он?

Аликс доверительно понизил голос:

— В Париже, только теперь не показывается сюда. Поль не пускает. У него тут счетов набралось на тридцать тысяч франков, больше года пил, обедал, да и ужинал обычно—и все в долг. А под конец, когда Поль сказал, что надо платить, дал негодный чек.

Аликс сокрушенно покачал головой.

— Понять не могу, такой хороший господин, и вот поди ты. Теперь к тому же разнесло всего...—Он очертил ладонями пузатое яблоко.

Чарли смотрел, как рассаживается в углу стайка писклявых педерастов.

Этих ничто не берет, думал он. Повышаются и падают акции, люди слоняются без дела или работают, а им все нипочем. Ему становилось тягостно здесь. Он попросил у Аликса игральные кости, и они кинули, кому платить за выпивку.

— Надолго сюда, мистер Уэйлс?

— Дня на четыре, проведать дочь.

— О-о! Так у вас есть дочка?

Снаружи, сквозь тихий дождик, дымно мерцали вывески, огненно-красные, газово-синие, прозрачно-зеленые. Вечерело, и улицы были в движении; светились

быстро. На углу бульвара Капуцинок он взял такси. Мимо, розоватая, величественная, проплыла площадь Согласия, за нею естественным рубежом легла Сена, и на Чарли внезапно повеяло нестоличным уютом Левого берега.

Он велел шоферу ехать на авеню Оперы, хотя это был крюк. Просто хотелось увидеть, как сизые сумерки затягивают пышный фасад и в клаксонах такси, бессчетно повторяющих начальные такты «La Plus que Lente»¹, услышать трубы Второй империи. У книжной лавки «Брентано» запирали железную решетку, у Дюваля, за чинно подстриженными кустиками живой изгороди, уже обедали. Чарли ни разу не приводилось в Париже есть в настоящем дешевом ресторане. Обед из пяти блюд и с вином — четыре франка пятьдесят сантимов, то есть восемнадцать центов. Почему-то сейчас он пожалел об этом.

Переехали на Левый берег, и, окунаясь, как всегда, в его неожиданный провинциальный уют, Чарли думал: я своими руками сгубил для себя этот город. Не замечал, как, один за другим, уходят дни, а там оказалось, что пропало два года, и все пропало, и сам я пропал.

Ему было тридцать пять лет, и он был хорош собой.

Глубокая поперечная морщина на лбу придавала сосредоточенность его живым ирландским чертам. Когда он позвонил на улице Палатин в дверь своих родственников, морщина обозначилась резче, брови сошлись к переносице; у него заныло под ложечкой. Горничная отворила дверь, и прелестная девочка лет девяти выскочила из-за ее спины, взвизгнула: «Папа!» — и забилась, точно рыбка, повиснув у него на шее. Она за ухо пригнула к себе его голову и прижалась к его щеке.

— Старушенция моя, — сказал он.

— Ой, папа, папа, папочка!

Она потянула его в гостиную, где дожидалось все семейство — мальчик с девочкой, сверстники его дочери, свояченица, ее муж. Он поздоровался с Мэрион обдуманно ровным голосом, без неприязни, но и без наигранной радости, она отозвалась откровенно кислым тоном и тут же перевела взгляд на его ребенка, стирая с лица неистребимую отчужденность. Мужчины дружески поздоровались за руку, и ладонь Линкольна Питерса мимоходом опустилась Чарли на плечо.

¹ «Медленный вальс» Дебюсси (фр.).

В комнате было тепло, было удобно на американский привычный лад. Дети играли во что-то свое, переходя через желтые прямоугольники, ведущие в другие комнаты; в предобеденном благодущии смачно причмокивал огонь, ему вторили отголоски французских священнодействий на кухне. Но Чарли не удавалось расслабиться, сердце комом застряло в горле — спасибо, что поминутно подходила дочка, баюкая подаренную им куклу, она прибавляла ему уверенности.

— Отлично, представь себе, — ответил он на вопрос Линкольна. — Кругом, куда ни поглядишь, полный застой, а у нас дела идут вовсю. Черт его знает, прямо лучше прежнего. Вот в будущем месяце жду сестру из Америки, будет вести хозяйство. Такого дохода, как в последний год, не получал, даже когда был при капитале. Чехи, понимаешь... — Он расхвастался неспроста, но в этот миг в глазах у Линкольна прошла беспокойная тень, и он перевел разговор на другое: — Хорошие у вас дети, воспитанные, умеют себя вести.

— А мы довольны Онорией, хоть куда девица.

Вернулась из кухни Мэрион Питерс. Высокая, с вечно озабоченными глазами — от свежей американской милости не осталось и следа. Впрочем, Чарли никогда не находил ее привлекательной, только удивлялся, когда кто-нибудь вспоминал, какая она была хорошенькая. Они невзлюбили друг друга безотчетно, с первой минуты.

— Ну, как Онория на твой взгляд?

— Чудесно. До чего выросла за десять месяцев, поразительно. Да вся троица загляденье.

— Вот уж год не знаем, что такое врач. Как тебе в Париже после такого перерыва?

— Непривычно как-то, совсем не видно американцев.

— И слава богу, — мстительно сказала Мэрион. — По крайней мере, заходишь в магазин, никто тебя не принимает за миллионершу. Мы пострадали не меньше других, но, вообще говоря, так оно куда лучше.

— И все же славно было, как вспомнишь, — сказал Чарли. — На нас смотрели, как на сказочных принцев и принцесс, которым все дозволено и все прощается. А сегодня в баре... — Он осекся, слишком поздно заметив свою оплошность, — ...я не встретил ни одной знакомой души.

Она бросила на него острый взгляд.

— Казалось бы, хватит с тебя баров.

— Я заходил всего на минуту. У меня правило — виски с содовой раз в день, и больше ни капли.

— Может быть, выпьешь коктейль перед обедом? — спросил Линкольн.

— Мое правило — один раз в день, значит, на сегодня довольно.

— Будем надеяться, что это надолго, — сказала Мэрион.

Она говорила холодно, с явной неприязнью, но Чарли только усмехнулся: не стоило обращать внимания на мелочи, когда решалось главное. Ее враждебность была ему даже на руку, он понимал, что нужно лишь выждать. Дождаться, пока они заведут разговор о том, что привело его в Париж, ведь они знают, зачем он приехал.

За обедом он старался и не мог определить, на кого Онория больше похожа — на него или на мать. Счастье, если ей не достались от обоих те свойства, которые навлекли на них беду. Его захлестнуло желание оградить, уберечь. Он, кажется, знал, что ей нужно больше всего. Он верил в твердость духа, он хотел перенестись на целое поколение назад и вновь уповать на твердость духа, как некую непреходящую ценность. Все прочее снашивалось дотла.

После обеда он просидел недолго, но не поехал домой. Любопытно было взглянуть на ночной Париж новыми глазами, яснее, строже, чем в те, прежние, дни. Он взял *strapontin*¹ в «Казино» и смотрел, как изгибается в арабесках шоколадное тело Жозефины Бейкер.

Через час он вышел и не спеша направился в сторону Монмартра, вверх по улице Пигаль, на площадь Бланш. Дождь перестал; по-вечернему одетые люди высаживались из такси у дверей кабаре; в одиночку и по двос прохаживались *socottes*², было много негров. Он миновал освещенный подъезд, из которого доносилась музыка, и, почуяв что-то знакомое, остановился, — это оказалось заведение Бриктопа; и сколько часов сюда ухнуло, сколько денег. Еще несколько дверей, и еще одно полузабытое место давних сборищ; он опрометчиво заглянул в дверь. Тут же с готовностью грянул оркестр, вскопчила на ноги пара профессиональных танцоров, и с возгласом: «Милости просим, сэр, поспели к самому сбору!» — к нему устремился метрдотель. Чарли поспешил убраться. Да, думал он, для такого нужно черт те сколько выпить.

У Зелли было закрыто, и сомнительные гостинички по соседству прятали свои облезлые стены в темноте, зато

¹ Откидное место (*фр.*).

² Уличные девицы (*фр.*)

на улице Бланш светились огни, слышался бойкий говор парижан. «Пещеры поэтов» не стало, но по-прежнему разверзали пасти кафе «Рай» и кафе «Ад» — и даже, у него на глазах, заглотнули скудное содержимое туристского автобуса: одного немца, одного японца и чету американцев, которая покосилась на него испуганно.

Вот и все, к чему сводился Монмартр, его старания, ухищрения. Порок и расточительство обставлены были совершенно по-детски, и Чарли вдруг осознал, что значат слова «вести рассеянный образ жизни» — рассеять по ветру, обратить нечто в ничто. В предутренние часы всякий переход из одного заведения в другое был как бы резкий скачок в иное человеческое состояние, скачок в цене за возможность все более замедлять свой ход.

Вспомнились тысячные бумажки, отданные в оркестр за то, что сыграли по заказу одну вещицу; сотенные бумажки, брошенные швейцару за то, что кликнул такси.

Впрочем, все это отдавалось не даром.

Все это, вплоть до совсем уже дико промотанных денег, отдано было как мзда судьбе, чтобы не вспоминать главное, о чем только и стоило помнить, о чем теперь он будет помнить всегда, — что у него забрали ребенка, что жена скрылась от него на вермонтском кладбище.

В пронзительном свете brasserie¹ с ним заговорила женщина. Он взял для нее омлет и кофе, потом, стараясь не встречаться с ее зазывным взглядом, дал ей двадцать франков, сел в такси и поехал в гостиницу.

II

Когда он проснулся, стоял осенний солнечный день — подходящая погода для футбола. Вчерашняя хандра прошла, встречные на улице радовали глаз. В двенадцать он сидел против Онории в «Ле Гран Ватель» — из всех знакомых ресторанов только этот не приводил на память ужины с шампанским, долгие обеды, которые начинались в два пополудни и завершались в расплывчатых, мутных сумерках.

— Ну, а как ты насчет овощей? Возьмем тебе что-нибудь?

¹ Пивной (фр.

— Давай.

— Есть épinards¹, chou-fleur², морковка есть, haricots³.

— Chou-fleur, если можно.

— Еще что хочешь?

— Я за обедом больше не ем.

Официант переигрывал, изображая, как любит детей.

— Ou'elle est mignonne la petite! Elle parle exactement comme une Française⁴.

— Что скажешь насчет сладкого? Или подождем, там видно будет?

Официант скрылся. Онория с надеждой взглянула на отца.

— Что мы сегодня будем делать?

— Первым делом идем на улицу Сент-Оноре в магазин игрушек, и ты выбираешь, что твоей душе угодно. Потом едем в театр «Ампир» на утренник.

Она помялась.

— Утренник — это хорошо, а в игрушечный лучше не надо.

— Почему?

— Ты уже мне привез куклу. — Кукла была при ней. — И потом, у меня и так много всего. Мы ведь теперь не богатые, правда?

— И не были никогда. Но сегодня тебе будет все, что пожелаешь.

— Ладно, — покорно согласилась она.

Когда рядом были мать и няня-француженка, он считал нужным держаться строго, теперь он ломал все, чем отгораживался от нее раньше, учился быть терпимым — она должна была найти в нем и отца, и мать, должна знать, что он не останется глух ни к одному ее зову.

— Я хочу познакомиться с тобой поближе, — серьезно сказал он. — Во-первых, разрешите представиться. Я — Чарлз Джей Уэйлс, живу в Праге.

— Ой, папа! — У нее голос сорвался от смеха.

— А вас как зовут, позвольте узнать? — не отступался он, и она мгновенно включилась в игру.

— Онория Уэйлс, живу в Париже, улица Палатин.

— Одна или с мужем?

¹ Шпинат (фр.).

² Цветная капуста (фр.).

³ Стручковая фасоль (фр.).

⁴ Что за милая девчушка! И говорит совсем как француженка (фр.).

— Одна. Я не замужем.

Он указал на куклу.

— Но я вижу, у вас ребенок, мадам.

Отречься от куклы было выше сил, Онория прижала ее к груди и быстро нашлась:

— Верно, я была замужем, а теперь — нет. У меня муж умер.

Чарли поспешно задал новый вопрос:

— И как же зовут вашу дочку?

— Симона. В честь моей школьной подружки, самой лучшей.

— Я так доволен, что у тебя успехи в школе.

— На третьем месте в этом месяце, — похвалилась она. — Элси всего на восемнадцатом, по-моему... — Элси была ее двоюродная сестра. — А Ричард и вовсе в хвосте.

— Нравятся они тебе, Ричард и Элси?

— Да, вполне. Ричард очень нравится, и она тоже ничего.

Он спросил осторожно, как бы между прочим:

— А тетя Мэрион и дядя Линкольн — из них кто больше?

— Наверно, дядя Линкольн все-таки.

С каждой минутой он все острее ощущал ее присутствие. Когда они входили, вслед им шелестело «...пре-лесть», и сейчас молчание за соседним столиком посвящено было ей, ее разглядывали открыто, словно цветок, который не способен чувствовать, что им любуются.

— Почему я живу не с тобой? — внезапно спросила она. — Потому что мама умерла?

— Тебе полезно здесь пожить, подучишь французский как следует. Папе трудно было бы так хорошо за тобой смотреть.

— За мной больше не нужно особенно смотреть. Я все умею сама.

Он выходили из ресторана, как вдруг его окликнули двое, мужчина и женщина.

— Ба, Уэйлс собственной персоной!

— Лорейн, сколько лет... Здравствуй, Дунк.

Нежданные тени из прошлого — Дункан Шеффер, приятель и однокашник по колледжу, Лорейн Куорлз, хорошенькая пепельная блондинка лет тридцати, из той компании, с чьей помощью в то бесшабашное времечко три года назад месяцы пролетели, как короткие дни.

— Муж в этом году приехать не мог, — ответила она на его вопрос. — Вконец обнищали. Положил мне двести

в месяц и пожелал истратить их наихудшим образом... Девочка ваша?

— Может быть, вернешься, посидим? — спросил Дункан.

— Рад бы, да не могу. — Хорошо, что было чем отговориться. Как всегда, он не остался равнодушен к дразнящему, влекущему обаянию Лорейн, однако ритм его жизни был теперь иной.

— Тогда пообедаем вместе? — спросила она.

— Если бы я был свободен. Вы мне оставьте ваш адрес, и я вам позвоню.

— Чарли, у меня подозрение, что вы трезвый, — осуждающе сказала она. — Дунк, я, кроме шуток, подозреваю, что он трезв. Ущипните-ка его, и мы проверим.

Чарли показал глазами на Онорию. Они прыснули.

— Ты-то где живешь? — недоверчиво спросил Дункан.

Чарли помедлил, называть гостиницу не было никакой охоты.

— Еще не знаю толком. Лучше все-таки я вам позволю. Мы идем на утренник в театр «Ампи́р».

— Вот! Как раз то, что мне надо, — сказала Лорейн. — Желаю смотреть клоунов, акробатов, жонглеров. Дунк, решено, чем заняться.

— У нас еще до этого есть дела, — сказал Чарли. — Там, вероятно, увидимся.

— Ладно уж, сноб несчастный... До свидания, красивая девочка.

— До свидания.

Онория сделала вежливый книксен.

Как-то некстати эта встреча. Он им нравится, потому что он занят делом, твердо стоит на ногах — он сейчас сильнее, чем они, оттого они льнут к нему, ища опору в его силе.

В театре Онория гордо отказалась сидеть на сложном отцовском пальто. Она была уже личность, с собственными понятиями и правилами, и Чарли все сильнее проникался желанием вложить в нее немножко себя, пока она не определилась окончательно. Тщетно было пытаться узнать ее близко за такой короткий срок.

После первого отделения, в фойе, где играла музыка, они столкнулись с Дунканом и Лорейн.

— Не выпьешь с нами?

— Давайте, только не у стойки. Сядем за столик.

— Ну, образцовый родитель.

Слушая рассеянно, что говорит Лорейн, Чарли смотрел, как глаза Онории покинули их столик, и с нежностью

и печалью старался угадать, что-то они видят. Он перехватил ее взгляд, и она улыбнулась.

— Вкусный был лимонад,— сказала она.

Что это она такое сказала? Что он рассчитывал услышать? В такси, на обратном пути, он притянул ее к себе, и ее голова легла ему на грудь.

— Дочка, ты маму вспоминаешь когда-нибудь?

— Иногда вспоминаю,— рассеянно отозвалась она.

— Мне хочется, чтобы ты ее не забывала. Есть у тебя ее карточка?

— Есть, по-моему. У тети Мэрион наверняка есть. А почему ты хочешь, чтобы я ее не забывала?

— Она тебя очень любила.

— И я ее.

Они на минуту примолкли.

— Пап, я хочу уехать и жить с тобой,— сказала она вдруг.

У него забилося сердце, он мечтал, чтобы это случилось в точности так.

— Тебе разве худо живется?

— Нет, просто я тебя люблю больше всех. И ты меня больше, да? Раз мамы нету...

— Еще бы. Только тебе-то, милая, я не всегда буду нравиться больше всех. Вот вырастешь большая, встретишь какого-нибудь сверстника, выйдешь замуж и думать забудешь, что у тебя есть папа.

— Да, это правда,— безмятежно согласилась она.

Он не стал входить с нею в дом. В девять ему предстояло быть тут снова, хотелось вот таким, обновленным, нетронутым, сохранить себя для того, что он должен сказать.

— Прибежишь домой, выгляни на минутку в окно.

— Ладно. До свидания, папа, папочка мой.

Он постоял на неосвещенной улице, пока она не показалась в окошке наверху, разгоряченная, розовая, и не послала ему в темноту воздушный поцелуй.

III

Его ждали. Мэрион, внушительная в вечернем черном платье— не совсем траур, но все-таки,— сидела за кофейным столиком. Линкольн возбужденно расхаживал по комнате— явно только что кончил говорить и еще не остыл. Очевидно было, что им, как и ему, не терпится перейти к делу. Он начал почти сразу:

— Вам известно, я полагаю, для чего я пришел — с чем, собственно, и ехал в Париж.

Мэрион, хмуря лоб, перебирала черные звездочки ожерелья.

— Я ужасно хочу, чтобы у меня был свой дом, — продолжал он. — И ужасно хочу, чтобы в этом доме была Онория. Спасибо вам, что из любви к матери вы приютили девочку, но теперь обстоятельства изменились... — Он запнулся и тотчас повторил, тверже: — Обстоятельства у меня изменились решительным образом, и я вас прошу пересмотреть положение вещей. Я не спорю, и глупо было бы, — года три назад я действительно вел себя скверно...

Мэрион подняла на него тяжелый взгляд.

— ...однако все это позади. Я говорил уже, что год с лишним я вообще не пью, только один раз в день, да и то нарочно, чтобы у меня в сознании не слишком разрасталась мысль о выпивке. Ясно ли, в чем тут суть?

— Нет, — отрубила Мэрион.

— Самоотренировка, что ли. Слежу, чтобы вопрос не становился проблемой.

— Что ж, ясно, — сказал Линкольн. — Доказываешь себе, что незапретный плод теряет сладость.

— Примерно так. Бывает, что и забуду, не выпью. Хотя стараюсь не забывать. Но вообще-то при такой работе, как у меня, пьянство так или иначе исключается. На службе довольны тем, что мне удалось проделать, больше чем довольны, так что вот, вызвал к себе из Берлингтона сестру вести хозяйство и просто мечтаю, чтобы Онория тоже жила у меня. Вспомните, даже когда у нас с ее матерью не клеилось, никогда мы не допускали, чтобы это хоть как-нибудь задело Онорию. Она ко мне привязана, я знаю, заботиться о ней я способен, это я тоже знаю, и... короче, вот так. Дальше ваше слово.

Теперь ему, конечно, зададут жару. Расправа затянется на час, а то и на два, и стерпеть будет нелегко, но, если прикриться ответное раздражение постным смирением кающегося грешника, можно в конечном счете добиться своего.

Держи себя в руках, говорил он себе. Тебе не оправдание нужно. Тебе нужна Онория.

Первым заговорил Линкольн:

— После того, как от тебя в том месяце пришло письмо, мы не раз это обсуждали. Нам-то ничуть не в тягость, что Онория у нас. Она милое существо, и мы

только рады сделать для нее что можем, но не в том, естественно, вопрос...

Его внезапно перебила Мэрион:

— На сколько хватит твоей решимости не пить, Чарли?

— Думаю, на всю жизнь.

— Где доказательство, что это не слова?

— Ты сама знаешь, я никогда не пьянствовал, пока не забросил работу и не приехал сюда, на заведомое безделье. А тут еще нас с Элен угораздило связаться с...

— Будь добр, оставь в покое Элен. Не могу слышать, когда ты позволяешь себе так говорить о ней.

Он угрюмо посмотрел на нее, — при жизни Элен у него не было уверенности, что сестры обожают друг друга.

— Всерьез я пил только года полтора, с того времени, как мы сюда приехали, и до того, как я... ну, в общем, сорвался.

— Срок немалый.

— Срок немалый, это ты верно.

— Я считаюсь единственно со своим долгом перед Элен, — сказала она. — Стараюсь исходить из того, что пожелала бы она. Ты же, честно говоря, с той ночи, когда так гнусно обошелся с нею, перестал для меня существовать. И тут уж ничего не поделаешь. Она мне сестра.

— Да-да.

— Перед смертью она меня просила, чтобы я не оставила Онорию. Возможно, если б ты в ту пору не изволил пребывать на излечении, было бы проще.

На это ответить было нечего.

— В жизни не забуду то утро, когда Элен постучалась ко мне и сказала, что ты запер дверь и не пускаешь ее в дом, — до нитки мокрая, иззябшая.

Чарли вцепился пальцами в край стула. Он предвидел, что будет нелегко, но так... Хотелось возразить, объяснить, но он сказал только:

— В то утро, когда я запер дверь... — И она оборвала его:

— Я сейчас не в состоянии в это вдаваться.

Все смолкли на минуту, потом Линкольн сказал:

— Мы что-то уклоняемся. Ты, значит, хочешь, чтобы Мэрион официально сложила с себя опеку и отдала Онорию тебе. Для нее, как я понимаю, самое главное — можно ли на тебя положиться или нет.

— Я не осуждаю Мэрион, — с расстановкой сказал Чарли, — и все же думаю, что положиться на меня можно

смело. До того, что началось три года назад, меня не в чем было упрекнуть. Конечно, трудно поручиться, что я ни разу не оступлюсь,— чего не бывает. Но если ждать, откладывать, тогда еще немного — и ее детство для меня потеряно, а с ним — надежда создать себе дом.— Он покачал головой.— Да я попросту потеряю ее, как вы не понимаете.

— Нет, я понимаю,— сказал Линкольн.

— Что же ты об этом раньше не задумался? — спросила Мэрион.

— Пожалуй, что и задумывался, но начались нелады с Элен... На опекунство дал согласие, когда сидел в лечебнице, а верней, лежал на обеих лопатках, если учесть, что крах на бирже пустил меня по миру. Я сознавал, что вел себя из рук вон, думал, соглашусь на что угодно, если Элен так будет спокойней. Теперь другое дело. Я работаю, черт возьми, веду примерный образ жизни во всем, что...

— Не ругайся при мне, будь любезен,— сказала Мэрион.

Он взглянул на нее оторопело. С каждым словом все сильней выпирала наружу ее неприязнь к нему. Весь свой страх перед жизнью она вложила в некий оборонительный заслон и выставляла его ему навстречу. Как знать, может быть, за обедом провинилась кухарка — и готов повод для мелочной придирки. В нем нарастала тревога, было страшно оставлять Онорию в этой враждебной ему обстановке; сегодня это будет слово, завтра неодобрительное покачивание головой — и рано или поздно что-то неизбежно прорвется, заронит в детскую душу недоверие, которое не вытравишь после. Но Чарли согнал досаду с лица, запрятал ее глубже, — он все-таки выиграл очко: Линкольн в ответ на вздорный окрик жены вскользь осведомился, с каких это пор ее коробит от слова «черт».

— И еще одно,— сказал Чарли.— Я теперь могу для нее кое-что сделать. Собираюсь взять с собой в Прагу французскую гувернантку. Уже снял новую квартиру... — Он не договорил, сообразив, что дал маху. Едва ли разумно напоминать, что он опять вдвое их богаче.

— Да, ты, конечно же, в состоянии окружить ее роскошью, какая нам не по средствам,— сказала Мэрион.— Было время, ты сорил деньгами направо и налево, а у нас каждые десять франков были на счету... И, конечно же, ты все начнешь сначала...

— Э, нет,— сказал он.— Теперь я стал умней. Я десять лет работал не покладая рук, ты же знаешь,— а потом повезло на бирже, и многим, не одному мне. Неслыханно повезло. Казалось, работать нет смысла, я и бросил.

На этот раз молчание было долгим. Чувствовалось, что у всех сдают нервы, и впервые за год Чарли потянуло выпить. Он уже был уверен, что Линкольн Питерс за то, чтобы отдать ему дочь.

Мэрион вдруг передернулась. Краем сознания она как будто и понимала, что у Чарли теперь под ногами надежная почва, материнским чутьем не могла не ощутить, как естественно то, чего он хочет, однако странное нежелание верить, что сестра счастлива замужем, уже давно вселило в нее стойкое предубеждение— предубеждение, которое за одну жуткую ночь обратилось в ее потрясенной душе в ненависть. У нее в ту пору подошла такая минута, когда под бременем расстроенного здоровья и незавидных житейских обстоятельств ей необходимо стало найти себе вполне определенное злодейство и определенного злодея,— и тогда-то разыгрались все события.

— Я не могу приказать себе думать так, а не иначе! — выкрикнула она.— А насколько ты повинен в смерти Элен— больше, меньше,— этого я не знаю. Это уж ты выясняй наедине со своей совестью.

Боль пронзила его электрическим током, еще секунда— и он вскочил бы на ноги, нерожденный звук рвался из гортани. Он сумел удержаться на волоске, и секунда прошла— одна, другая.

— Полегче, не надо так,— с неловкостью сказал Линкольн.— Я, например, никогда не считал, что тут есть твоя вина.

— Элен умерла оттого, что у нее было что-то с сердцем,— глухо сказал Чарли.

— Вот именно— что-то с сердцем,— сказала Мэрион, как бы вкладывая свой смысл в эти слова.

Но ее запал уже иссяк, и, отрезвленная, она увидела Чарли таким, каков он есть, увидела, что он, неведомо как, сделался хозяином положения. Взглянув на мужа, она поняла, что от него поддержки ждать нечего, и разом, словно речь шла о чем-то несущественном, перестала сопротивляться.

— Ах, да поступай как знаешь! — вскочив со стула, воскликнула она.— Твоя дочь, в конце концов. Я не тот человек, чтобы становиться тебе поперек дороги. Хотя, будь это моя девочка, я скорей бы, кажется, похо...— Она

успела совладать с собой.— Решайте сами. Я не могу больше. Я совсем разбита. Пойду лягу.

Она быстрыми шагами вышла, и Линкольн сказал, не сразу:

— У нее сегодня тяжелый день. Ты знаешь, как она остро воспринимает...— Голос у него звучал почти что виновато.— Уж если женщина что-то вбила себе в голову...

— Это конечно.

— Все образуется. По-моему, она уже видит, что ты способен... м-м... позаботиться о ребенке, а раз так, зачем нам становиться поперек дороги тебе или Онории.

— Спасибо тебе, Линкольн.

— Пойду, пожалуй, посмотрю, как она там.

— Да-да, ухажу.

Его еще била дрожь, когда он вышел из дому, но достаточно было пройтись по улице Бонапарта пешком до quai¹, как она унялась, и по пути на ту сторону Сены, нетронутой, обновленной в свете прибрежных фонарей, его настигло ликование. Однако после, в гостинице, сон не шел к нему. Образ Элен маячил перед ним неотступно. Как он любил ее, пока они вдвоем не принялись безрассудно топтать ногами свою любовь, не надругались над нею. В ту февральскую жуткую ночь, которая так врезалась в память Мэрион, между ними час за часом лениво тянулась перебранка. Во «Флориде» разразилась сцена, потом он попробовал увезти ее домой, потом где-то за столиком она поцеловалась с этим мальчишкой Уэббом,— а потом были слова, которые она наговорила ему, уже не помня себя. Домой он приехал один и со зла, плохо соображая, что делает, повернул ключ в двери. Откуда ему было знать, что через час она вернется без провожатых, и поднимется снежный буран, и она в легких туфельках побредет сквозь снег, точно в дурмане, не сообразив даже поискать такси? И какой ужас был после, когда она чудом не получила воспаление легких. Они, что называется, заключили мир, но все равно это было начало конца, и Мэрион, став очевидицей злодейства и поверив, что этот случай— один из многих в жизни мученицы-сестры, так и не простила ему.

Блуждая в прошлом, он приблизился к Элен и сам не заметил, как в белесом свете, который мягко крадется

¹ Набережной (фр.).

в полусон на исходе ночи, разговорился с нею, как встарь. Она говорила ему, что он совершенно правильно все решил насчет Онории и она хочет, чтобы Онория была у него. Говорила, как ее радует, что он хорошо живет, а работает и того лучше. Она еще много чего говорила — очень сердечно, — только все время раскачивалась, как на качелях, в своем белом платье, быстрее, быстрее, так что под конец уже трудно было расслышать, что она говорит.

IV

Он проснулся от счастья. Мир снова распахнул перед ним двери. Он строил планы, рисовал себе картины их с Онорией будущего и загрустил неожиданно, когда вспомнил, какие планы они строили вместе с Элен. Она не собиралась умирать. Настоящее, вот что имело цену, — работа, которую делаешь, кто-то рядом, кого любишь. Только нельзя позволять себе любить чрезмерно он знал, как может отец напортить дочери или мать сыну, приучив к чрезмерно тесным узам, — после, оторвавшись от дома, дети будут искать у спутника жизни ту же нерассуждающую нежность, и, быть может, не найдя ее, ожесточатся и на любовь, и на саму жизнь.

День выдался опять погожий, бодрый. Чарли позвонил Линкольну Питерсу на службу в банк и спросил, твердо ли он может рассчитывать, что в Прагу едет с Онорией. Линкольн тоже считал, что откладывать нет оснований. Но с одной оговоркой — насчет формальностей. Мэрион хочет еще на некоторое время остаться опекуном. Ее основательно взбудоражило это событие, и, чтобы все сошло гладко, лучше, если она будет знать, что еще год последнее слово остается за ней. Чарли согласился, лишь бы сама девочка была с ним рядом.

Пора было решать с гувернанткой. В унылом бюро по найму Чарли сидел и беседовал сперва с какой-то ведьмой из Беарна, потом — с деревенской пышкой из Бретани; ни ту, ни другую он не вытерпел бы и дня. Были еще какие-то, но тех он отложил на потом.

Обедая с Линкольном Питерсом у Гриффонса, Чарли старался, чтобы его ликование не слишком бросалось в глаза.

— Родной ребенок, — с этим, конечно, ничто не сравнится, — говорил Линкольн. — Но и Мэрион тоже надо понять.

— Она забыла, сколько я работал в Америке, целых семь лет,— сказал Чарли.— Запомнила одну ночь, и кончено.

— Видишь ли, тут еще что,— Линкольн замялся.— Пока вы с Элен раскатывали по Европе, сорили деньгами, мы сводили концы с концами, не более того. Пресловутое процветание не коснулось меня никак,—я туго продвигался по службе, и у меня тогда ничего не было за душой, разве что страховка. Думаю, Мэрион усматривала в этом своего рода несправедливость — что ты, палец о палец не ударяя, становишься все богаче...

— Быстро текло в руки, быстро и утекало,— сказал Чарли.

— Верно, и оседало в чужих карманах: chasseurs, саксофонисты, метрдотели — ну, да что там, карнавал окончен. Это я так сказал, чтобы стало ясно, с чем связаны для Мэрион те сумасшедшие годы. Ты заходи-ка сегодня часиков в шесть, когда Мэрион еще не слишком устанет, и мы сразу же обсудим все подробности.

В гостинице Чарли обнаружил, что его дожидается *pneumatique*¹ — письмо переслали сюда из бара «Рица», где Чарли оставил свой адрес на случай, если объявится нужный ему человек.

«Милый Чарли!

Вы вчера так странно держались при встрече с нами, что я подумала, уж не обидела ли Вас чем-нибудь. Если да, значит, сама того не ведая. Наоборот, я что-то подозрительно часто о Вас думала этот год, и, когда ехала сюда, в глубине души все надеялась, что вдруг Вас встречу. Признайтесь, разве не весело нам было вместе в ту сумасшедшую весну — помните, как мы ночью стащили у мясника трехколесный велосипед с тележкой, а в другой раз порывались нанести визит президенту и у Вас был на голове старый котелок без тульи, а в руках — трость из проволоки. Все в последнее время сделались какие-то старые, а я ничутью себя не чувствую старой. Хотите, встретимся сегодня, помянем былое? Сейчас у меня с похмелья раскалывается голова, но к вечеру станет лучше, и часом в пять я Вас жду в баре «Рица», на обычном рабочем месте.

Неизменно Ваши
Лореин».

¹ Письмо, доставленное по пневматической почте (фр.).

Его в первый миг охватило чувство, похожее на священный ужас: чтобы он, взрослый человек, и впрямь стянул чужой велосипед и с глубокой ночи до рассвета колесил вокруг площади Звезды, катая Лорейн... Сегодня это походило на страшный сон. Запереть дверь и не впустить в дом Элен — такое ни с чем не вязалось в его жизни, ни с одним поступком, но случай с велосипедом — вязался, он был действительно один из многих. Сколько же дней, сколько месяцев надо было вести этот самый рассеянный образ жизни, чтобы дойти до подобного состояния, когда все на свете трын-трава?

Он силился восстановить в памяти, какой ему представлялась Лорейн в те дни — она очень ему нравилась; Элен молчала, но он знал, что ее это мучит. Вчера в ресторане Лорейн ему показалась поблекшей, увядшей, несвежей. Меньше всего ему хотелось с ней встречаться, хорошо, хоть Аликс не проболтался, в какой он гостинице. Как отрадно вместо того помечтать об Онории, о том, как они будут вдвоем проводить воскресенье, как он будет здороваться с ней по утрам, а вечером ложиться спать с сознанием, что она тут, под одной с ним крышей, дышит тем же воздухом в темноте.

В пять он сел в такси и отправился покупать Питерсам подарки, каждому особый: задорную матерчатую куклу, коробку с солдатиками в одежде римских воинов, цветы для Мэрион и большие полотняные носовые платки для Линкольна.

Видно было, когда он приехал, что Мэрион смирилась с неизбежным. Теперь она его встретила как члена семьи, непутевого, но своего — до сих пор он был посторонним, был опасен. Онории сказали, что она уезжает, и Чарли с удовольствием отметил, что у нее хватило деликатности не слишком показывать, как она счастлива. Она улучила минуту, когда сидела у него на коленях, и только тогда шепнула ему на ухо: «Ура!» — шепнула: «А скоро?» — и, соскользнув с колен, убежала к Ричарду и Элси.

Они с Мэрион остались в комнате одни, и Чарли под влиянием минуты отважился заговорить.

— Болезненная это штука, распри между родными. Как-то не по правилам протекают. Не болячка, не рана — так, трещина на коже, которая никак не затянется из-за того, что не хватает ткани. Хорошо бы, у нас с тобой немного наладились отношения.

— Не всякое легко забывается, — отозвалась она. — Сначала надо, чтобы было доверие. — Он не ответил, и,

помолчав, она спросила:— Ты когда думаешь ее забирать?

— Сразу, как найду гувернантку. Послезавтра, я полагаю.

— Послезавтра — ни в коем случае. Мне еще приводить в порядок ее вещи. В субботу, не раньше.

Он покорился. В комнату вернулся Линкольн, предложил ему выпить.

— Выпью положенное, — сказал Чарли. — Виски с содовой.

Здесь было тепло, люди были у себя дома, люди сошлись к очагу. Дети держались очень уверенно, с достоинством; отец и мать чутко, внимательно наблюдали за ними. У родителей были заботы поважней, чем приход гостя. Что, в самом деле, важнее для Мэрион — вовремя дать ребенку ложку лекарства или выяснять отношения с родственником. Не скучные люди, нет, просто жизнь крепко прижимает, обстоятельства. Чарли подумал, нельзя ли как-нибудь вытащить Линкольна из банка, где он тянет лямку.

Протяжный, залиvistый звонок; через комнату в коридор прошла *bonne à tout faire*¹. Под второй протяжный звонок дверь открылась, трое в гостиной выжидательно подняли головы. Ричард придвинулся на такое место, откуда видно, что происходит в коридоре. Мэрион встала. Прислуга пошла обратно по коридору, за нею по пятам надвигались голоса, они вышли на свет и приняли образ Дункана Шеффера и Лорейн Куорлз.

Им было весело, их разбирал отчаянный смех, они покатывались со смеху. Чарли в первую секунду остолбенел, тупо соображая, как это они ухитрились пронюхать, где живут Питерсы.

— Ая-яй! — Дункан шаловливо погрозил Чарли пальцем. — Ая-яй!

Их скорчило в три погибели от нового приступа смеха. В тревоге и замешательстве Чарли торопливо поздоровался, представил их Линкольну и Мэрион. Мэрион, почти не разжимая губ, кивнула. Она отступила к камину; с ней рядом стояла дочь, и Мэрион одной рукой обняла девочку за плечи.

Закипая от досады, Чарли ждал объяснений. Дункану понадобилось время, чтобы собраться с мыслями.

Прислуга, выполняющая всю домашнюю работу (*фр.*).

— Пришли звать тебя обедать,—сказал он,—ломается, видите ли, играет в прятки—мы с Лорейн требуем, чтобы это прекратилось.

Чарли подступил ближе, незаметно тесня их назад, к коридору.

— Не могу, к сожалению. Скажите, где вас найти, и через полчаса я позвоню.

Это не возымело действия. Лорейн с размаху криво плюхнулась на стул, и в поле ее зрения попал Ричард.

— Боже, чей это такой милый мальчик!—вскричала она.—Поди сюда, милый!

Ричард оглянулся на мать и не тронулся с места. Лорейн демонстративно пожала плечами и снова повернулась к Чарли:

— Идем пообедаем. Пожалуйста. Родные не обидятся. Так редко видимся. Вернее, р-робко.

— Я не могу,—сказал Чарли отрывисто.—Вы обедайте без меня, я позвоню потом.

У нее вдруг сделался неприятный голос:

— Хорошо, мы уйдем. Я только помню случай, когда вы дубасили ко мне в дверь в четыре утра. Вас приняли и дали выпить—так люди поступают с приятелями. Идем, Дунк.

Все еще заторможенные в движениях, с набрякшими и злыми лицами, они нетвердой походкой удалились по коридору.

— Всего хорошего,—сказал Чарли.

— Всего наилучшего!—едко отозвалась Лорейн.

Когда он вернулся в гостиную, Мэрион стояла как вкопанная на том же месте, но теперь подле нее, в полукольце другой ее руки, был и сын. Линкольн все раскачивал на коленях Онорию—туда-сюда, словно маятник.

— Безобразие!—взорвался Чарли.—Нет, каково безобразие!

Никто не ответил. Чарли присел в кресло, взял свой стакан, поставил обратно.

— Два года людей в глаза не видел, и у них хватает наглости...

Он не договорил. Потому что Мэрион стремительно, яростно выдохнула: «А-ах!»—круто, всем телом повернулась и вышла из комнаты.

Линкольн бережно спустил Онорию на пол.

— Садитесь-ка, дети, за стол, суп стынет,—сказал он и, когда они послушно скрылись в столовой, прибавил,

обращаясь к Чарли: — У Мэрион неважно со здоровьем, ей дорого обходятся встряски. Она в буквальном смысле слова не переносит подобного рода публику.

— Я их не звал сюда. Они сами у кого-то выпытали, где ты живешь. И умышленно...

— Очень жаль, одно могу сказать. Во всяком случае, это не упрощает дела. Извини, я сейчас.

Он вышел; Чарли замер в кресле, подобрался. Было слышно, как едят в соседней комнате дети, односложно переговариваются, успев забыть о неурядице между взрослыми. Из другой комнаты слышались невнятные на отдалении обрывки разговора, звякнул телефон, когда с него сняли трубку, и Чарли в смятении отошел в другой конец комнаты, чтобы не получилось, что он подслушивает.

Через минуту вернулся Линкольн.

— Вот что, Чарли. Похоже, обед сегодня отменяется. Мэрион плохо себя чувствует.

— Рассердилась на меня?

— Есть отчасти.— Линкольн говорил резковато.— Не по ее силам...

— Ты что, хочешь сказать, что она передумала насчет Онории?

— Сейчас, по крайней мере, она слышать ничего не хочет. Сам не знаю. Лучше позвони мне завтра в банк.

— Объясни ты ей, пожалуйста, я понятия не имел, что эти люди могут сюда явиться. Я сам возмущен не меньше вашего.

— Сейчас не время ей что-то объяснять.

Чарли встал. Он взял пальто, шляпу, сделал несколько шагов по коридору. Он открыл дверь в столовую и проговорил чужим голосом:

— Дети, до свидания.

Онория вскочила из-за стола, подбежала и крепко обхватила его руками.

— До свидания, доченька,— сказал он машинально и спохватился, стараясь говорить мягче, стараясь еще умиловить неизвестно что.— До свидания, детки.

V

Сгоряча он отправился прямо в бар «Рица», думая застать там Лорейн и Дункана, но их не было, да и все равно, здраво рассуждая, что он мог бы сделать. У Пи-

терсов он даже не пригубил свой стакан и теперь взял себе виски с содовой. Подошел Поль, поздоровался.

— Кругом перемены,—сказал он печально.— У нас вот дела свернулись чуть ли не вдвое против прежнего. И на каждом шагу слышишь, что кто-нибудь, кто возвратился в Штаты, все потерял во время краха — не в первый раз, так во второй. Говорят, ваш друг Джордж Хардт потерял все до последнего. Что же, и вы возвратились в Штаты?

— Нет, я служу в Праге.

— Говорят, вы тоже немало потеряли во время краха.

— Верно говорят.— И угрюмо прибавил:— Но все по-настоящему ценное я потерял во время бума.

— Задешево отдали.

— Вроде того.

Опять, как страшный сон, к нему прихлынули воспоминания тех дней — люди, с которыми они познакомились во время поездок, и другие люди, которые смутно представляли себе, сколько будет дважды два, и не умели толком связать двух слов. Замухрышка, который на пароходе пригласил Элен танцевать, и она пошла, а он в десяти шагах от их столика оскорбил ее; одурманенные винными парами или наркотиками женщины и девушки, которые заливались бессмысленным смехом, когда их выволакивали за дверь...

...Мужчины, которые запирались в доме, а жен оставляли на снегу, потому что снег в двадцать девятом был словно бы и не снег. Хочешь, и будет не снег, стоит только заплатить деньги.

Он подошел к телефону и позвонил Питерсам; трубку взял Линкольн.

— Прости, что звоню, ничего в голову не идет. Ну как Мэрион, говорит что-нибудь определенное?

— Мэрион слегла,—сухо ответил Линкольн.— Я согласен, в этой истории нет твоей прямой вины, но я не могу допустить, чтобы Мэрион из-за нее совсем расхворалась. Видимо, придется нам с этим делом повременить полгодика, нельзя больше доводить ее до такого состояния, я не пойду на это

— Понятно.

— Ты уж не взыщи, Чарли.

Он вернулся за свой столик. Стакан из-под виски стоял пустой, но Чарли качнул головой, когда Аликс взглянул на него вопросительно. Теперь делать нечего — хотя можно послать Онории подарки; да, он ей завтра

пошлет целый ворох подарков. И опять это будут всего-навсего деньги, думал он со злостью, а кому только он не совал деньги...

— Нет, хватит,— сказал он незнакомому официанту.— Сколько с меня?

Он еще вернется когда-нибудь — не заставят же его расплачиваться всю жизнь. Но дочь была нужна ему сейчас, и остальное в сравнении с этим как-то слабо утешало. Это в молодости хорошо думается и мечтается наедине с собою, а молодость прошла. Он точно знал, что никогда Элен не пожелала бы для него такого одиночества.

СЕМЬЯ НА ВЕТРУ

I

Двое мужчин ехали вверх по косогору навстречу кроваво-красному солнцу. С одной стороны тянулся редкий жухлый хлопчатник, с другой — неподвижно млели в знойном воздухе сосны.

— Когда я трезв, — говорил доктор, — то есть когда я абсолютно трезв, я вижу мир совсем не таким, каким видите вы. Я похож в этом на моего знакомого, близорукое на один глаз. Он купил себе специальные очки, надел, и солнце вдруг вытянулось, край тротуара перекошился, он даже чуть не упал. Тогда он взял и выбросил эти очки. И тут же начал видеть нормально. Так и я почти весь день пребываю под градусом и берусь только за то, что могу делать именно в таком состоянии.

— У-гу, — буркнул его брат. Джин.

Доктор и сейчас был в легком подпитии, и Джин никак не мог улучшить момент и сказать то, что не давало ему покоя. Как для многих южан низшего сословия, соблюдение приличий было для него неписанным законом, что, впрочем, характерно для мест, где кипят страсти и легко проливается кровь; и он мог заговорить о другом только после хотя бы коротенького молчания, а доктор ни на секунду не умолкал.

— Я то очень счастлив, — продолжал доктор, — то в полном отчаянии; то смеюсь, то плачу пьяными слезами; я замедляю ход, а жизнь вокруг мчится все быстрее; и чем беднее становится мое «я», тем разнообразнее проносящиеся мимо картины. Я утратил уважение сограждан, что компенсировалось гипертрофией чувств. А поскольку мое участие, мое сострадание больше не имеет объекта, я жалею первое, что попадется на глаза. И я стал очень хорошим человеком, гораздо лучше, чем когда был хорошим врачом.

Дорога после очередного поворота спрямилась, и Джин увидел невдалеке свой дом, вспомнил лицо жены, как она умоляла его; понял, что тянуть дольше нельзя, и прервал брата:

— Форрест, у меня к тебе дело...

В этот миг машина, миновав сосновую рошу, затормозила и остановилась у маленького домика. Девочка лет восьми играла на крыльце с серым котенком.

— Более прелестного ребенка, чем эта девчушка, я в жизни не видел,— сказал доктор и, обращаясь к девочке, заботливо прибавил: — Элен, твоей киске нужно прописать пилюли?

Девочка засмеялась.

— Не знаю,— сказала она неуверенно. Она играла с котенком в другую игру, и доктор ей помешал.

— Твоя киска звонила мне утром, сказала, что ее мама совсем о ней не заботится, и просила прислать из Монтгомери хорошую няню.

— Она не звонила,— возмутилась девочка, схватила котенка и крепко прижала к себе; доктор вынул из кармана пятак и бросил на крыльцо.

— Прописываю твоей киске хорошую порцию молока,— сказал он и нажал на газ.— До свидания, Элен.

— До свидания, доктор.

Машина покатила, и Джин еще раз попытался завладеть вниманием доктора.

— Послушай,— сказал он,— остановись здесь на минуту.

Машина остановилась, братья посмотрели друг на друга.

Обоим за сорок, коренастые, крепкие, с худыми, даже аскетическими лицами— в этом они были схожи; несхожесть заключалась в другом: у доктора сквозь очки глядели опухшие в красных жилках глаза пьяницы, лицо испещряли тонкие городские морщинки. У Джина лицо было прорезано ровными глубокими морщинами, похожими на межи, шесты, подпирающие навес, кровельную балку. Глаза у него были синие, густые. Но больше всего их отличало то, что Джин Джанни был фермер, а доктор Форрест Джанни, без всякого сомнения, человек образованный, городской.

— Ну?— сказал доктор.

— Ты ведь знаешь, Пинки вернулся,— сказал Джин, глядя на дорогу.

— Да, я слышал,— ответил доктор сдержанно.

— Он в Бирмингеме ввязался в драку, и ему прострелили голову.— Джин замаялся.— Мы позвали доктора Берера, потому что думали, вдруг ты не станешь...

— Не стану,— вежливо согласился доктор.

— Но Форрест,— гнул свое Джин.— Ты ведь сам всегда говорил, что доктор Берер ничего не смыслит в медицине. И я так считаю. Он сказал, пуля давит на... на мозги, а он не может ее извлечь, боится, не остановит кровь. И еще сказал, вряд ли мы доведем его до Бирмингема или Монтгомери, так он плох. Мы просим тебя...

— Нет,— доктор покачал головой,— нет.

— Ты только взгляни на него и скажи, что делать,— умолял Джин.— Он без сознания, Форрест. Не узнает тебя. И ты его не узнаешь. Его мать совсем помешалась от горя.

— Его мать во власти животного инстинкта.— Доктор вынул из бокового кармана фляжку с виски пополам с водой и отхлебнул.— Мы оба с тобой хорошо знаем: его следовало утопить в тот самый день, когда он родился.

Джина передернуло.

— Да, человек он скверный,— через силу выдавил он.— Но если бы ты видел, какой он там лежит...

Виски горячо разливалось по телу, и доктора вдруг потянуло действовать, не преодолеть самого себя, а так, сделать жест, гальванизировать дряхлеющую волю.

— Ладно,— сказал он.— Я посмотрю его, но спасать не буду. Такие, как он, недостойны жить. Но даже смерть его не может искупить то, что он сделал с Мэри Деккер.

Джин сжал губы.

— Форрест, а ты в этом уверен?

— Уверен?!— воскликнул доктор.— Конечно, уверен. Она умерла голодной смертью. Дай бог, если она за неделю выпила несколько чашек кофе. Видел бы ты ее туфли: прошла пешком столько миль.

— Доктор Берер говорит...

— Что он может знать? Я делал вскрытие, когда ее нашли на Бирмингемском шоссе. Она была крайне истощена, и больше ничего. Этот... этот...— голос его задрожал и прервался от волнения,— этот ваш Пинки потешился и выгнал ее, и она побрела домой. Я очень рад, что его самого привезли домой полумертвого.

Говоря это, доктор с остервенением нажал на газ, машина рванулась и через минуту уже тормозила у дома Джина.

Это был крепкий дощатый дом на кирпичном фундаменте с ухоженным зеленым газоном, отгороженным от двора, лучше других домов Бендинга и окрестных селений; но быт его хозяев мало чем отличался от быта соседей. Последние дома плантаторов в этой части Алабамы давно исчезли, их горделивые колонны не устояли перед бедностью, дождями, тлением.

Роза, жена Джина, ждавшая их на веранде, встала с качалки.

— Здравствуй, Форрест,— сказала она, нервничая и пряча глаза.— Давно ты у нас не был.

— Здравствуй, Роза,— ответил доктор, поймав на миг ее взгляд.— Привет, Эдит. Привет, Юджин,— обращаясь к малышам, стоявшим позади матери.— Привет, Бэч,— девятнадцатилетнему парню, появившемуся из-за угла дома: он тащил в обнимку большой белый камень.

— Хотим обнести палисадник каменной стенкой. Вид будет поаккуратнее,— объяснил Джин.

Все они еще испытывали почтение к доктору. Они порицали его за глаза, потому что не могли больше хвастаться своим знаменитым родичем: «Да, сэр, один из лучших хирургов в Монтгомери». Но при нем остались ученость и слава первоклассного хирурга, каким он был, покуда не совершил профессионального самоубийства, разочаровавшись в человечестве и пристрастившись к спиртному. Два года назад он вернулся в Бендинг, купил половину пая у владельца местной аптеки; лицензии врача его не лишили, но оперировал он только в случае крайней необходимости.

— Роза,— сказал Джин,— доктор обещал посмотреть Пинки.

Пинки Джанни лежал в затемненной комнате, обросший, с побелевшими искривленными губами. Доктор снял с головы повязку, Пинки задышал со стоном, но его вздутое, безжизненное тело не шевельнулось. Доктор осмотрел рану, опять наложил повязку и вместе с Джином и Розой вернулся на веранду.

— Берер не взялся оперировать?

— Нет.

— Почему не сделали операцию в Бирмингеме?

— Не знаю.

— Гм...— Доктор надел шляпу.— Пулю необходимо извлечь, и как можно скорее. Она давит на сонную артерию. Это... во всяком случае, с таким пульсом везти никуда нельзя.

— Что же делать? — тяжело выдохнул Джин, и несколько секунд все молчали.

— Попросите еще раз Берера. Может, передумает. Или привезите врача из Монтгомери. Шансов мало — но операция может спасти его. Без операции — конец.

— К кому обратиться в Монтгомери?

— Эту операцию может сделать любой хороший хирург. Даже Берер, если бы он не был таким трусом.

Роза Джанни вдруг вплотную подошла к нему, глаза ее горели звериной материнской страстью. Она схватила доктора за лацкан пиджака.

— Ты сделаешь операцию. Ты можешь. Ты был такой хороший хирург. Лучше всех. Прошу тебя, Форрест!

Доктор отступил назад, стряхнул ее руки, а свои вытянул перед собой.

— Видишь, как дрожат? — спросил он, не скрывая иронии. — Смотри хорошенько. Я не рискну оперировать.

— А ты рискни, — поспешил вставить Джин. — Отхлебнешь глоток, и перестанут дрожать.

Доктор покачал головой, глядя на Розу.

— Нет. Мне, как врачу, не доверяют. Что будет не так, обвинят меня. — Доктор немного рисовался и тщательно выбирал слова. — Мое заключение, что Мэри Деккер умерла с голоду — я слышал, — подвергают сомнению. Его ведь дал человек, который пьет.

— Я этого не говорила, — солгала одним духом Роза.

— Конечно, нет. Я упомянул об этом, чтобы вы поняли всю сложность моего положения: я должен быть предельно осторожен. — Он сошел по ступенькам вниз. — Советую вам, поговорите еще раз с Берером. Если он откажется, привезите кого-нибудь из города. До свидания.

С побелевшими от ярости глазами Роза бросилась за ним и догнала у калитки.

— Да, я говорила, что ты пьяница! — кричала она. — По-твоему, Мэри Деккер умерла с голоду и в этом виноват наш Пинки. Да как ты можешь судить? Налъешь глаза-то с самого утра! И что тебе далась Мэри Деккер? Она тебе в дочки годилась. Все видели, как она шастала к тебе в аптеку.

Подоспевший Джин схватил ее за руку.

— Замолчи, Роза. Форрест, уезжай.

Форрест сел в автомобиль и поехал. Миновав поворот, остановился, глотнул из фляжки. За распаханным хлопковым полем виднелся домик, где жила Мэри

Деккер; полгода назад он свернул бы к ней, спросил: почему она не зашла сегодня в аптеку выпить бесплатно стакан содовой, порадовал бы ее флакончиком духов из образцов, оставленных утром коммивояжером. Он никогда не говорил Мэри о своих чувствах и не собирался: ей было семнадцать, ему сорок пять — жизнь его кончена; но полгода назад она убежала в Бирмингем с Пинки, и тогда он понял, как много значила любовь к ней в его одинокой жизни.

Мысли его вернулись в дом брата.

«Будь я джентльменом, — думал он, — я бы не отказался оперировать. И еще один человек погиб бы из-за этого мерзавца. Потому что, если бы он не перенес операции, Роза бы заявила, что я нарочно убил его».

И все-таки, когда он ставил машину в гараж, на душе у него было скверно, не потому что он должен был поступить иначе — просто вся история выглядела очень уж безобразно.

Он не пробыл дома и десяти минут, когда за окном завизжали тормоза и в комнату вошел Бэч. Губы его были плотно сжаты, глаза прищурены, точно он боялся расплескать хоть каплю гнева: пусть весь выльется на того, кому предназначен.

— Привет, Бэч.

— Я хочу тебе сказать, дядя Форрест, чтобы ты не смел так разговаривать с моей матерью. Еще раз услышу — убью.

— Кончай, Бэч, — обрезал его доктор, — и садись.

— Она и так вся извелась из-за Пинки. А тут еще ты.

— Твоя мать сама меня оскорбила, а я смолчал.

— Она не знает, что говорит. Ты должен это понять.

Поколебавшись, доктор спросил:

— А какого ты, Бэч, мнения о Пинки?

— Не очень-то хорошего. — Но, спохватившись, опять стал задираться: — Не забывай, Пинки мой брат!

— Подожди, Бэч. Что ты думаешь о нем и Мэри Деккер?

Но Бэч уже закусил удила.

— Ты что мне зубы заговариваешь? Запомни, кто обидит мою мать, будет иметь дело со мной. А еще ученый. Разве справедливо...

— Я сам выучился, Бэч.

— А мне плевать! Мы поедем к Береру, потом в Монп-гомери. Но если нигде не выйдет, я приеду за тобой, и ты вытащишь эту проклятую пулю, или я тебя пристрелю.

Он перевел дыхание, кивнул, вышел из дому и уехал.

«Сдается мне,—сказал сам себе доктор,—кончилась моя спокойная жизнь в округе Чилтон». Он крикнул слугу-негра и велел подавать ужин. Потом взял сигарету и вышел на заднее крыльцо.

Погода переменилась. Небо нахмурилось, травы тревожно зашелестели, пролился мгновенный дождь. Минуту назад было жарко, а теперь лоб покрывала холодная испарина, он вытер ее платком. В ушах зашумело, он сглотнул, тряхнул головой. На секунду ему показалось, что он заболел, но шум вдруг отделился от него, стал расти — все ближе, громче, как будто прямо на него несли поезд.

II

Бэч Джанни проехал полпути до дому и вдруг увидел — огромная черная туча медленно заходила с юга, волоча по земле лохматый край. Она росла на глазах и скоро заполнила всю южную половину неба; ее нутро прорезали белые электрические вспышки, слышался нарастающий гул. Задул сильный ветер, мимо понеслись сложенные сучья, какие-то обломки, щепки, довольно крупные предметы, которые нельзя было распознать в сгущающейся тьме. Повинуясь инстинкту, Бэч выскочил из машины, ветер валил с ног, он бросился к высокому откосу, вернее, почувствовал, как его подхватило, швырнуло и распяло на этом откосе. Вокруг бушевал ад — он был в самом его центре.

Сначала был Звук — Бэч слился с ним: Звук поглотил его, растворил в себе; это был не аккорд, а чистейшего тона Звук, сыгранный скрежещущим смычком на струнах вселенной. Звук и Сила были неотделимы друг от друга. Звук и Сила вместе пригвоздили его к откосу. В первый момент, когда лицо было повернуто в сторону, он увидел, как его автомобиль подскочил, встал поперек шоссе, съехал с обочины и запрыгал по полю, как огромная беспомощная лягушка. Звук внезапно взорвался, пушечный гул рассыпался пулеметной дробью. Теряя сознание, он ощутил себя дробинкой этого звука, успел почувствовать, как его подняло в воздух и понесло сквозь слепящее, раздирающее кожу сплетение сучьев и веток — и все, больше он ничего не помнил.

Очнулся он от боли во всем теле, — лежит в развилке между ветвями большой сосны; кругом ничего не

слышно, а вместо воздуха дождь с пылью. Бэч не скоро сообразил, что застрял в кроне вывернутой с корнем сосны, и его неожиданное колючее ложе висит всего в пяти футах над землей.

— Ух, ну и ветер! — крикнул он громко, обиженно.

Боль и страх совсем привели его в чувство, и он понял, что с ним случилось: он стоял на корнях сосны, которую вырвало ураганом, и мощный толчок катапультировал его. Бэч ощупал себя: левое ухо набито землей, точно кто хотел снять с него отпечаток. Одежда превратилась в лохмотья, пиджак на спине лопнул по шву и, когда новый порыв ветра пытался раздеть его, врезался ему под мышки.

Бэч спрыгнул на землю и побрел в сторону своего дома. Он ничего не узнавал кругом. Эта штука — Бэч не знал, что это торнадо, — оставила после себя пустую полосу шириной в четверть мили; пыль медленно оседала; открывались окрестности, которых Бэч никогда не видел. Заблудился он, что ли? Почему видна колокольня бендингской церкви? Раньше ее заслонял сосновый бор.

Где же это он? Тут рядом должен быть дом Болдуинов, но, только перелезая через завалы бревен — точно попав на плохо содержавшийся склад леса, — Бэч понял, что никакого дома Болдуинов больше нет; дико озираясь по сторонам, он видел, что нет и дома Некроунов на холме, нет дома Пелтцеров. Ни огня кругом, ни голоса — только шум дождя, падающего на поваленные деревья.

Бэч побежал. Увидев отцовский дом, радостно закричал: «Эй!» Но, приблизившись, заметил, что и тут все изменилось. Исчезли амбары, пристройка, где была комната Пинки.

— Мама! — закричал Бэч. — Отец!

Никто не ответил. Со двора выбежала собака и стала лизать его руку.

...Тьма была кромешная, когда двадцать минут спустя доктор Джанни остановил автомобиль перед своей аптекой в Бендинге. Электричество не горело, но по улице сновали люди с фонарями, и скоро вокруг автомобиля собралась небольшая толпа. Он поспешно отпер аптеку.

— Пойдите кто-нибудь, взломайте дверь в больницу Уиггинса. — Доктор указал рукой на противоположную сторону улицы. — У меня в машине шестеро тяжелораненых. Нужно несколько мужчин — перенести их в больницу. Доктор Берер здесь?

— Здесь,— живо отозвались из темноты голоса; к автомобилю с саквояжем в руке подошел доктор Берер. Два врача стояли в свете фонарей лицом к лицу, позабыв о взаимной неприязни.

— Один бог знает, сколько их еще окажется,— сказал доктор Джанни.— Я сейчас возьму у себя перевязочный материал, йод и другие лекарства. Переломов будет много...— И попросил, повысив голос: — Кто-нибудь принесите мне ведро для медикаментов.

— Пойду начинать,— сказал доктор Берер.— В больницу еще с десятков приковыляло.

— Какие приняты меры?— спросил доктор Джанни тех, кто вошел с ним в аптеку.— С Бирмингемом и Монтгомери связались?

— Телефонные провода сорваны—отправили телеграммы.

— Хорошо. Поезжайте кто-нибудь за доктором Козном в Уэтталлу и скажите всем, у кого есть машины, пусть едут по Уиллардскому шоссе до конца, а оттуда проселком на Корсику. На перекрестке у лавки для негров не осталось ни одного дома. Я обогнал множество людей, все покалеченные, но у меня в машине больше не было места.— Разговаривая, он бросал на одеяло бинты, карболку, лекарства.— Я думал, у меня всего этого гораздо больше. Постойте!— закричал он.— Пусть кто-нибудь съедет в лошину, где живут Вулли. Ехать надо прямо по полю, дорогу завалило. Эй вы, в фуражке, кажется, Эд Дженкс?

— Да, док.

— Видите, что у меня здесь. Забирайте с полок остальное и тащите через дорогу. Ясно?

— Да, док.

Когда док вышел на улицу, пострадавшие уже текли в город непрерывным потоком: женщина пешком с тяжело раненным ребенком на руках; телега, полная завывающих негров, возбужденные мужчины, невольно сеющие панику своими рассказами; неразбериха, шум, беспорядок все усиливались во тьме ночи, слабо освещенной фонарями. Из Бирмингема прикатил на мотоцикле облепленный грязью репортер,— колеса приминали упавшие провода и сломанные сучья; прогудела сирена полицейской машины из Купера, городка в тридцати милях от Бендинга.

Уже целая толпа напирала на двери старенькой больницы, стоявшей три месяца на замке из-за отсутствия

пациентов. Доктор протиснулся сквозь толчею белеющих лиц и водворился в ближайшей палате, благодаря судьбу за пустующий ряд старых железных коек. Доктор Берер уже оказывал помощь в перевязочной через коридор.

— Достаньте мне полдюжины фонарей,— потребовал доктор Джанни.

— Доктор Берер просит йоду и пластырь.

— Возьмите. А ты, Шинки, стань у дверей, пускай только с носилками. И сбегайте кто-нибудь в лавку, может, там есть свечи.

Улица за окном галдела: кричали женщины, добровольцы пытались расчистить дорогу, давая противоречивые указания—нервное, напряженное многоголосье людей, поднявшихся на борьбу со стихией. К полуночи прибыли бригады Красного Креста. Но пятеро врачей в больнице—троих привезли еще в самом начале из ближних деревень—давно потеряли представление о времени. Стали подвозить первых погибших: двадцать, двадцать пять, тридцать, сорок—счет быстро рос. Не нуждаясь больше ни в чем, они терпеливо ждали—как и подбавляет простым землепашцам—в гараже за больницей; а раненые—их уже перевалило за сотню—все прибывали в больницу, рассчитанную на два десятка больных. Ураган постарался на совесть: ковыляли со сломанными ногами, ребрами, ключицами; у многих глубокие ссадины на спине, локтях, разодранные ушные раковины, веки, носы; ушибы от упавших балок, самые странные занозы в самых странных местах, один мужчина с содранным скальпом: жди теперь, когда вырастут волосы. Доктор знал в лицо всех, живых и мертвых, почти всех помнил и по имени.

— Волноваться больше нечего. Билли жив. Лежите смирно, дайте мне наложить повязку. Раненых с каждой минутой все больше, но такая темень, что их и не сразу найдешь. Все будет в порядке, миссис Оуки, это пустяки. Ив сейчас смажет йодом, и все пройдет... Ну, а тут у нас что?

Два часа ночи. Старый доктор из Уэталлы не держится на ногах, его сменяет свеженький врач—из Монтгомери прибыло подкрепление. Тяжелый от йодоформа воздух наполнен непрерывным гомоном, обрывки фраз смутно доходят до сознания доктора, просачиваясь сквозь новые и новые слои усталости.

— . так и катит на меня, так и катит Ухватился было за куст, а его вырвало.

— *Джеф! Где Джеф?*

— ...держу пари, эта свинья пролетела по воздуху тридцать ярдов.

— ...в самое время остановил поезд. Пассажиры все выскочили, расчистили путь.

— *Где Джеф?*

— ...Он говорит: спрячемся в погреб. А я ему — нет у нас никакого погреба.

— Нет носилок, так возьмите двери, которые полегче.

— ...Пять секунд? Пять минут — больше похоже.

В какой-то момент он услышал, что Джина и Розу видели вместе с двумя младшими. Он проезжал мимо их дома, дом был цел, и он не остановился. Семье Джанни повезло: дом самого доктора остался в стороне от пути урагана.

Только когда на улице вдруг зажегся электрический свет и доктор увидел перед фургоном Красного Креста очередь за горячим кофе, он почувствовал, как устал.

— Идите отдохните, — сказал ему молодой врач. — Я сменю вас, со мной две медсестры.

— Ладно, только вот этот ряд dokonчу.

Раненых, которым была оказана первая помощь, отправляли поездом в соседние городки, их место занимали новые. В ряду оставалось всего две койки: на первой лежал Пинки.

Он послушал стетоскопом сердце. Оно слабо билось. Каких только не бывает чудес — с таким ранением, без пяти минут покойник и остался жив. Как он оказался здесь, кто нашел его, доставил, все было необъяснимо. Доктор осмотрел тело: несколько ушибов, царапин, два сломанных пальца, набитые землей уши — это было почти у всех — и никаких других повреждений. Какой-то миг он колебался: зажмурил глаза, но даже образ Мэри Деккер как будто потускнел, ускользая из памяти. Им владело профессиональное чувство, не имеющее ничего общего с личными пристрастиями, — он был бессилен бороться с ним. Вытянул перед собой руки, они слегка дрожали.

— Проклятие, — буркнул он.

Вышел из палаты, уединился в угол прихожей и, вынув из кармана свою фляжку, допил остатки виски. Вернувшись в палату, продезинфицировал два инструмента, провел обезболивание небольшого участка с входным отверстием, успевшим уже затянуться. Подозвал сестру и со скальпелем в руке опустился на одно колено возле койки, на которой лежал его племянник.

Два дня спустя доктор медленно ехал в своем автомобиле по скорбно притихшей земле. После той первой безумной ночи он больше не оперировал в больнице, чувствуя, что он, аптекарь, будет вызывать недоумение у коллег. И он помогал Красному Кресту, вывозил пострадавших из района бедствия в соседние городки; работы было и здесь хоть отбавляй.

Путь дьявола был хорошо виден. Он двигался в своих семимильных сапогах не прямо, метался по полям, напропалую шагал через лес, иногда, сменив гнев на милость, выходил на дорогу и мчался по ней до первого поворота, а там опять пускался во все тяжкие. Кое-где его путь отмечало поле хлопчатника по виду в полном цвету, на самом же деле усеянное клочьями ваты из сотен одеял и матрасов, возвращенной сюда ураганом.

У груды бревен, которые были недавно негритянским домишком, доктор на минуту остановился послушать разговор двух репортеров с двумя оробевшими негритянами. Старая бабка с перевязанной головой сидела в качалке посреди развалин, что-то жевала беззубым ртом и без остановки качалась.

— Через какую же реку вас перенесло ураганом? — спросил один репортер.

— Через эту.

— Эту?!

Малыши поглядели на бабушку, ища подмоги.

— Эту самую, за вашей спиной, — сказала старуха.

Газетчики с презрением взглянули на грязный ручей шириной в четыре ярда.

— И эта река?!

— Река Менада. Она называлась так, еще когда я девчонкой была. Да, сэр, река Менада. Этих мальчишек перенесло через нее и опустило на том берегу, и у них даже синяков нет. А на меня вот упала печь, — закончила старуха и пощупала голову.

— Только и всего? — возмутился репортер помоложе. — Перенесло через эту речонку! А сто двадцать миллионов людей, введенных в заблуждение, считают..

— Да, да, ребята, — вмешался доктор Джанни. — Для наших мест это настоящая, очень хорошая река. А мальчишки вырастут, и она станет шире.

Он бросил старухе монету и поехал дальше.

Проезжая мимо деревенской церкви, он остановился и посчитал свежие бурые холмики, пятнавшие зеленое кладбище. Он приближался к эпицентру бедствия. Здесь стоял дом Хауденов, где погибло трое; на его месте осталась груда обломков, длинная печная труба и уцелевшее по иронии судьбы пугало на огороде. Через дорогу среди руин важно расхаживал по крышке пианино горластый петух, карауля свое имущество: чемоданы, сапоги, консервные банки, книги, календари, циновки, стулья, оконные рамы, помятый репродуктор, безногую швейную машину. И всюду одеяла, матрасы, подушки, покоренные пружины,— он никогда раньше не задумывался, как много времени человек проводит в постели. Там и здесь на лугу опять пасутся коровы, лошади, многие в рыжих пятнах йода. На некотором расстоянии друг от друга разбиты палатки Красного Креста. Возле одной доктор заметил Элен Кирлайн, сидит со своим серым котенком в руках. Знакомая картина — груда бревен, точно постройка из кубиков, разрушенная закапризничавшим ребенком,— поведала доктору о происшедшей здесь трагедии. Сердце у него сжалось.

— Здравствуй, малышка,— сказал доктор ласково.— Понравился твоей киске торнадо?

— Нет, не понравился.

— Что она делала?

— Мяукала.

— А-а.

— Она хотела убежать, а я как навалюсь на нее. Она даже меня поцарапала.

Доктор взглянул на палатку Красного Креста.

— Кто сейчас за тобой смотрит?

— Женщина из Красного Креста и миссис Уэллс,— ответила девочка.— Папу моего ранило. Он заслонил меня своим телом, а я котенка. Папу увезли в Бирмингем, в больницу. Он скоро вернется и построит нам новый дом.

Жалость захлестнула доктора. Он знал, отец Элен не построит больше ни одного дома. Этим утром он умер. Девочка осталась одна и не ведала этого. Над ней, вокруг нее простиралась вселенная, черная, холодная, равнодушная. Она подняла милое доброе личико и доверчиво поглядела на доктора.

— У тебя есть еще какая-нибудь родня? — спросил он.

— Не знаю.

— Зато у тебя есть киска.

— Но ведь это всего-навсего котенок,— возразила девочка и, устыдившись собственного предательства, покрепче прижала к себе свое сокровище.

— Трудно, наверное, растить котенка?

— Очень легко,— поспешила ответить девочка.— С ним никаких хлопот. Он совсем мало ест.

Доктор сунул руку в карман, но, передумав, сказал:

— Знаешь, малышка, я на обратном пути заеду сюда, и мы с тобой все обсудим. Смотри ухаживай за киской получше.

— Ладно,— беспечно ответила девочка.

Доктор поехал дальше. Следующий раз он остановился у дома, не тронутого ураганом. Его хозяин Уолт Каппс чистил на крыльце ружье.

— Что делаешь, Уолт? Готовишь оружие для другого торнадо?

— Другого не будет.

— Ну, не скажи. Видишь, как небо темнеет.

Уолт шлепнул ладонью по ружью и засмеялся.

— Не раньше чем через сотню лет. Это я для мародеров. Их тут немало кругом рыскает. И не только черные. Будете в городе, скажите, чтобы прислали полицию.

— Скажу. Вы, я вижу, не пострадали.

— Слава богу. Шестеро нас, и все целы. Одну курицу унесло. Должно, до сих пор где-нибудь крутит.

Доктор повернул в город. Какое-то гнетущее чувство давило его. «Это погода,— подумал он.— Воздух такой же тяжелый, как было в субботу».

Вот уже месяц доктор чувствовал неодолимое желание покинуть эти места навсегда. Еще недавно этот сельский край манил покоем. Когда импульс, оторвавший его от засыхающего корня, исчерпал себя, он вернулся сюда отдыхать, любоваться цветущей землей, жить в ладу с собой и соседями. Покой! Он был уверен: ссора с родными не забудется; как раньше, теперь уж не будет, осадок горечи не пройдет. И на его глазах мирная земля обратилась в землю скорби. Покоя здесь нет. Прочь отсюда!

По дороге он нагнал Бэча Джанни, шагавшего в город.

— Я шел к тебе,— сказал Бэч, насупившись.— Ты все-таки сделал операцию Пинки?

— Садись. Да, сделал. Ты откуда знаешь?

— Доктор Берер сказал.

Бэч метнул на доктора быстрый взгляд, в котором явно сквозило недоверие.

— Нам сказали, он не протянет до вечера.

— Мне жаль твою мать.

Бэч недобро засмеялся:

— Как же, жаль!

— Я сказал: мне жаль твою мать,—резко повторил доктор.

— Слышал.

Минуто ехали молча.

— Автомобиль свой нашел?

— Нашел,—Бэч горько усмехнулся,—только автомобилем его больше не назовешь. А ведь я мог за двадцать пять центов застраховать его от торнадо,—голос Бэча дрожал от негодования,—и не застраховал. Всего двадцать пять центов. Но какой дурак страховался тогда от торнадо.

Быстро темнело, на юге погромыхивало.

— Надеюсь,—сказал Бэч, сощурившись,—ты перед операцией ничего не пил?

— Послушай, Бэч,—медленно произнес доктор,—ведь правда было очень гнусно с моей стороны накликать торнадо?

Он понимал, что ирония сказанного вряд ли дойдет до Бэча; но все-таки, ожидая ответа, взглянул на племянника. Лицо у того побелело, рот раскрылся, выпученные глаза устремились вдаль; из груди его вырвался хрип. Как-то сразу обмякнув, он бессильно махнул рукой, и доктор увидел: впереди, меньше чем в миле, огромная черная туча застилала небо; она двигалась прямо на них, клубясь и завихряясь, а перед ней уже несли плотный гудящий ветер.

— Возвращается! — заорал доктор.

Ярдах в пятидесяти через речушку Билби-крик был перекинут старый железный мост. Доктор нажал на акселератор и помчался к нему. По полю в том же направлении бежали люди. У моста доктор выскочил из машины и потащил за руку Бэча.

— Скорее, идиот! Выходи!

Бэч кулем вывалился из машины. Еще миг — и они под мостом, скорчились вместе с горсткой полумертвых от страха людей в тесном треугольном пространстве между насыпью и настилом.

— Сюда идет?

— Нет, повернул.

— А у нас дома дедушка!

— О господи! Помогите и спасите меня!

— Боже, спаси мою душу!

Наверху пронзительно засвистел ветер, швырнул под мост тонкие, секущие жгутики — доктора забила дрожь. Тут же их точно окунуло в вакуум, ветер стих, и полило как из ведра. Доктор подполз к краю моста и осторожно высунул голову.

— Прошел мимо,— сказал он.— Задел нас краем. Центр пронесся намного правее.

Доктор хорошо видел, как шел ураган, на какой-то миг даже различал летящие в нем предметы, кусты, деревца, доски, комья земли. Он высунулся еще немного, вынул часы, хотел засечь время, но циферблат скрыло пеленой дождя. Промокнув до нитки, доктор уполз обратно. Бэч забился как можно глубже под мост и дрожал; доктор встряхнул его.

— Ураган идет к вашему дому. Слышишь? Кто там остался?

— Никого. Они все сейчас у Пинки.

Дождь сменился градом. Сначала мелкие льдинки, потом крупнее и, наконец, величиной с орех оглушающе забарабанили по железному мосту.

Те несчастные, что уцелели под мостом, постепенно приходили в себя; радость избавления выливалась в истерический смех. Существует предел напряжения, после которого нервы сдают и человек ведет себя вопреки приличиям и здравому смыслу. Даже доктор не выдержал.

— Это черт знает что,— сухо проговорил он.— Это не стихийное бедствие, это просто подлость.

IV

В ту весну торнадо больше не появлялся в Алабаме. Второй ураган (все были уверены, что это вернулся первый: для жителей округа Чилтон он был живой, реальной силой, сродни языческим богам) разрушил дюжину домов, в том числе и дом Джина Джанни, и покалечил три десятка людей. Но жертв во второй заход не было, все как-то сумели попрятаться. Прогулявшись по главной улице Бендинга, ураган на прощание повалил все телеграфные столбы и разбил фасады двух магазинов и аптеки доктора Джанни.

К концу недели появились первые сколоченные из старых досок жилища. К концу длинного щедрого али-

бамского лета на всех могилах зазеленеет трава. Но люди еще многие годы, говоря о каком-нибудь событии, будут снабжать его пометой «до торнадо» или «после торнадо», и для многих семей жизнь так и не вернется в прежнюю колею.

Доктор Джанни понял: пора покидагь эти места — теперь или никогда. Он продал аптеку: все, что в ту ночь уцелело от торнадо и приступа филантропии. Отдал свой дом брату Джину, пока тот не выстроит себе новый. Решил ехать поездом, на автомобиле дай бог добраться до станции, так крепко он саданулся о дерево.

По пути он несколько раз останавливался попрощаться с соседями. Задержался и у развалин дома Уолтера Каппса.

— Значит, и вам досталось,— сказал он, глядя на сиротливо торчащий сарай — все, что осталось от усадьбы Уолтера.

— И довольно сильно,— ответил Уолтер.— Но, с другой стороны, нас ведь шестеро, все тогда были кто в доме, кто на дворе — и все живы. Так что я не ропщу.

— Да, счастливо отделались,— согласился доктор.— Вы не слыхали случайно, куда Красный Крест отправил Элен Кирлайн, в Монтгомери или в Бирмингем?

— В Монтгомери. Я как раз там был, когда она пришла со своим котенком, и видел, как она просила людей перевязать ему лапу. Столько миль прошла под дождем и градом, а скотинку свою не бросила. Мордочка у нее была такая решительная, я даже рассмеялся, хотя самому ох как несладко было.

Доктор помолчал.

— Вы случайно не помните, есть у нее еще родные? — опять спросил он.

— Не знаю,— ответил Уолтер.— Кажется, нет.

Последний раз доктор остановился там, где был когда-то дом его брата. Вся семья, даже младшие, усердно работали, расчищая развалины. Бэч соорудил навес, куда складывали уцелевшее имущество. Кроме навеса, одно радовало глаз: начатая стенка из круглых белых камней.

Доктор достал из кармана сто долларов в купюрах и протянул Джину.

— Когда-нибудь вернешь, но, пожалуйста, из кожи не лезь,— сказал он.— Это из денег, полученных за аптеку.— И добавил, прекращая поток благодарности: — За книгами я пришлю, ты их, пожалуйста, упакуй получше.

— Будешь опять лечить, Форрест?

— Попытаюсь.

Братья на секунду продлили рукопожатие. Подошли прощаться двое младших. Роза стояла в стороне в стареньком синем платье, на черное — траур по старшему сыну — не было денег.

— До свидания, Роза, — сказал доктор.

— До свидания, — откликнулась она и прибавила потухшим голосом: — Счастливо тебе, Форрест.

Ему вдруг захотелось сказать что-то в утешение, но он понимал — слова бессильны. Перед ним было живое воплощение материнской любви — той же силы, что гнала Элен сквозь ураган, чтобы спасти котенка.

На станции он купил билет до Монтгомери в один конец. Поселок выглядел скучно под серым небом запоздалой весны, и, пока поезд набирал скорость, доктор с удивлением вспоминал, что полгода назад это место казалось ему лучшим на земле. Он был один в вагоне для белых; очень скоро рука его потянулась к фляжке, и он достал ее. «В конце концов, мужчина, который заново начинает жить в сорок пять лет, имеет право на допинг». Но вспомнилась Элен: «Родных у нее нет. Значит, теперь эта девчушка моя».

Он похлопал ладонью флягу, как бы с удивлением взглянул на нее.

— Ну что ж, подружка, придется нам на время расстаться. Котенку, которого так лелеют и любят, понадобится много молока.

Он уселся поудобнее и стал глядеть в окно. Ему вспоминался ураган, ветры опять обдували его — сквозняки, гуляющие в коридоре, ветры земли, циклоны, ураганы, торнадо, черные смерчи, предсказанные и внезапные; одни дующие с небес, другие из адского жерла.

Он больше не даст им в обиду Элен, если, конечно, сможет.

Он задремал, но тут же проснулся; неотвязное воспоминание разбудило его: «Папа заслонил меня, а я котенка».

— Все в порядке, Элен, — сказал он вслух; такая уж у него была привычка — говорить с собой. — Думаю, что старый бриг еще будет какое-то время бороздить моря при любом ветре.

СУМАСШЕДШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

I

Воскресенье. Не день, а лишь узкий просвет между двумя обычными днями. Позади съемочные площадки и дубли, долгое ожидание под микрофонным журавлем, сотни миль за день во все концы Калифорнии на автомобилях, состязания в изобретательности и остроумии в студийных кабинетах, уступки и компромиссы, атаки и отступления, — тяжкая битва множества человеческих личностей, битва не на жизнь, а на смерть. Но вот воскресенье, и снова вступает в свои права личная жизнь, и загораются блеском глаза, еще накануне подернутые тусклой пеленой монотонности. Томительно тянутся последние часы будней, и медленно, будто заводные куклы в игрушечной лавке, оживают люди: в углу о чем-то увлеченно сговариваются, влюбленные ускользают в коридор целоваться, и у всех одно ощущение: «Скорей, скорей. Еще не поздно, но, ради бога, торопитесь, ведь не успеешь оглянуться, и они кончатся, эти благословенные сорок часов отдыха!»

Джозл Коулз писал сценарии. Ему было двадцать восемь лет, и Голливуд еще не сломил его. Все эти полгода, с тех пор как он сюда приехал, он получал удачные по здешним понятиям заказы и с увлечением разрабатывал эпизоды и сочинял диалоги. Он скромно именовал себя поденщиком, хотя на самом деле думал иначе. Мать Джозла была известной актрисой, и все его детство прошло между Лондоном и Нью-Йорком в попытках понять, где подлинная жизнь, а где игра, или хотя бы не слишком в этом путаться. Он был красивый, с темными карими глазами — те же глаза смотрели в 1913 году на бродвейскую публику с лица его матери.

Получив утром приглашение, Джозл окончательно убедился, что кое-чего уже достиг. Обычно по воскресеньям

он никуда не ходил, не пил и брал работу домой. Недавно ему дали пьесу Юджина О'Нила — фильм ставился для очень знаменитой актрисы. Все, что он делал до сих пор, нравилось Майлзу Кэлмену, а Майлз Кэлмен был единственный режиссер на студии, у которого никто не стоял над душой, он отчитывался непосредственно перед теми, кто финансировал фильм. В карьере Джоэла все шло как надо. («Говорит секретарь мистера Кэлмена. Он приглашает нас в воскресенье на чашку чая, от четырех до шести... Беверли-Хиллз, дом номер...»)

Джоэл был польщен. Изысканный светский прием. Его признали многообещающим молодым человеком. Дом, где бывают большие люди, приятели Мэрион Дэвис; быть может, придут даже Дитрих, Гарбо и Маркиза, а их встретить не так-то просто.

«Пить не буду», — заверил себя Джоэл. Кэлмен не терпит пьяниц, о чем заявляет во всеуслышание, сожалея, что кинопромышленность не может без них обойтись.

Кэлмен прав: сценаристы пьют слишком много. Вот и он сам... Но сегодня — ни капли. Хорошо бы, Майлз оказался где-нибудь рядом, когда подадут коктейли, и слышал его скромное и краткое: «Спасибо, не пью».

Дом Майлза Кэлмена был создан для высоких прозрений — казалось, он сосредоточенно внимает, словно тишина его анфилад прятала невидимых слушателей, но в этот день здесь было полно народу, будто гостей не пригласили, а пригнали сюда целой толпой. И, кроме него, всего два сценариста, с гордостью отметил Джоэл: титулованный англичанин и, как ни странно, Нат Кьюо, хотя именно он и послужил поводом для раздраженного замечания Кэлмена о пьяницах.

Стелла Кэлмен (она же знаменитая Стелла Уокер), поздоровавшись с Джоэлом, не отошла к другим гостям. Она медлила — она была так очаровательна, что это требовало признания, и Джоэл положился на свой актерский дар, унаследованный от матери.

— Вам же шестнадцать лет, не больше! Где ваш педальный автомобильчик?

Ей это явно понравилось — она все медлила. Джоэл почувствовал, что должен сказать еще что-то, дружески и просто — он познакомился со Стеллой в Нью-Йорке несколько лет назад, когда она билась за самые маленькие роли. Тут появился поднос с коктейлями, и Стелла протянула ему бокал.

— Все боятся, верно? — сказал он, рассеянно взглянув на бокал. — Все следят друг за другом, не совершит ли кто-нибудь промах, или прикидывают, с тем ли человеком говорят, будет ли от этого польза... К вашему дому это, конечно, не относится, — спохватился он. — Я говорю вообще о Голливуде.

Стелла согласилась. Она представила Джоэлу нескольких гостей, словно он был важной персоной. Убедившись, что Майлз далеко, Джоэл выпил коктейль.

— Значит, у вас уже малыш, — сказал он. — Тогда берегитесь. Хорошенькая женщина после первого ребенка оказывается в очень уязвимом положении. Ей надо увериться, что она все так же пленительна. И только преданное поклонение какого-нибудь нового мужчины может доказать ей, что ничего не изменилось.

— Мне еще никто никогда преданно не поклонялся, — не без сожаления сказала Стелла.

— Просто все боятся вашего мужа.

— Вы так считаете? — Наморщив лоб, она задумалась над его словами, но тут их прервали — в самый подходящий момент, решил Джоэл.

Благосклонность Стеллы вселила в него уверенность. Нет, не его удел пристраиваться к тихим группкам или искать приют под крылышком знакомых.

Он подошел к окну и стал смотреть на Тихий океан, белесый в ленивых лучах заката. Хорошо здесь — американская Ривьера и все такое прочее, жаль только, некогда всем этим наслаждаться. Красивые, элегантные люди вокруг, прелестные девушки и... прелестные девушки. Нельзя же иметь все на свете!

Юное мальчишеское лицо Стеллы мелькало среди гостей, одно веко было устало припущено, и Джоэлу захотелось сесть с ней рядом и завести долгий душевный разговор, просто так, забыв о ее громком имени. Он следил за ней, проверяя, уделит ли она кому-нибудь столько же внимания, как ему. И выпил второй коктейль, но не потому, что хотел придать себе уверенности, а потому, что после разговора со Стеллой уверенности у него было хоть отбавляй. Он подсел к матери хозяина дома.

— Ваш сын, миссис Кэлмен, стал живой легендой. Непогрешимый оракул, избранник судьбы! Лично я бунтую, но я в меньшинстве. А что думаете вы? Вы удивлены? Вас поражает, сколь многого он достиг?

— Ничуть, — спокойно ответила она. — Мы всегда возлагали на Майлза большие надежды.

— А знаете, это необычно,— заметил Джозл.— Мне казалось, что все матери похожи на мать Наполеона. Моя, например, не хотела, чтобы я имел хоть какое-то отношение к зрелищам. Она хотела, чтобы я поступил в Вест-Пойнт, вот надежное поприще.

— Мы всегда верили в Майлза...

В столовой, у стенного бара, он поболтал с добродушным, вечно пьяным и высоко оплачиваемым Натом Кьюу.

— За год я заработал сто тысяч и сорок проиграл, так что пришлось мне взять управляющего.

— Вы имеете в виду — агента? — подсказал Джозл.

— Да нет, агент у меня тоже есть. Управляющего. Я все отдаю жене, а она совещается с ним, и они выдают мне деньги на расходы. Я плачу ему пять тысяч в год, чтобы он выдавал мне мои же деньги.

— Ваш агент?

— Да нет же, управляющий! И я не один такой — у него большая клиентура среди безответственных людей.

— Но хватило же у вас ответственности нанять управляющего.

— Я безответствен, когда играю. Дело в том...

В гостиной запел певец; Джозл и Нат вместе с другими гостями пошли туда.

II

Пение доносилось словно издалека; Джозл был полон счастья и дружеского расположения ко всем собравшимся здесь людям — таким трудолюбивым и мужественным, не в пример дельцам-буржуа, которые если и опередили их, так только в невежестве и разврате, — людям, добившимся самого высокого положения в стране, вот уже целое десятилетие жаждавшей лишь одного — развлечения. Они ему нравились, он их любил. Теплые волны доброжелательства накатывали на него одна за другой.

Певец умолк, гости начали подходить к хозяйке прощаться, и вдруг Джозла осенило. Сейчас он им представит «Заварим погуще» — свой коронный номер, который уже имел успех на нескольких вечерах и, наверно, поправится Стелле Уокер. Он бросился к ней, и кровь застучала у него в висках: сейчас он покажет всем, на что он способен!

— Ну конечно! Непременно! — воскликнула она. — Вам что-нибудь понадобится?

— Кто-то должен сыграть секретаршу — я ей диктую.

— Я сыграю!

Гости, уже надевавшие пальто в передней, потянулись обратно, на Джоэла со всех сторон воззрились чужие люди. Ему стало не по себе: он вдруг сообразил, что певец был знаменитостью, радиозвезда. Но кто-то сказал: «Ш-ш!», и они со Стеллой очутились в центре зловещего полукруга, как на индейском празднестве. Стелла выжидательно улыбнулась, и он начал...

Сценка строилась на пробелах в образовании мистера Дэйва Силверстина, независимого продюсера; Джоэл изображал, как тот диктует указания сценаристу, в каком духе следует обработать роман, который он купил для экранизации.

— ...подкинем туда развод, молодую пару и чуток подперчим,— слышал он свой голос, подражающий интонациям Силверстина.— Ну, к примеру, он после развода да в Африку, в Иностраннный легион. Заварим погуще, ясно?

Тут его кольнуло сомнение. Мягко освещенные лица вокруг смотрели на него внимательно и не без любопытства, но ни тени улыбки, ни у кого. Холодными рыбьими глазами уставился на Джоэла Великий Любовник экрана, который стоял прямо напротив. И только Стелла Уокер глядела на него все с той же сияющей улыбкой.

— ...того, что постарше, дать под Менжу, только чтоб антураж, как в Гонолулу, и таким манером получаем Майкла Арлена...

Первые ряды неподвижны, но сзади шорох и заметное движение влево, к двери.

— ...Тут она ему — у меня, мол, к тебе сексапил. А он как вскинется — катись, говорит, отсюда подальше.

Один раз он услышал, как фыркнул Нат Кьюу, на двух-трех лицах мелькнула улыбка, но когда он кончил, то с ужасающей ясностью понял, что выставил себя дураком перед столпами мира кино, от которых зависит его карьера.

Еще мгновение мучительной, неловкой тишины, затем гости направились к дверям. Он уловил насмешку в поднявшемся шуме голосов, потом — все это за какие-то десять секунд! — Первый Любовник, с пустыми, стеклянными глазами, громко сказал: «Мура», выразив, как показалось Джоэлу, общее настроение. Это было презрение профессионалов к любителю, сплоченной общины к чужаку, безжалостный приговор клана.

Только Стелла Уокер все еще стояла рядом и благодарила его так горячо, будто он всех привел в восторг, будто она и не заметила, что скетч никому не понравился. Нат Кьюу помог ему надеть пальто, и тут Джозла захлестнула волна отвращения к себе, и он едва не нарушил свое правило таить обиды про себя, пока они не утихнут.

— Провалился,—весело сказал он Стелле.—Ну и пусть. Отличный номер, когда хорошо принимают. Спасибо вам за помощь.

Она по-прежнему улыбалась,—он склонился в пьяном поклоне, и Нат потянул его к двери...

Подаанный завтрак вернул Джозла из тумана снов в расколотый вдребезги мир. Вчера еще он был самим собой, ярким факелом, готовым озарить киномир, а сегодня погребен под катастрофической неудачей — он один против этих холодных физиономий, против презрения каждого и глумления всех! Хуже того, для Майлза Кэлмена он стал теперь одним из тех жалких пьяниц, работать с которыми для режиссера тяжкий крест. А Стелли Уокер, которая принесла себя в жертву гостеприимству,—о ней он даже боялся думать. Аппетит у него пропал совершенно, он поставил яичницу на телефонный столик и написал:

«Дорогой Майлз! Вы, конечно, понимаете, как я сам себе противен. Каюсь, иной раз на меня находят приступы эксгибиционизма, но в гостях, среди бела дня! О, боже! Припошу глубочайшие извинения вашей супруге.

Всегда ваш *Джозл Коулз*».

В студии Джозл отсиживался в своем кабинетике и вышел только для того, чтобы прокрасться в табачную лавку, словно какой-то воришка. Поведение его было столь подозрительным, что дежурный охранник потребовал у него пропуск. Пообедать он решил в городе, но тут его перехватил Нат Кьюу, беспечный и веселый.

— Да никак вы обрекли себя на вечное заточение? Ну, ошибает вас этот пиджон, так что? Хотите, расскажу вам одну историю? — продолжал он, увлекая Джозла в студийный ресторан. — Как-то на премьере у Граумена этот тип раскланивался перед зрителями, а Джо Сквайерс дал ему коленкой под зад. Тогда этот индюк заявил, что потребует объяснения. Назавтра в восемь утра Джо ему позвонил. Кажется, говорит, вы хотели со мной объясниться. Только ответа Джо не дождался — тот сразу положил трубку.

Эта нелепица подбодрила Джоэла, и он стал разглядывать компанию за соседним столиком, находя в этом мрачное утешение: грустные и милые снамские близнецы, злобные карлики и гордый великан — актеры, занятые в фильме о цирке. Однако, взглянув на другой столик — на хорошеньких женщин, чьи лица сейчас желтели гримом, густо подведенные глаза были печальны, а бальные платья выглядели при свете дня дешевой мишурой, — он поежился: они были вчера у Кэлмена

— Нет, конечно! — воскликнул он. — Никаких светских приемов отныне и во веки веков.

На следующий день в студии его ждала телеграмма.

«Вы были одним из самых приятных наших гостей. Жду вас к ужину в следующее воскресенье у моей сестры Джун.

Стелла Уокер Кэлмен».

Кровь бешено застучала у него в висках, он перечитал телеграмму.

«Господи! До чего же это мило с ее стороны!»

III

Снова этот сумасшедший день — воскресенье. Джоэл проспал до одиннадцати, потом проглядел газету, чтобы быть в курсе всех новостей за неделю. Позавтракал он у себя: форель, салат из авакадо, пинта калифорнийского вина. Когда пришло время одеваться, он выбрал костюм в клеточку, голубую рубашку и палевый галстук. От усталости под глазами у него темнели круги. Он подъехал к особняку на Ривьере в своей подержанной машине и только успел представиться сестре Стеллы, как явились Стелла с Майлзом в костюмах для верховой езды — несколько часов подряд они жестоко ссорились на всех дорогах за Беверли-Хиллз.

Майлз Кэлмен — высокий, нервный, блистательно остроумный и с такими скорбными глазами, каких Джоэл не видел ни у кого, был художником от макушки своей странновато слепленной головы до тяжелых нескладных ног. На них он стоял твердо: он не снял ни одного пошлого фильма, хотя иной раз ему приходилось дорого расплачиваться за неудавшийся эксперимент — роскошь, которую он мог себе позволить. Он был обаятельным

собеседником, но каждому, кто имел с ним дело, вскоре становилось ясно, что человек он больной.

Едва Кэлмены вошли, как день Джозла нерасторжимо сплелся с их днем. Он направился к собравшемуся возле них кружку, но тут Стелла, раздраженно прищелкнув языком, отошла, а Майлз сказал кому-то рядом:

— Только не упоминайте Еву Гобел, не то дома мне костей не собрать.— Майлз повернулся к Джозлу:— Я, к сожалению, не сумел заглянуть вчера к вам на студию. Полдня провел у своего психиатра.

— Психоанализ?

— Да, и уже давно. Я обратился к нему по поводу клаустрофобии, а теперь пытаюсь распутать всю свою жизнь. Говорят, на это потребуется не меньше года.

— Но в вашей жизни все прекрасно,—уверил его Джозл.

— Вы думаете? А вот Стелла так не считает,—с горечью сказал Майлз.—Спросите кого угодно, вам всякий скажет

Какая-то девица уселась на ручку его кресла, и Джозл подошел к Стелле, которая потерянно стояла у камина.

— Спасибо за телеграмму,—сказал он.—Она была как бальзам. Вы такая красивая и такая добрая! Значит, бывают и добрые красавицы.

Она была даже еще красивей в это воскресенье, и, быть может, искреннее восхищение, которое она прочла в его глазах, побудило ее довериться ему—сразу же, не медля, потому что она была на грани истерики.

— ...целых два года, а я даже не подозревала. Она ведь считалась моей лучшей подругой, постоянно у нас бывала. В конце концов, когда люди открыли мне глаза, Майлз вынужден был признаться.

Она демонстративно уселась на ручку его кресла. Есбриджи были того же цвета, что и кресло, а в пышных волосах смешивались рыже-золотые и бледно-золотые пряди—покрасить так невозможно,—подумал Джозл. И никакой косметики на лице. Настоящая красавица...

Стелла все никак не могла прийти в себя от обрушившегося на нее открытия, а тут еще к Майлзу льнула новая девица, и это было невыносимо. Она увела Джозла в спальню, где они, усевшись на разных концах широкой кровати, продолжали разговор. Гости по пути в ванную заглядывали к ним и отпускали шуточки, но Стелла, изливая душу, не обращала на них внимания. Немного погодя в дверь просунул голову Майлз.

— Бесплезно пытаться объяснить Джоэлу за полчаса то, чего я сам не понимаю, а доктор сказал, чтобы понять все это, нужно не меньше года.

Стелла продолжала говорить, будто Майлза тут и не было. Она любит Майлза, сказала она, несмотря ни на что, она всегда была ему верна.

— Психоаналитик сказал Майлзу, что у него материнский комплекс. Сначала Майлз перенес его на свою первую жену, и тогда его сексуальные порывы обратились на меня. Но когда он женился на мне, все повторилось: материнский комплекс он перенес на меня, а либидо — на эту женщину.

Джоэл понимал, что, возможно, это вовсе не такой уж бред, и тем не менее... Он был знаком с Евой Гобел — настоящий материнский тип: она и старше и мудрее Стеллы, прелестного балованного ребенка.

Майлз сердито предложил, чтобы Джоэл поехал к ним, раз уж Стелле надо так много ему рассказать, и они поехали в особняк на Беверли-Хиллз. Там, под высокими потолками, вся история предстала более трагической и благородной. Вечер был светлый и жутковатый, за окнами висел прозрачный сумрак, и золотисто-розовой тенью, с рыданиями, металась по комнате Стелла. Джоэл не очень верил в горе киноактрис. Им предназначено другое: красивые золотисто-розовые статуэтки, на какие-то часы они оживают по воле сценаристов и режиссеров, а после съемок шепчутся, и хихикают, и сплетничают обо всем на свете.

Он то слушал Стеллу, то притворялся, будто слушает, а сам любовался, как она одета: бриджи в обтяжку четко обрисовывают линии стройных ног, пастельных тонов итальянский свитер с высоким воротом, коричневая замшевая курточка. Он никак не мог решить, она ли подделка под английскую леди или английские леди — подделка под нее. Она балансировала на самой грани доподлинной подлинности и наглого лицедейства.

— Майлз так меня ревнует, что следит за каждым моим шагом! — с презрением бросила она. — Я написала ему из Нью-Йорка, что ходила в театр с Эдди Бейкером, и он с ума сошел от ревности, звонил мне десять раз на дню.

— Я совсем обезумел. — Майлз засопел, как всегда в минуты волнения. — Психиатр тогда целую неделю бился со мной, и все впустую.

Стелла в отчаянии покачала головой.

— А ты ждал, что я три недели буду безвыходно сидеть в номере?

— Ничего я не ждал. Ну да, я ревнив. Я стараюсь не ревновать. Доктор Бриджбейн проводил со мной специальные сеансы, но ничего не вышло. Сегодня я ревновал тебя к Джоэлу, когда ты села на ручку его кресла.

— Ты ревновал?! — вспыхнула Стелла. — Ревновал! А у тебя на ручке кресла никто не сидел? И ты сказал мне за два часа хоть одно слово?

— Но ты была в спальне с Джоэлом. Жаловалась ему.

— Как только я вспомню, что эта женщина... — Стелле, как видно, казалось, что, не произнося имени Евы Гобел, она тем самым вычеркивает ее из реальной жизни, — все время здесь бывала!

— Ну хорошо, хорошо, — устало сказал Майлз. — Я ведь во всем признался, и мне не легче, чем тебе. — Он повернулся к Джоэлу и стал говорить о фильмах, а Стелла, сунув руки в карманы бриджей, беспокойно расхаживала взад и вперед в дальнем конце гостиной.

— Они обошлись с Майлзом возмутительно, — неожиданно вмешалась Стелла, как будто и не было никакого разговора о ее собственных проблемах. — Расскажи Джоэлу, как этот Белтцер хочет переkreпить твой фильм.

Глаза Стеллы сверкали негодованием, она склонилась над Майлзом, словно хотела его защитить, — и Джоэл понял, что любит ее. От волнения у него захватило дух, он встал и попрощался.

В понедельник, резким контрастом с воскресными пересудами, сплетнями и семейными драмами, неделя вновь обрела свой рабочий ритм; сценарий без конца резали, переделывали, подгоняли: «К черту этот дурацкий наплыв! Оставим ее голос за кадром и дадим средний план от Белла или общий вид: просто вокзал, а потом камера панорамирует вереницу такси...» К середине дня в понедельник Джоэл уже снова забыл, что людям, составляющим развлечения, позволено развлекаться самим. Кэлменам он позвонил вечером. Он спросил Майлза, но к телефону подошла Стелла.

— Ну, как у вас, полегче?

— Не очень. Что вы делаете в субботу вечером?

— Ничего.

— Перри дают обед, а оттуда поедут в театр. Майлз не будет — улетает в Саут-Бенд, на матч «Нотр-Дам» — «Калифорния». Вы не могли бы составить мне компанию?

Джозл ответил не сразу.

— Ну конечно, с удовольствием. Только если затянут совещание, к обеду я не успею, а в театр приду.

— Тогда я скажу, что мы будем.

Положив трубку, Джозл долго ходил по кабинету. Понравится ли это Майлзу, особенно если иметь в виду, что у них сейчас происходит? Или она не хочет, чтобы Майлз знал? Нет, это невозможно,—если Майлз не заведет разговор о субботе, Джозл сам ему скажет. Однако целый час, если не больше, он не мог приняться за работу.

В среду в конференц-зале четыре часа шло совещание. Трое мужчин и одна женщина по очереди мерили шагами ковер, предлагая или отвергая—резко или деликатно, уверенно или безнадежно, а над их головами плыли спиралями туманности и созвездия табачного дыма. Когда обсуждение кончилось, Джозл подошел к Майлзу.

Вот кто действительно устал—не от споров, а просто от жизни: набрякшие веки, синие тени под скулами, где пробивается щетина.

— Говорят, вы летите на матч?

Майлз посмотрел куда-то мимо и покачал головой.

— Я раздумал.

— Отчего же?

— Из-за вас.—Он по-прежнему не смотрел на Джозла.

— Да господь с вами, Майлз!

— Из-за вас я отказался от поездки.—И он усмехнулся—словно сам над собой.—Попробуй угадай, что натворит Стелла мне назло—она ведь пригласила вас пойти с ней к Перри? Матч не доставит мне никакого удовольствия.

Поразительная интуиция, которая никогда не изменяла ему на съемочной площадке, отказывала в личной жизни, тут он был слаб и беспомощен.

— Послушайте, Майлз,—сказал Джозл, нахмурившись.—У меня и в мыслях ничего нет и не было. Если вы правда хотите отменить поездку из-за меня, я не пойду со Стеллой к Перри и не буду с ней видаться. Можете мне верить.

Только тут Майлз посмотрел на него. Очень внимательно.

— Допустим.—Он пожал плечами.—Не вы, так найдется кто-то другой. Мне будет не до развлечений.

— Вы, видно, не слишком доверяете Стелле? А она сказала мне, что всегда была вам верна.

— Может, и была.— За последние несколько минут складки вокруг рта у Майлза залегли еще глубже.— Но после того, что случилось, разве я смогу что-то от нее требовать? Разве я имею право...— Он умолк, потом заговорил снова, и лицо его стало жестким.— Скажу вам одно. Что я сам натворил—не важно, но если я узнаю что-нибудь про Стеллу, я с ней разведусь. Не могу я поступить своей гордостью, это было бы последней каплей.

Джозла раздражал его тон, но он сказал:

— А как с Евой Гобел? Стелла успокоилась?

— Нет.— Майлз мрачно засопел.— И для меня это тоже не просто.

— Мне казалось, там все кончено...

— Я стараюсь не встречаться с Евой, но, знаете, не так легко порвать сразу—она ведь не девчонка, с которой целуешься в такси. Психиатр говорит...

— Да, да,— перебил Джозл,— Стелла мне рассказывала.— Излияния Майлза наводили тоску.— Так вот, что касается меня, если вы улетите на матч, я со Стеллой не встречу. И уверен, что ее совесть чиста.

— Может быть, может быть,— вяло повторил Майлз...— Тем не менее я остаюсь и иду с ней на обед... А знаете,— вдруг сказал он,— пойдемте и вы с нами! Мне нужно, чтобы рядом был кто-то симпатичный мне, с кем я могу поговорить. В этом ведь и беда: Стелла полностью находится под моим влиянием, и все, кто нравится мне, нравятся и ей тоже. В особенности мужчины. Очень все это сложно.

— Да, должно быть,— согласился Джозл.

IV

На обед Джозл не поспел. Стыдясь своего цилиндра в это безвременье, когда кругом было столько безработных, он ждал Перри и их гостей перед Голливудским театром и разглядывал вечерний парад: бездарные копии блестящих кинозвезд, несостоявшиеся киногерои в спортивных пиджаках, шаркающий дервиш с апостольской бородой и посохом, парочка франтоватых филиппинцев в модных костюмах как напоминание о том, что этот штат открыт всем морям, шумная процессия молодежи в причудливых нарядах—как выяснилось, посвящение в какое-то братство. Шествие распалось, пропуская два роскошных лимузина, которые остановились у тротуара.

Вот она! В платье, сотканном из тысячи бледно-голубых бликов—словно в струе студеной воды, а на шее переливаются сосульки. Он порывисто шагнул к ней.

— Ну как? Нравится вам мое платье?

— Где Майлз?

— Он все-таки улетел на матч. Вчера утром... Во всяком случае, надеюсь...—Она не договорила.—Только что пришла телеграмма из Саут-Бенда, что он вылетает обратно. Ах, да—вы знакомы с моими друзьями?

Вся компания направилась в театр.

Значит, Майлз все-таки улетел. Джоэл терзался сомнениями, правильно ли он сделал, что пришел. Но когда начался спектакль, он позабыл о Майлзе—профиль Стеллы и светлая россыпь ее волос были совсем рядом. Один раз он повернулся к ней, и она посмотрела на него, улыбаясь, и не отвела глаза. В антракте они курили в фойе, и она шепнула ему:

— Они все поедут на открытие ночного клуба Джека Джонсона... Мне не хочется, а вам?

— Это обязательно?

— По-моему, нет.—Она замялась.—Мне хотелось бы поговорить с вами. Может быть, поедем к нам? Если бы только я была уверена...

Она снова умолкла, и Джоэл спросил:

— В чем?

— Уверена, что... Ну да, я психопатка, но я вовсе не уверена, что Майлз действительно поехал на матч.

— Вы думаете, он у Евы Гобел?

— Да нет... но что, если он здесь и следит за мной? Знаете, Майлз способен на очень странные поступки. Как-то он пожелал пить чай с каким-нибудь человеком, у которого длинная борода, и потребовал, чтобы бюро по найму актеров прислало ему такого длиннобородого, а потом пил с ним чай до вечера.

— Ну это совсем другое. Он же прислал вам телеграмму из Саут-Бенда. Значит, он на матче.

Выйдя из театра, они попрощались со своими спутниками, что было встречено веселыми взглядами. Машина вырвалась из толпы, собравшейся вокруг Стеллы, и показывалась по залитой золотым светом улице.

— Он ведь мог договориться об этих телеграммах,—сказала Стелла.—Это очень просто.

Что ж, вполне вероятно, и при мысли, что ее тревога не лишена основания, Джоэл рассердился: если Майлз,

так сказать, решил держать их в объективе кинокамеры, то он снимает с себя все обязательства. Вслух он сказал:
— Чепуха.

В витринах магазинов уже сверкали рождественские елочки, и полная луна над бульваром казалась бутафорской, как и огромные фонари на перекрестках. На Беверли-Хиллз темная листва тускло поблескивала, будто эвкалипты под солнцем, но Джозл видел лишь отсвет белого лица совсем рядом и плавный изгиб плеча. Она вдруг отстранилась и посмотрела на него.

— У вас глаза вашей матери,— сказала она.— Когда-то у меня был целый альбом ее снимков.

— А у вас глаза — только ваши, других таких нет,— ответил он.

Когда они входили в дом, Джозл почему-то оглянулся, будто ему почудилось, что Майлз притаился в кустах. На столике в передней лежала телеграмма. Стелла прочла ее вслух:

«Чикаго.

Буду завтра вечером. Думаю о тебе. Люблю.

Майлз»

— Вот видите,— сказала она, бросая телеграмму обратно на столик,— он легко мог это подстроить.

Она распорядилась, чтобы дворецкий принес напитки и сэндвичи, и поднялась наверх, а Джозл прошелся по пустынным гостиным. Вот рояль, возле которого он, опозоренный, стоял в позапрошлом воскресенье.

— Итак, развод,— сказал он громко,— молодая пара, а он после развода да в Африку...

Он вспомнил о другой телеграмме:

«Вы были одним из самых приятных наших гостей...»

А что, если телеграмма Стеллы — обычный жест вежливости,— вдруг подумал он. Скорее всего ее надоумил Майлз, ведь это он пригласил его. Может быть, Майлз сказал: «Пошли ему телеграмму — у него сейчас скверно на душе, ему кажется, что он сделал из себя посмешище».

Похоже на то... «Стелла полностью находится под моим влиянием, и все, кто нравится мне, нравятся и ей тоже, в особенности мужчины». Женщина послала бы телеграмму из сострадания, мужчина счел это своим долгом.

Стелла вошла в гостиную, и он взял ее за руки.

— У меня странное чувство, мне все кажется, что я просто пешка, которой вы сделали ход против Майлза,—сказал он.

— Налейте себе чего-нибудь.

— А самое странное, что я все равно влюблен в вас.

Зазвонил телефон, она отняла руку и взяла трубку.

— Еще одна телеграмма от Майлза,—объявила она.— Он отправил ее — во всяком случае, так там сказано — с самолета, из Канзас-Сити.

— И, наверное, просит передать поклон мне?

— Нет, он только пишет, что любит меня. И я верю, что любит. Он такой слабый.

— Сядьте рядом со мной,—попросил Джоэл.

Время было не позднее. И полчаса спустя, когда Джоэл встал и подошел к холодному камину, до полуночи оставалось еще несколько минут.

— Значит, я вам совсем не интересен?

— Почему же? Вы мне очень нравитесь, и вы это знаете. Но только, кажется, я действительно люблю Майлза.

— Вне всякого сомнения.

— И я почему-то очень нервничаю сегодня.

Он не сердился — скорее, почувствовал облегчение; случись иначе, все слишком бы осложнилось. Но, глядя на нее, на ее теплое нежное тело, растапливающее холодную голубизну платья, он понял, что будет сожалеть о ней всю свою жизнь.

— Мне пора,—сказал он.— Я позвоню и закажу такси.

— Зачем же? У нас есть ночной шофер.

Он пожегся — уж очень легко она его отпускает, — и, заметив это, она поцеловала его легким поцелуем и сказала:

— Вы милый, Джоэл.

Он залпом осушил бокал, и тут же громко, на весь дом, зазвонил телефон и торжественно забили часы в холле:

Девять... десять... одиннадцать... двенадцать...

V

И снова настало воскресенье. Джоэл подумал, что пошел вечером в театр, еще не сбросив с себя гнета будней, и Стеллы домогался так настойчиво, будто спешил до конца дня покончить и с этим делом. Но теперь

наступило воскресенье — впереди двадцать четыре упорных праздных часа, каждая минута манит тайным обещанием, в каждом мгновении таятся бесчисленные возможности. И нет ничего недостижимого, все только начинается. Он налил себе еще один бокал.

Стелла вскрикнула и бессильно опустилась на пол возле телефона. Джоэл подхватил ее и перенес на диван. Он смочил носовой платок содовой водой и приложил ей к лицу. Из телефонной трубки доносилось какое-то бормотание, и он взял ее.

— ...самолет упал сразу после вылета из Канзас-Сити. Тело Майлза Кэлмена опознано и...

Он повесил трубку. Стелла открыла глаза.

— Не поднимайтесь,— сказал он, стараясь протянуть время.

— О господи, что случилось?— прошептала она.— Позвоните им! Господи, что случилось?

— Сейчас я позвоню. Кто ваш доктор?

— Они сказали — Майлз погиб?!

— Лежите тихо... Кто-нибудь из слуг еще не спит?

— Обнимите меня, я боюсь!

Он обнял ее за плечи.

— Скажите мне фамилию вашего доктора,— твердо повторил он.— Может быть, это ошибка, но надо, чтобы кто-то был здесь.

— Мой доктор... О боже, неужели Майлз погиб?!

Джоэл кинулся наверх и стал рыться в незнакомых аптечках в поисках нашатырного спирта. Когда он вернулся, Стелла рыдала.

— Нет, нет, он жив! Я знаю, он жив! Он это все придумал. Он нарочно мучит меня. Он жив, я знаю. Я чувствую, что он жив.

— Кому из ваших близких друзей позвонить, Стелла? Вам нельзя оставаться одной.

— Нет! Нет! Я не хочу никого видеть. Останьтесь вы со мной. У меня нет друзей.— Она встала, слезы заливали ее лицо.— Майлз — мой единственный друг. Он не умер, он не может умереть! Я поеду туда, я должна сама все увидеть. Узнайте, когда поедет. И вы поедете со мной.

— Но сейчас ночь, ничего нельзя сделать. Скажите мне, кому из ваших подруг я могу позвонить: Лоис? Джоун? Кармеле? Кому?

Стелла подняла на него невидящие глаза.

— Моей лучшей подругой была Ева Гобел,— сказала она.

Джозл вспомнил, как они с Майлзом говорили на студии два дня назад, увидел перед собой его отчаянное, печальное лицо. В страшном безмолвии смерти все стало на свои места. Он был единственным режиссером-американцем, соединившим в себе совесть художника с незаурядным характером. Зажатый в тисках киномашины, он расплачивался своим душевным здоровьем за то, что не шел на компромиссы, не сумел выработать в себе трезвый цинизм, не мог найти себе убежище, а если оно у него и было, то жалкое и ненадежное.

У парадной двери что-то стукнуло, потом она отворилась. В холле послышались шаги.

— Майлз! — пронзительно крикнула Стелла. — Это ты, Майлз? Это Майлз, Майлз!

На пороге появился рассыльный с телеграфа.

— Я не нашел звонка. Но вы тут разговаривали.

Телеграмма точно повторяла то, что передали по телефону. Стелла перечитывала ее снова и снова, будто хотела убедиться, что это какая-то страшная чушь, а Джозл тем временем звонил по телефону. Все еще где-то веселились, и никого не было дома, но в конце концов он разыскал каких-то знакомых, потом заставил Стеллу выпить крепкого виски.

— Вы должны остаться, Джозл, — шепнула она словно в полусне. — Не уходите. Майлзу вы так нравились... он говорил, что вы... — Она содрогнулась всем телом. — Боже мой, если бы вы только знали, как мне одиноко! — Глаза ее закрылись. — Обнимите меня, Джозл. У Майлза был такой же костюм. — Она резко выпрямилась. — Как подумаю, какой ужас он должен был испытать! Он так всего боялся.

Она помотала головой, потом вдруг сжала лицо Джозла в ладонях и притянула к себе.

— Нет, нет, ты не уйдешь! Я ведь нравлюсь тебе — ты любишь меня... Любишь? Не звони никому. Завтра еще будет время. А сейчас останься, не уходи от меня!

Он смотрел на нее, не веря своим ушам, а потом вдруг все понял и ужаснулся. Быть может, сам того не сознавая, Стелла тщила вернуть Майлза к жизни, сохраняя ту ситуацию, в которой он был главным действующим лицом, — ей словно казалось, что сознание его не угаснет, пока не исчезнет причина его тревоги. Это была безумная, мучительная попытка отсрочить ту минуту, когда придется смириться с реальностью его смерти.

Джозл решительно взял трубку и позвонил доктору.

— Не надо, не надо, не звони никому! — закричала Стелла. — Иди ко мне, обними меня!

— Доктор Бейлз дома?

— Джоэл! — рыдала Стелла. — Я думала, что могу положиться на тебя. Ты так нравился Майлзу. Он ревновал меня к тебе... Джоэл, иди же ко мне!

...Значит, если он предаст Майлза, ей удастся сохранить иллюзию, что он жив... но ведь он погиб, его уже невозможно предать!

— ...страшное потрясение. Только что. Не могли бы вы приехать сейчас же и привезти сиделку?

— Джоэл!

Теперь дверной звонок и телефон звонил беспрерывно, а к парадному уже подъезжали автомобили.

— Но ты не уйдешь! — молила Стелла. — Ведь ты останешься, скажи, что останешься!

— Нет, я не останусь, — ответил он. — Но я вернусь, если буду нужен.

На ступеньках крыльца Джоэл остановился. Дом теперь гудел и пульсировал жизнью, которая всегда трепещет вокруг смерти, как защитная завеса листвы, и в горле у Джоэла забилося глухое рыдание.

«Он был волшебником. Он сотворял чудо, к чему бы ни прикоснулся, — подумал он. — Он преобразил даже эту маленькую статисточку и сделал из нее подлинное произведение искусства».

Потом:

«Как будет не хватать его в этой пустыне... Уже не хватает!»

И потом, не без горечи:

«Я-то вернусь... я вернусь».

ТРУДНЫЙ БОЛЬНОЙ

I

— Пустите бут... о го-осподи! Отдайте сию минуточку! Не смейте опять напиваться! Да ну же — отдайте бутылку. Я ведь вам сказала: ночь подежурю и буду давать понемногу. Отдайте. Если будете так продолжать, в каком же виде вы домой поедете. Ну дайте — пусть у меня будет — я половину в ней оставлю. Пусти-те. Вы слышали, что доктор Картер говорил. Ночью я буду дежурить, давать из нее понемногу, наливать в нее порциями... Да ну же... Я сказала ведь вам... Я устала, не могу драться с вами весь вечер... Что ж, пейте и упейтесь до смерти, как идиот.

— Пива хотите? — спросил он.

— Не хочу я никакого пива. О господи, опять мне любоваться на вас пьяного.

— А ночью я кока-колу будут пить, — сообщил он.

Девушка присела на кровать, тяжело перевела дух.

— Но какими-то доводами вас можно пронять?

— Только не вашими. Не мешайте — пролиться может.

«Не мое, совсем не мое это дело вытрезвлять его», — подумала она. И снова борьба за бутылку, но на этот раз он уступил, посидел отвернувшись, уронив голову в ладони, — опять дернулся к спиртному.

— Только дотроньтесь, я ее брошу и разобью, — быстро проговорила медсестра. — Вот увидите — в ванной, об кафельный пол.

— И я наступлю на осколок, или сами наступите.

— Так не рвите из рук — о-ох, вы ж обещали...

Она вдруг разжала пальцы, и бутылка скользнула из руки гладкой торпедой, мелькнув красным и черным и надписью: «СЭР ГАЛАХАД; ОЧИЩЕННЫЙ ЛУИС-

ВИЛЛСКИЙ ДЖИН». Перехватив за горлышко, он швырнул бутылку в открытую дверь ванной. Она разбилась вдребезги, и на время наступила тишина, и девушка раскрыла «Унесенные ветром», где обо всем таком красивом и давно ушедшем. Но ее тревожило, а вдруг он пойдет босой в ванную и порежет ногу, и она то и дело отрывалась от книги, поднимала на него глаза. Спать очень хочется... Теперь он заплакал и сделался похож на того старого еврея, за которым она ходила тогда в Калифорнии; тому часто надо было в ванную. А с этим, с алкоголиком, сплошная мука. Но, видно, что-то мне в нем нравится, подумала она.

Подстегнув себя: «Работай!», она встала, заставила дверь в ванную стулом. Ко сну клонило потому, что больной поднял ее рано, послал за газетой с отчетом о матче Йель — Дармут, и за весь день не удалось отлучиться домой. Перед вечером к нему приехала родственница, пришлось пережидать визит в холле, сидеть на сквозняке в одном форменном платье, без свитера.

Кое-как она приготовила больного ко сну, накинула халат ему на спину, понуро сгорбленную над письменным столом, другим халатом укрыла колени. Сама села в кресло-качалку, но сонливость уже прошла; надо было заполнить графы листка, поднакопилось за день, и, неслышно ступая, она взяла со стола карандаш, стала записывать:

Пульс	120
Дыхание	25
Температура	98—98,4—98,2
Замечания —	

— их у нее хоть отбавляй:

«Пытался завладеть бутылкой с джином. Бросил на пол, разбил».

Нет, лучше так записать: «В последовавшей борьбе бутылка упала и разбилась. Вообще больной проявил себя как трудный». Хотела добавить: «В жизни больше не возьму алкоголика», но это как-то не шло к служебному тону замечаний. В семь надо будет проснуться (она умела поднимать себя в назначенное время) и прибрать все до прихода его племянницы. Раз уж взялась — не жалуйся. Но, взглянув ему в лицо, изможденное, бескровно-белое, и снова проверив частоту дыхания, она подумала недоменно: «Что это на него нашло?» Днем больной был

такой милый, нарисовал ей целую комическую серию — просто для забавы — и подарил на память. Она непременно вставит в рамку, повесит у себя в комнате. Девушка живо ощутила снова, как он своими тощими руками рвал у нее из рук бутылку. И с какими безобразными словами... И вспомнилось, что сказал ему вчера врач: «Такой человек, и так себя в могилу гнать».

Она устала, ей не хотелось подбирать сейчас битое стекло, — вот только дыхание у больного станет ровным, и она уложит его в кровать. Но все же надо убрать прежде в ваншой; разыскивая на полу последние осколки, она подумала: «Зачем мне это? И зачем он безобразничает?»

Сердито она поднялась с колен, посмотрела на спящего. Тонкий, точеный профиль, и слабый храп, словно вздохи — тихие, дальние, безутешные. Вчера доктор как-то странно покачал головой, и она по сути поняла, что ей не справиться с этим пациентом. Да и на ее учетной карточке в агентстве есть пометка, сделанная по совету старших: «Алкоголиков не берет».

Что требует долг, она выполнила; но из всей возни с бутылкой ей припомнилось только, как она ударилась локтем о дверь, и он спросил, не больно ли ей, и она укорила его: «Вы так высоко себя цените, а знали бы, что про вас говорят...» — но тут же поняла, что ему давно уж это все равно.

Теперь стекло все подобрано, разве что щеткой протереть для верности; сквозь это разбитое стекло, подумалось ей, они только мелькнули друг другу, как сквозь растреснутое окошко. Он не знает ни про ее сестер: ни про Билла Маркоу, за которого она чуть-чуть не вышла замуж, а она не знает, из-за чего он так опустил. Ведь на комод у него фотография: молодая жена, и два сына, и он сам — подтянутый, красивый, каким, верно, и был еще пять лет назад. Такая все это бессмыслица, — и би-туя порезанный при уборке палец, она твердо решила никогда больше не брать алкоголиков.

II

Следующий вечер был празднично-озорной — канун Дня всех святых. Боковые стекла автобуса покрывала сетка трещин — какой-то шутник уже постарался, — и, опасаясь, как бы расколотое стекло не вылетело, она

прошла в конец автобуса, на места для негров. Пациент дал ей чек, но в этот предвечерний час негде уже было получить по нему, а в кошельке у нее оставалось две монетки: четвертак и цент.

В агентстве миссис Хиксон она встретила двух знакомых медсестер, ожидавших в холле.

— Кто у тебя сейчас?

— Алкоголик,— сказала она.

— Ах, да, Грета Хокс мне говорила — тот художник, что в отеле «Лесопарк».

— Да.

— Я слышала, он из нахальных.

— Со мной он все время вел себя сносно,— солгала она.— Нельзя же с ними обращаться, как будто они на принудительном лечении.

— Ты не сердись,— просто я слышала, эти господа... ну, ты понимаешь... в постель не прочь затащить...

— Ах, замолчи,— сказала она с досадой, неожиданной для нее самой.

Через минуту к ним вышла миссис Хиксон и, попросив остальных подождать, кивком пригласила ее в кабинет.

— Я недаром не люблю направлять молоденьких девушек к этого рода пациентам,— начала миссис Хиксон.— Мне передали, вы звонили из отеля.

— Да нет, ничего страшного не было, миссис Хиксон. Он ведь был не в себе, а плохого ничего он мне не сделал. Я больше тревожилась за свою служебную репутацию. А утром и днем вчера он был прямо милый. Нарисовал мне...

— Я не хотела посылать вас туда.— Миссис Хиксон полистала учетные карточки.— Туберкулезных вы берете, помнится? Да, я вижу, берете. У меня есть одна...

Настойчиво звенел телефон. Девушка слушала, как миссис Хиксон ниже четкие слова:

— Я сделаю, что могу — просто в данном случае решает врач... Это не входит в мою компетенцию... А, здравствуй, Хэтти. Нет, не могу сейчас. Слушай-ка, нет ли у тебя под рукой сестры — специалистки по алкоголикам? Тут требуется одному в отеле «Лесопарк». Проверь и позвони мне сейчас, ладно?

Она положила трубку.

— Вы посидите пока в холле. А все же, что он за фрукт, этот художник? Позволял себе что-нибудь с вами?

— Не давал сделать укол, хватал за руку,— сказала девушка.

— Ясно, Мужчина в Когтях Недуга,—проворчала миссис Хиксон.— Пусть в лечебницу ложится. Я тут сейчас оформлю пациентку, отдохнете при ней немного. Пожилая...

Опять зазвонил телефон.

— Я слушаю, Хэтти... Ну, а Свенсен? Уж этой здоровенной девке, кажется, никакой алкоголик не страшен... А Джозефина Маркхэм? Она вроде бы в вашем доме живет?.. Позови ее к телефону. (Минутная пауза.) Джо, ты не взяла бы известного рисовальщика комиксов, художника-юмориста или как они себя там именуют. Он в отеле «Лесопарк»... Нет, не знаю, но лечит доктор Картер и часов в десять вечера заедет туда. (Затем длинные паузы, перемежаемые репликами миссис Хиксон.) Так, так... Конечно, я могу тебя понять. Да, но этот не то чтобы из опасных, просто немножко трудный. Я вообще не люблю посылать девушек в гостиницы—знаю, с какими подонками там сталкиваешься... Да нет, найду кого-нибудь. Даже и вечером, сейчас. Не тревожься, спасибо. Скажи Хэтти—я надеюсь, шляпа будет платью в тон...

Миссис Хиксон положила трубку, сделала пометки в блокноте. Она была женщина энергичная, деловая, сама начинала сестрой и прошла сквозь все мытарства; еще будучи сестрой-стажеркой,—перегруженной, переутомленной, гордой идеалисткой,—она испытала на себе нагловатость молодых врачей и беспардонность первых пациентов, хотевших тут же взнудать ее и впрямь в безропотное услужение старости. Она резко повернулась от стола:

— Так вы каких предпочли бы? Я уже сказала, у меня есть славная старушка...

В карих глазах медсестры зажглось воспоминание о недавнем фильме про Пастера, о книге про Флоренс Найтингейл, которую они читали в училище. Зажглось то чувство, с каким они студентками порхали через морозную улицу из корпуса в корпус Филадельфийских клиник, гордясь новыми сестринскими накидками не меньше, чем гордятся меховыми палантинами светские девицы, входящие в «Гранд-отель» на свой первый бал.

— Я... я, пожалуй, все-таки опять попробую,—сказала она сквозь верещанье телефона.— Раз нельзя никого сейчас найти, я вернусь к больному.

— Ну вот—то наотрез отказываетесь иметь дело с алкоголиками, то сами хотите вернуться.

— Я, пожалуй, преувеличила трудности. По-моему, я все же смогу помочь ему.

— Дело ваше. Но ведь он за руки хватает.

— А я сильнее,— сказала девушка.— Взгляните, какие у меня запястья: в Уэйнсборо я два года играла в баскетбольной команде старшекласниц. Я с ним справлюсь.

Миссис Хиксон целую минуту глядела на нее.

— Что ж, ладно,— сказала она.— Но не забывайте: все их пьяные слова абсолютно безответственны. Я через все это прошла; условьтесь с коридорным, чтобы вызывать, если надо, поскольку тут ни за что нельзя ручаться,— есть алкоголики приятные и есть неприятные, но на гадости способны они все.

— Я не забуду,— сказала девушка.

Она вышла на улицу—вечер был странно светлый, косо сеялась мелкая изморось, забеливая черно-синее небо. Автобус был тот самый, которым она ехала в город, но разбитых стекол стало, кажется, больше, и раздраженный водитель грозил изуродовать этих мальчишек, пусть только попадутся в руки. Она понимала, в нем просто накопилась глухая досада на все, как в ней—досада на алкоголиков. А сейчас, когда она войдет в номер к своему пациенту и увидит, какой он потерянный, несчастный, она почувствует к нему презрение и жалость.

Она вышла из автобуса, спустилась по длинной лестнице к отелю; холодный воздух взбодрил ее. Она потому будет ходить за ним, что никто другой не хочет,—ведь лучших людей ее профессии всегда влекли больные, от которых все отказывались.

Она постучалась в дверь, зная теперь, с какими словами к нему обратится.

Он открыл ей сам. Он был одет парадно, в смокинге, даже в котелке уже, но без галстука и без запонок.

— А, привет,—сказал он рассеянно.—Рад, что вы вернулись. А я проснулся вот и решил выйти. Ну как, раздобыли ночную сиделку?

— Я сама справлюсь,—сказала она.—Я решила дежурить круглосуточно.

Он улыбнулся радушно-безразличной улыбкой.

— Вижу, вас нет, а откуда-то уверенность—веритесь. Пожалуйста, найдите мои запонки. Они либо в черепашьей шкатулке, либо...

Он встряхнулся, оправляя смокинг, убрал манжеты в рукава.

— Я ведь подумал, вы совсем ушли,—сказал он небрежно.

— Я тоже думала, что ухожу совсем.

— Там на столе,—сказал он,—увидите целый комикс, для вас нарисовал.

— Вы собираетесь куда-то в гости?—спросила она.

— К секретарю президента,—сказал он.—Ужасно утомило это одевание. Хотел уже махнуть рукой, но тут вы пришли. Закажите мне хересу.

— Одну рюмку,—устало согласилась она.

Вскоре он окликнул ее из ванной:

— О сестра, сестра, Свет Моей Жизни, а где другая запонка?

— Я вдену вам.

В ванной она отметила ознобную бледность его лица, ощутила идущий от него смешанный запах мятной и джина.

— Но вы ненадолго?—спросила она.—В десять заедет доктор Картер.

— Да что доктор! Я и вас с собой беру.

— Меня?—воскликнула она.—В свитере и юбке? Также скажете!

— Без вас я никуда.

— И не надо, и ложитесь. У вас постельный режим. Как будто нельзя отложить до завтра.

— Разумеется, нельзя.

— Так уж и «разумеется».

Она дотянулась, повязала ему галстук; он измял пластрон, вдевая запонки, и она предложила:

— Вы наденьте другую, немятую, раз у вас такая неотложная и приятная встреча.

— Хорошо, но только сам надену.

— А почему—сам?—возмутилась она.—Почему вы не хотите, чтобы я помогла? Зачем тогда вам сиделка—какая от меня тут польза?

Он вдруг покорно сел на крышку унитаза.

— Ладно, одевайте.

— Да не хватайте за руку,—сказала она и вслед за тем:—Виновата.

— Ничего, ничего. Мне не больно. Сами сейчас убедитесь.

Она сняла с него смокинг, жилет, крахмальную сорочку и хотела стянуть нижнюю рубашку через голову, но он, придерживая ее руку, затянулся напоследок сигаретой.

— Теперь глядите,—сказал он.—Раз, два, три.

Она стянула рубашку, и тут же он ткнул себя в грудь рдяно-серым концом сигареты, точно кишжалом в сердце — загасил, вдавил окурок в нехороший бурый струп слева на ребре размером с долларовую монету; случайная искра слетела при этом на живот, и он слегка охнул.

Теперь мне надо проявить закалку, подумала девушка. Она видела у него в шкатулке три фронтовые медали, но и сама она не раз встречала опасности лицом к лицу, в том числе туберкулез, а однажды что-то похуже, а что именно, врач не сказал, и она так до сих пор и не простила ему утайки.

— Вам от этой штуки, конечно, мало радости, — сказала она бодро, обтирая его губкой. — Так и не хочет заживать?

— Она не заживет. Она злокачественная.

— Все равно это не оправдание тому, что вы над собой творите.

Он взглянул на нее большими темно-кариими глазами — остро, отчужденно, потерянно. И в этом секундном взгляде-сигнале она прочла волю не к жизни, а к смерти, и поняла, что тут не помогут ни выучка ее, ни опыт. Он встал на ноги, держась за умывальник и устремив взгляд куда-то перед собой.

— Ну нет, уж если я останусь при вас, то напиваться не дам, — сказала она.

И внезапно поняла, что не спиртное он ищет. Он смотрел в угол, куда швырнул бутылку вчера вечером. Сестра не отрывала глаз от красивого его лица, немощного и непокорного, боясь хотя бы слегка повернуть голову в тот угол, потому что знала — там, куда он смотрит, стоит смерть. Смерть была ей знакома — смертный хрип и характерный запах, но никогда не доводилось ей видеть смерть, еще не вошедшую в тело, — а он видит ее сейчас в углу ванной, смерть стоит там, следит, как он кашлянул, плюнул, растер по галуны брюк. Плевок блеснул, пузырясь, — последний слабый вызов смерти...

Назавтра она пыталась рассказать об этом миссис Хиксон:

— Все напрасно, как ни старайся. Пусть бы он мне вовсе вывернул запястья — и то б не так больно. А тут видишь, что ничем ты не поможешь, и просто руки опускаются.

ДОЛГОЕ ОЖИДАНИЕ

I

Мы беседовали о старинных французских замках, а от них разговор перешел на ужасы средневековья, вроде железной клетки, в которой Людовик XI шесть лет продержал кардинала Балю, или каменных мешков. Каменные мешки я видел сам—это просто сухие колодцы футов тридцать или сорок глубиной; узника кидают на дно, и ждать ему больше нечего. До сих пор помню, какое впечатление произвели на меня эти темницы, и не удивительно—при моей склонности к клаустрофобии мне даже в купе спального вагона становится неважно. Вот почему я так обрадовался этой истории, рассказанной врачом,—вернее, я обрадовался, когда врач только приступил к рассказу, который поначалу, казалось, не имел никакого отношения к мукам погребенных заживо.

Жила на свете молодая женщина, некая миссис Кинг, которая была очень счастлива со своим мужем. У них были деньги, и они любили друг друга, но случилось так, что, рожая второго ребенка, миссис Кинг надолго впала в кому, а очнувшись с явными симптомами «расщепления личности»—обычный случай послеродовой шизофрении. Ее бред был как-то связан с Декларацией Независимости, но к рассказу это не имеет отношения; стоило ей оправиться от родов, как признаки душевного расстройства стали исчезать. К концу десятого месяца она чувствовала себя совсем здоровой и с нетерпением ждала разрешения покинуть клинику.

Ей едва исполнился двадцать один год, было в ее облике что-то юное и трогательное, словом, весь персонал относился к ней с особой симпатией. Когда она настолько поправилась, что врачи решили отпустить ее с мужем в небольшую пробную поездку, эта новость

сразу сделалась главной темой разговоров. Одна сестра съездила с ней в Филадельфию за новым платьем, другая знала удивительно романтическую историю их знакомства во время путешествия по Мексике, и уж все-то видели двух ее крошек, которых иногда привозили в клинику. Поездка была в Вирджиния-Бич, на пять дней.

Приятно было смотреть, как она собиралась в дорогу, как тщательно укладывала чемодан, прихорашивалась, завивала волосы и вся была поглощена этими радостными мелочами. За полчаса до условленного срока она уже была готова и ходила прощаться с соседями по этажу; ее новое платье было цвета морской волны, а шляпка казалась легким облачком после апрельской грозы. Ее тонкое хорошенькое личико, на котором болезнь оставила грустное, чуть испуганное выражение, сияло от предвкушения счастья.

— Ничего не делать — вот и все мои мечты, — говорила она, — целых три дня буду вставать, когда вздумается, и ложиться за полночь. А еще сама куплю себе купальный костюм и сама буду заказывать обед.

Когда подошло время отъезда, миссис Кинг решила не ждать мужа в палате, а встретить его в вестибюле; провожаемая санитаром, несшим чемодан, она прошла по коридору и спустилась вниз, помахав на прощанье встретившимся пациентам и пожалев, что им нельзя уехать в такое же чудесное путешествие. Главный врач пожелал ей счастливого пути, две сиделки под каким-то предлогом подошли к ней и никак не могли расстаться — так притягательна была ее радость.

— До чего же вам пойдет загар, миссис Кинг.

— Вы уж не забудьте послать нам открыточку.

Почти в то самое время, как миссис Кинг вышла из палаты, в машину ее мужа по дороге в клинику врезался грузовик — муж получил тяжелые внутренние травмы, и, по мнению врачей, смерть должна была наступить с часу на час. Известие о несчастье поступило в клинику по телефону, и первой о нем узнала телефонистка, дежурившая в маленькой комнатке, отделенной от вестибюля стеклянной перегородкой. Телефонистка видела миссис Кинг через стекло и знала, что та может ее услышать, поэтому она попросила старшую сестру срочно спуститься вниз. Сестра, ужаснувшись, бросилась к врачу, который принял такое решение: пока муж жив, больная ни о чем не должна знать; следует ей только сказать, что сегодня он не сможет приехать.

Миссис Кинг не могла скрыть огорчения.

— Я и сама понимаю, что расстраиваться глупо,— говорила она,— столько месяцев ждала, подожду еще один день. Он ведь обещал приехать завтра?

Старшая сестра не знала, что и отвечать, но все же сумела как-то выкрутиться, и наконец миссис Кинг вернулась к себе в палату. Затем вызвали самую опытную и бесстрастную сиделку и поручили ей следить, чтобы миссис Кинг до завтрашнего утра не читала газет и не разговаривала с пациентами. А там будет видно.

Наутро муж был еще жив, и врачи продолжали выжидать. Около полудня одна из сиделок встретила в коридоре миссис Кинг — та была одета в точности как накануне, но на этот раз сама несла чемодан.

— Сейчас приедет мой муж,— объяснила миссис Кинг,— вчера его задержали дела, но сегодня он непременно будет, в то же самое время.

Сиделка пошла ее провожать. Миссис Кинг пользовалась в стенах клиники полной свободой, и сиделка не решилась силой вернуть ее в палату, а вступать в объяснения побоялась, чтобы не сболтнуть лишнего. Когда они вошли в вестибюль, сиделка тайком подала телефонистке знак, и та, по счастью, сообразила, в чем дело.

Миссис Кинг напоследок еще раз оглядела себя в зеркале и сказала:

— Хочу, чтобы у меня всегда была точно такая шляпка и чтобы я всегда была так счастлива.

Минуту спустя, нахмутив брови, вошла старшая сестра.

— Как?! Джордж и сегодня не приедет?

— Увы! Ничего не поделаешь — надо набраться терпения.

Миссис Кинг грустно улыбнулась.

— А я так мечтала показаться Джорджу в своем новом наряде.

— Будет вам, вы одеты как с иголки.

— Авось платью и до завтра ничего не сделается. Я так счастлива, что мне просто стыдно грустить из-за одного дня.

— Вот именно.

Ночью муж умер, и утром на совещании врачей разгорелся спор, что же теперь делать — сказать все или ничего не говорить было в равной степени опасно. Наконец решили «услать» мужа в дальнюю поездку и тем самым уничтожить надежду на скорую встречу. Когда она примирится с отсрочкой, ей откроют правду.

Врачи уже расходились, как вдруг один из них остановил коллег и показал на дальний конец коридора. Миссис Кинг с чемоданом в руке шла по направлению к вестибюлю.

Доктор Пири, ее лечащий врач, шумно вздохнул.

— Положение хуже некуда. Может, лучше ей все рассказать сейчас. Что толку врать про его отъезд, когда она привыкла получать от него по два письма в неделю. А сказать, что он заболел, и того не легче—станет проситься, чтобы ее отпустили к нему. Есть желающие поменяться со мной?

II

Сразу же после совещания один из врачей уехал в отпуск. Вернувшись через две недели, он в тот же час оказался в том же коридоре и замер при виде крохотной приближающейся процессии—санитара с чемоданом, сиделки и миссис Кинг в платье цвета морской волны и апрельской шляпке.

— Здравствуйте, доктор,—обратилась к нему миссис Кинг,—а я уезжаю. Сейчас за мной заедет муж и повезет меня в Вирджиния-Бич. Я встречу его внизу, чтобы ему не пришлось меня дожидаться.

Врач взглянул ей в лицо, глаза ее были ясными и счастливыми, как у ребенка. Сиделка делала ему знаки, что все идет как надо, поэтому врач просто поклонился и сказал, что погода нынче чудесная.

— Да, день выдался на славу,—ответила миссис Кинг,—но сегодняшний день—пусть бы даже лил дождь—все равно был бы для меня самым прекрасным.

Врач посмотрел ей вслед с недоумением и легкой досадой. Зачем понадобилось затягивать этот обман, думал он. На что они надеются?

Увидев доктора Пири, он задал ему этот вопрос.

— Мы пытались сказать ей правду, а она рассмеялась и обвинила нас в том, что мы все еще проверяем, здорова ли она,—ответил доктор Пири.—Вот пример, когда слово «немыслимо» можно употребить в прямом смысле—ее мозг отказывается воспринимать мысль о смерти мужа.

— Но не может же так тянуться до бесконечности?

— Теоретически нет. Несколько дней назад, после того как она в очередной раз уложила свой чемодан, сидел-

ка попыталась ее удержать. Из холла я мог следить за ее лицом — она была на грани срыва, причем, заметьте, впервые за весь курс лечения. Лицевые мускулы напряглись, в глазах появился стеклянный блеск, голос сделался резким и хриплым, и она ледяным тоном заявила сиделка, что та лжет. Положение было критическим — еще минута, и вместо послушной пациентки у нас на руках оказалась бы больная с приступом острого возбуждения. Тут я вмешался и приказал сиделке проводить ее в вестибюль.

Он умолк, увидев, как все та же крохотная процессия в прежнем порядке возвращается в палату. Миссис Кинг остановилась и заговорила с доктором Пири:

— Моего мужа задержали дела. Досадно, конечно, но он просил передать, что будет завтра, а когда столько ждешь, смешно расстраиваться из-за одного дня.

— Совершенно с вами согласен, миссис Кинг.

— Пойду переоденусь. Надо, чтобы мой наряд и завтра выглядел таким же свежим. — Она сняла шляпку и стала ее внимательно разглядывать. — Смотрите, пятнышко; надеюсь, мне удастся его свести. Может, он не заметит?

— Не заметит, ручаюсь вам.

— Право, доктор, я ни капельки не унываю, что приходится ждать до завтра. Время летит так быстро.

Когда врачи остались вдвоем, тот, что помоложе, сказал:

— Может быть, дети... у нее ведь их двое.

— Едва ли ее спасут дети. Когда она свихнулась, эта поездка стала для нее символом исцеления. Стоит отнять эту надежду, как ее рассудок совсем помрачится, и придется все начинать с самого начала.

— Есть ли у нее шанс?

— А вот это уже совершенно непредсказуемо. Я лишь попытался объяснить, почему ей было разрешено сегодня спуститься вниз.

— Ну, а завтра? А послезавтра?

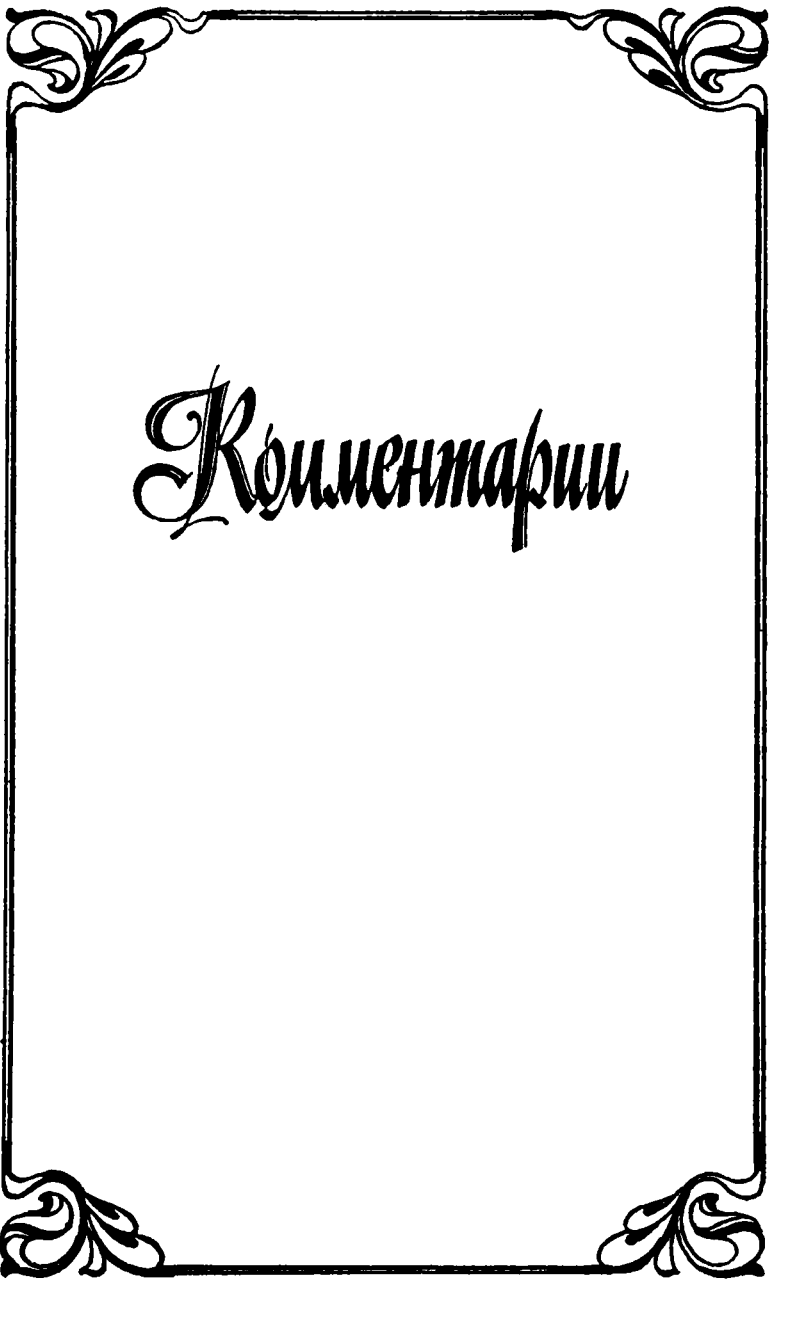
— Что ж, — отвечал доктор Пири, — остается лишь надеяться, что в один прекрасный день он окажется там...

И тут врач неожиданно оборвал рассказ. В ответ на наши настойчивые расспросы он заявил, что ничего интересного дальше не было — всякому сочувствию рано или поздно приходит конец, а к странностям больных персоналу не привыкать.

— И она все так же ходит встречать мужа?

— Да, никаких перемен, но уже даже пациенты, кроме разве что новеньких, перестали обращать на нее внимание. Ежегодно ее шляпку потихоньку меняют на новую, в точности такую же, а платье на ней до сих пор прежнее. Всякий раз она бывает слегка расстроена, но старается не подать виду и очень мило утешает себя. Насколько мы в состоянии судить, несчастной она себя не считает, а на других пациентов, как ни странно, ее пример действует успокаивающе. И хватит об этом, бога ради,— уж лучше вернемся к каменным мешкам.

1937



Комментарии

НОВЕЛЛЫ

Фицджеральдом было написано свыше 150 рассказов, в основном опубликованных в периодике — журналах «Сатердей ивнинг пост», «Смарт сет», «Кольерс» и др. При жизни писателя вышло четыре сборника его новелл: «Эмансипированные и глубокомысленные» (1920), «Сказки Века Джаза» (1922), «Все эти печальные молодые люди» (1926), «Сигналы побудки» (1935). Несобранные, а также оставшиеся неопубликованными рассказы и эссе составили книгу «Писатель после полудня» (1957), подготовленную биографом Фицджеральда А. Майзнером.

Отдельными книгами посмертно вышли также новеллы Фицджеральда 30-х годов, которые он сам намеревался объединить в циклы. Это рассказы о подростке Бейзиле Ли, основанные на школьных воспоминаниях автора, и о девушке из Чикаго Джозефине Перри, приобщающейся к «взрослой» жизни времен «века джаза», а также цикл рассказов о Пэте Хоби — спивающемся голливудском сценаристе.

Фицджеральд был невысокого мнения о своей новеллистике, утверждая, что он просто вынужден писать рассказы, потому что за них хорошо платят. Многие из его новелл и в самом деле остались только журнальными однодневками. Однако лучшие рассказы писателя составляют неотъемлемую часть его творческого наследия.

Признанию Фицджеральда как мастера краткой прозы в большой мере способствовала изданная в 1951 году М. Каули книга «Рассказы Скотта Фицджеральда». Она по сей день остается наиболее авторитетным собранием избранных новелл писателя.

Из собрания М. Каули взяты все рассказы данного тома, кроме не включенного Каули в свой сборник рассказа «На улице, где живет столяр». Эта новелла, в которой Фицджеральд изобразил самого себя, Зельду и Скотти, появилась в 1928 году в «Кольерс» и вошла в книгу «Писатель после полудня».

Новеллы «Волосы Вероники» и «Ледяной дворец» печатались в книге «Эмансипированные и глубокомысленные», новеллы «Первое мая»

и «Алмазная гора» — в «Сказках Веса Джаза»; «Зимние мечты», «Самое разумное», «Молодой богач» и «Детский праздник» входили в сборник «Все эти печальные молодые люди»; «Последняя красавица Юга», «Две вины», «Опять, Вавилон», «Сумасшедшее воскресенье», «Семья на ветру» — в «Сигналах побудки».

Остальные новеллы при жизни Фицджеральда были напечатаны только в журналах.

Стр. 17. *Сухой закон еще не был введен.* — Он был введен по инициативе конгрессмена Э. Волстеда в конце 1919 г.

Стр. 71. *Грозный Дэн Макгрю* — персонаж фольклорных баллад, герой-авантюрист; известна обработка баллады на смерть Макгрю, принадлежащая Роберту Уильяму Сервису (1874—1958).

Стр. 78. «*Кубла Хан*» — поэма (1798) английского романтика Сэмюэла Тэйлора Кольриджа (1772—1834).

Стр. 85. *Джонсон Хайрам* (1866—1945) — американский политический деятель, конгрессмен. *Тай Кобб* — одна из звезд бейсбола.

Стр. 88. *Джонстон* Анни Феллоуз (1863—1931) — автор сентиментальных романов, которыми зачитывались провинциальные девицы.

Стр. 93. «*Маленькие женщины*» (1871) — назидательная повесть для девочек, написанная Луизой Олкотт (1832—1888).

Стр. 116. ...из «*Осенних маневров*», «*Графа Люксембурга*», «*Отпускного солдата*» — спектакли, с успехом шедшие в Нью-Йорке в сезон 1910/11 г.: «Осенние маневры» — музыкальная комедия Франсуа Бийе-ду, «Граф Люксембург» — оперетта Франца Легара, «Отпускной солдат» — комическая опера Оскара Штрауса.

Стр. 218. ...*закоренелым фундаменталистом.* — Фундаментализм — течение в протестантизме, основывающееся на признании буквально истолкованных заповедей Писания нормой повседневного поведения.

Стр. 237. *Рут Дрэпер* (1884—1953) — автор и исполнительница моноспектаклей, в основном связанных с темами «патриархального» Юга. *Марс Чен* — прозвище Генри Уотерсона (1840—1921), редактора луисвилльской газеты «Курьер», являвшейся рупором идей южной исключительности; под именем Марс Чен Уотерсон изобразил себя в автобиографии (1919).

Стр. 268. *Театральная гильдия* — организованное в Нью-Йорке театральное общество, владевшее собственным театром, на сцене которого шли пьесы О'Нила, Шоу, Чапека и других крупных драматургов. Существовало с 1919 г., с 1927 г. имело филиалы во многих американских городах.

Стр. 316. *Дэвис* Мэрion (1897—1961) — солистка эстрадных программ режиссера Ф. Зигфельда (см. «Ринг»), с 1919 г. начала сниматься в развлекательных фильмах Голливуда и руководила собственной студией (впоследствии — студия «Космополитэн»).

Стр. 318. *Вест-Пойнт* — старейшая военная академия США, основана в 1802 г.

Стр. 319. *Менжу* Адольф (1890—1963)—голливудский актер, сыгравший ряд ролей в фильмах-мелодрамах («Прощай, оружие!» по Хемингуэю и др.). *Арлен* Майкл (р. в 1895 г.)—английский писатель, по происхождению армянин, выходец из Болгарии. Прославился в 1924 г. романом «Зеленая шляпа», в котором изобразил английский «свет» в сатирических тонах, введя ряд сцен, в те времена считавшихся крайне рискованными.

Стр. 337. *Найтингэйл* Флоренс (1829—1910)—сестра милосердия, самоотверженно ухаживала за английскими ранеными в полевом госпитале под Балаклавой во время Крымской войны.

Стр. 341. *Кардинал Балю* Жан (ок. 1421—1491 гг.)—вступил в заговор с Шарлем Бургундским против короля; Людовик XI продержал Балю в специально изготовленной для этой цели железной клетке не шесть, а одиннадцать лет (1469—1480) и освободил только под нажимом из Рима.

А. Зверев

СОДЕРЖАНИЕ

НОВЕЛЛЫ

Первое мая. <i>Перевод Т. Озерской</i>	5
Ледяной дворец. <i>Перевод В. Харитонова</i>	59
Волосы Вероники. <i>Перевод Л. Беспаловой</i>	83
Зимние мечты. <i>Перевод Ю. Жуковой</i>	109
Алмазная гора. <i>Перевод В. Муравьева</i>	131
«Самое разумное». <i>Перевод С. Белокриницкой</i>	166
Детский праздник. <i>Перевод М. Зинде</i>	180
Молодой богач. <i>Перевод В. Хинкиса</i>	191
На улице, где живет столяр. <i>Перевод И. Багрова</i>	230
Последняя красавица Юга. <i>Перевод Татьяны Ивановой</i>	235
Две вины. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	253
Опять Вавилон. <i>Перевод М. Кан</i>	274
Семья на встрю. <i>Перевод М. Литвиновой</i>	297
Сумасшедшее воскресенье. <i>Перевод И. Архангельской</i>	315
Трудный больной. <i>Перевод О. Сороки</i>	333
Долгое ожидание. <i>Перевод Ю. Эстрина</i>	341
Комментарии	347

ФИЦДЖЕРАЛЬД Ф.-С.

Ф66 Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3. Новеллы. Пер. с англ./Коммент. А. Зверева.— М.: Совет ветеранов книгоиздания, 1994.— 352 с.

ISBN 5-87046-005-8

В трехтомник избранных произведений классика американской литературы Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (1896—1940) включены наиболее значительные романы и новеллы, завоевавшие ему мировую известность.

В третий том вошли лучшие рассказы писателя, создававшиеся на протяжении всей жизни.

ФРЭНСИС СКОТТ ФИЦДЖЕРАЛЬД

Избранные произведения в трех томах

Том 3

**Технический редактор Барышников В. А.
Корректор Захарова И. М**

Лицензия № 030207 от 19.11.91 г

Сдано в набор 26.01.95. Подписано в печать 8.02.95. Формат 84 × 108/32. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 19,50. Тираж 31 000 экз. Заказ 3662.

Совет ветеранов книгоиздания. 103051, Москва, Петровка, 26.

Государственное ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московское предприятие «Первая Образцовая типография» Комитета Российской Федерации по печати. 113054, Москва, Валовая, 28.

